

ГРАНИ

GRANY

44

1959

Postverlagsort: Frankfurt (Main), 1. 10. 1959

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год издания XIV

№ 44

Октябрь-декабрь 1959 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОРОКАЛЕТИЕ РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЭЗИИ

Ю. ТЕРАПИАНО — О зарубежной поэзии 1920—1960 годов 3

Избранные стихотворения зарубежных поэтов — Зинаида Гиппиус, Георгий Иванов, Николай Оцуп, Владислав Ходасевич, Марина Цветаева, Георгий Адамович, Лидия Алексеева, Лариса Андерсен, Ольга Анстей, Нина Берберова, Раиса Блох, Вера Булич, Анатолий Величковский, Тамара Величковская, Александр Гингер, Алла Головина, Михаил Горлин, Иван Елагин, Владимир Злобин, Юрий Иваск, Олег Ильинский, Борис Филиппов, Д. Кленовский, Ирина Кнорринг, Довид Кнут, Вл. Корвин-Пиотровский, Ю. Крузенштерн-Петерек, Антонин Ладинский, Сергей Маковский, Виктор Мамченко, Юрий Мандельштам, Владимир Марков, Николай Моршен, Вл. Набоков-Сирин, Борис Нарциссов, Александр Неймирок, Юрий Одарченко, Ирина Одовцева, К. Померанцев, Борис Поплавский, София Прегель, Анна Присманова, Георгий Раевский, Сергей Рафальский, Елена Рубисова, Владимир Смоленский, Юрий Софиев, П. Ставров, Леонид Страховский, Глеб Струве, В. Сумбатов, Екатерина Таубер, Юрий Трубецкой, Николай Туроверов, Лидия Червинская, Игорь Чиннов, Анатолий Штейгер, Аглаида Шиманская, Аглая Шишкова, Георгий Эристов, Ирина Ясен 13

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

В. УНКОВСКИЙ — Зарубежный Сургучев 104
ЗОЯ СИМОНОВА — Свидетели защиты 110

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ — Память сердца 117
ГЕОРГИЙ МЕЙЕР — Топор Раскольникова 119

ЧИТАТЕЛИ И ПИСАТЕЛИ

БОРИС ФИЛИППОВ — Разговор по поводу и без повода...	161
--	-----

НАУКА И ТЕХНИКА

НИКОЛАЙ ИРКОЛИН — Несимметричная механика	176
--	-----

ФИЛОСОФИЯ. ПУБЛИЦИСТИКА

Проф. Н. ЛОССКИЙ — Буддизм и христианство	186
В. ТРЕМЛЬ и Л. ЗАЛЫЦБЕРГ — Заработная плата в СССР	207
Л. ЗАЛЫЦБЕРГ — Жизненный уровень в Западной Европе	215

БИБЛИОГРАФИЯ

К. Фотиев. «Воздушные пути». — В. Марков. Пауль Целан и его переводы русских поэтов. — Сергей Левицкий. Книга о жизненном пути Бердяева. — Николай Арсеньев. Церковь и народ. — Н. Тарасова. Гражданин живой России. — М. Шведова. «Одержимые и могучие».	224
---	-----

Сорокалетие русской зарубежной поэзии

Ю. Терапиано

О зарубежной поэзии 1920 — 1960 годов

Сорок лет существования зарубежной поэзии — целая эпоха в истории русской литературы, эпоха, созданная революцией и гражданской войной, закончившейся исходом 1920 года за границу сотен тысяч русских людей, постепенно рассеявшихся по всем западным странам.

Отказ вернуться на родину некоторых писателей, летально выехавших за границу в начале двадцатых годов, и высылка из Советской России большой группы писателей, философов, ученых и политических деятелей в 1922 году, влили в эмиграцию новые квалифицированные силы и способствовали повышению ее авторитета на Западе.

Русская эмиграция так называемого «довоенного периода» (т. е. с 1920 года до начала Второй мировой войны в 1939 году) создала в Париже самый большой и богатый культурными силами зарубежный центр.

Менее многочисленные и менее богатые культурными силами русские центры образовались в Чехословакии (Прага), в Югославии (Белград), в Германии (Берлин), в Латвии (Рига), Эстонии (Таллин) и в Северной Америке (Нью-Йорк, Сан-Франциско).

Дальневосточные центры русской эмиграции (в Китае), в силу своей удаленности от Европы и Северной Америки, не могли участвовать в общей жизни эмиграции на Западе, хотя там было много культурных и талантливых людей.

В условиях эмигрантской жизни, казалось бы столь далекой от поэзии, произошло непонятное явление.

Люди, потерявшие родину, принужденные ради заработка переключиться на тяжелую физическую работу, усталые, разуверившиеся в том, что прежде казалось им неизбежным, вдруг почему-то стали интересоваться поэзией.

С самого начала эмиграции в Константинополе в 1920 году, в «Русском Маяке» на улице Врусса, учрежденном для русских эмигрантов американской секцией

«Союза христианского юношества», возник первый кружок поэтов, и самыми посещаемыми собраниями стали те, на которых читались доклады о поэзии, а также — выступления поэтов.

Затем, после разъезда из Константинополя, объединения поэтов начали вырастать повсюду — в Праге, в Белтраде, в Берлине (в первые годы эмиграции Берлин был как бы передаточным пунктом для приезжавших из России) и, конечно, в Париже.

В 1925—1926 годах, помимо значительной части эмигрантской литературной молодежи, в Париж переехали почти все крупнейшие писатели и поэты «старшего поколения», находившиеся в эмиграции, благодаря чему стала возможной преемственность, возникла органическая связь между дореволюционной поэзией конца «Серебряного века» и поэзией новых пореволюционных поколений — недавно прошедших во время гражданской войны через крушение не только материальных, но и многих духовных ценностей прежнего мира.

Именно благодаря этой встрече поколений, русский довоенный Париж мог сделаться столицей зарубежной литературы.

В атмосфере Парижа, еще более обостренной непосредственной близостью европейской культуры, не только молодежь, но и многие «старшие» получили новый импульс.

Зинаида Гиппиус, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич и Марина Цветаева стали не только «продолжать себя», но и творить новое, идти в своей поэзии вперед, несмотря на оторванность от России, от родной почвы.

Я не буду подробно касаться в этой статье истории зарубежной литературы.

В книге «Русская литература в изгнании», вышедшей в 1956 году в Нью-Йорке в издательстве имени Чехова, Глеб Спруве охарактеризовал все этапы развития зарубежной литературы в течение первого, «доиссенного» периода ее существования.

В моей книге «Встречи», вышедшей в 1953 году в том же издательстве, есть тоже кое-что, относящееся к истории зарубежной литературы.

С самого начала в эмиграции было не мало скептиков, считавших невозможным какое-либо самостоятельное бытие, а тем паче — развитие литературы за границей, в эмиграции.

«Оторванный от своего народа, от русской природы и быта, слыша вокруг себя повсюду чужую речь, эмигрант в лучшем случае может сохранить свой язык, но никогда не будет в состоянии состязаться с писателем или поэтом, находящимся на родной почве», — говорили они.

«Единственная возможность для эмиграции — охранять прежние традиции; наша миссия состоит в том, чтобы впоследствии, когда изменятся обстоятельства, передать прежнюю культуру пореволюционным поколениям».

В те годы футуризм и другие «левые» литературные течения царили в Советской России, тремел Маяковский, затмевавший даже Сергея Есенина, хозяйничали имажинисты и другие направления, вплоть до знаменитых «ничеговоков», отрицавших в поэзии все — и смысл, и форму, и всякое подобие искусства, с которыми Андрею Белому, вернувшемуся в Советскую Россию, и Валерию Брюсову приходилось вести нелегкую борьбу.

В эмиграции же, с самого начала, создавалась другая атмосфера.

Мужественная смерть Н. Гумилева, расстрелянного в 1921 году по делу о Таганцевском заговоре, создала новый ореол вокруг возглавлявшегося им акмеизма.

Гумилева начали утверждать не только как поэта, но и как политического

борца-поэта, рыцаря без страха и упрека, а его стиль — и вообще акмеистический стиль — сделались на время отличительным признаком зарубежной поэзии, как бы чертой, отделяющей то «прекрасное прошлое нашей культуры, которое мы унесли с собой в изгнание», от «революционной свистопляски и всяческого безобразия», процветающих «там».

В первые годы эмиграции оппозиция левым течениям в поэзии (как дореволюционным, например, футуризму, так и послереволюционным) являлась обязательной для зарубежных поэтических идеологов.

«Хаосу» — формальной левизне, переходившей подчас в заумь и в явное издевательство над русским языком, противопоставлялся «Космос» — неоклассицизм, связь с золотым веком русской поэзии и, конечно, акмеистическая вещность и ясность.

Владислав Ходасевич в «Тяжелой лире», вышедшей в 1923 году в Берлине считавший себя «последним символистом», был первым, кто открыто выступил за рубежом против «Хаоса»:

... И пред твоими слабыми сынами
Еще порой гордиться я могу,
Что сей язык, завещанный веками,
Любовней и ревней берегу...

— «Жив Бог! Умен, а не заумен / Хожу среди своих стихов» — восклицает он в другом стихотворении из «Тяжелой лиры»:

... Заумно, может быть, поэт
Лишь ангел, Богу предстоящий,
Да Бога не узревший скот
Мычит заумен и ревет.
А я — не ангел осиянный,
Не лютый змий, не глупый бык.
Люблю из рода в род мне данный
Мой человеческий язык...

Это отталкивание от Хаоса стало первой отправной точкой идеологии большинства зарубежных поэтов.

Немногочисленные последователи «левизны», среди которых на первом месте в эмиграции оказалась затем Марина Цветаева, принуждены были идти против господствующего течения — и до сего дня остаются в меньшинстве.

Следует вспомнить, что аналогичный процесс, с опозданием приблизительно на десять лет, совершился и в Советской России.

Реакция против хаоса произошла и там.

Правда, в известной мере она шла со стороны власти, но все же не даром такой замечательный поэт, как Борис Пастернак, добровольно и открыто стал на сторону Космоса в своей книге «Второе рождение», сознательно упростив с того времени своего поэтику.

Марина Цветаева, как верно заметил Борис Зайцев, эволюционировала в эмиграции в обратном направлении.

В то время как Пастернак шел от сложности к простоте, Цветаева все усложняла свою поэзию, шла веку наперекор, что и явилось причиной ее творческого одиночества в эмиграции.

... Так, наконец, усталая держаться
 Сознанием: долг и назначеньем: драться
 — Под свист глупца и мещанина смех —
 Одна за всех — из всех — противу всех,
 Стою и шлю, закаменев от взлету,
 Свой громкий зов в небесные пустоты...

(«Роландов рог»)

Это расхождение зарубежной поэтической направленности с Цветаевой очень показательное.

Цветаева, с ее чувством слова и огромным ритмическим диапазоном, убежденная, что поэзия — прежде всего звук, была бурей, натиском, словесным вихрем — иногда переходящим в вопль, в крик.

Ее эгоцентризм, ее отказ считать поэзией то, что пребывало вне ее стихии, усиливали это взаимное непонимание.

Цветаева написала в эмиграции ряд больших поэм, две трети ее зрелого творчества протекло за границей.

И то, что не только у большинства читателей, но также и у самой авторитетной зарубежной критики она не встретила глубокого отклика — было бы непостижимым трюком, если бы творческий воздух эмиграции оставался таким же, как в Петербурге и в Москве накануне революции.

Но времена были иные, не «громкий зов», а приглушенные голоса, не вихрь и буря, а тишина казались тогда более убедительными для «человека тридцатых годов».



В «Зеленой Лампе» (общество, устроенное Д. Мережковским и Зинаидой Гиппиус — открытые собеседования), если я не ошибаюсь, на первом же собрании произошло характерное столкновение «старших» и «младших».

Молодой поэт Довид Кнут, в пылу спора, заявил, что огненной столицей русской литературы нужно считать не Москву, а Париж.

Это заявление вызвало бурю негодования среди писателей старшего поколения и особенно среди представителей общественно-политических кругов, присутствовавших на собрании.

Столицей русской литературы «Париж», конечно, никогда не стал, да и не мог стать, но осознание трагизма нашего положения, о чем говорил Георгий Адамович на следующем собрании*), в начале тридцатых годов явилось зерном, из которого выросло новое поэтическое мироощущение, так называемая «парижская нота».

Д. Мережковский был прав, указывая на возможность большого творчества в эмиграции — Данте, например, или Мицкевича.

«Если поэты поймут, — говорил он, — всю глубину метафизики современности и сознательно станут глашатаями свободы — такое творчество неминуемо возникнет».

Вопреки Мережковскому, ни Данте, ни Мицкевича в эмиграции не нашлось, не возникло также никакой громкой, «ударяющей по сердцам» поэзии, революционной в политическом смысле.

Голос эмигрантской Музы был приглушенным, поэты сознательно отстранялись от всякого рода декларативности, стремясь высказать свое «самое главное» в наиболее простых, но точных словах.

*) См. «Встречи».

Тревога о человеке и о том, чем жить ему духовно в послереволюционном, невероятно усложнившемся, жестоком и своекорыстном мире, конфликт личности с коллективом, мечта о возможном братском отношении человека к человеку и, конечно, о любви, о возможности встречи с Богом, — вот основные ноты этой настроенности.

«Новый трепет» (*frisson nouveau*), с которого начинается всякая настоящая поэзия, был почувствован зарубежными поэтами.

Вопреки всем пессимистическим предсказаниям, в эмиграции оказалось возможным не только существование поэзии, но и ее развитие — возникновение мироощущения и стиля данной эпохи.

В конце двадцатых годов, пройдя через увлечение акмеизмом и неоклассицизмом, определив свое отрицательное отношение к русским и французским левым течениям, новая зарубежная поэзия остановилась как бы на распутьи.

Мироощущение Владислава Ходасевича, учителя многих молодых поэтов в те годы, знатока формальной стороны поэзии, не отвечало уже тому, чего искали молодые.

Остро-взволнованная, полная иронии и отталкивания от низости и малости души современного человека, поэзия Вл. Ходасевича все-таки «не насыщала».

Быть может, единственность творческого опыта Ходасевича тому причиной, быть может то, что в своем подходе к человеку — именно к современному, растерявшему все прежние ценности, мучительно искавшему выхода, он выявлял не такое отношение, какого хотело пореволюционное поколение, но расхождение с ним началось.

Не ирония, не осуждение, а наоборот, — сочувствие, жалость, любовь к человеку соответствовали настроению молодых поэтов.

Рамки «классической розы» Ходасевича, советы «не терять времени на обсуждение всяческих «метафизик», а лучше — работать и писать хорошие стихи», тоже перестали удовлетворять их.

Поэты хотели сказать свое собственное слово, выявить свое мироощущение, а не стоять на месте.

В сущности, в эмигрантской поэзии происходил тот самый процесс «смены поколений», какой неминуемо развился бы и в Советском Союзе, если бы там не было взято на подозрение все, относящееся к индивидуализму.

Вопрос о человеке нового времени — не о теоретическом, как в Советском Союзе, но о человеке *реально существовавшем*, как бы чудом сохранившемся за рубежом, — лег во главу угла, стал темой нового времени и мог обсуждаться только в атмосфере свободы, т. е., по условиям времени, — за рубежом.

Вот почему зарубежные поэты должны были взять на себя нелегкую задачу: открыть новую страницу, начать новое поэтическое «десятилетие».

Начало тридцатых годов совпало с возникновением и оформлением нового мироощущения.

Воскресные собрания у Мережковских, «Литературные беседы» Георгия Адамовича (сначала в журнале «Звено», затем — четверговые «подвалы» в «Последних новостях», тогдашней самой распространенной газете), собрания в редакции журнала молодых — «Числа», редактором которого был Н. А. Оцуп, и выход в свет сборника стихов Георгия Иванова «Розы» — явились той атмосферой, откуда вышло новое движение.

Было бы невозможно с точностью указать, какие именно разговоры Зинаиды Гиппиус с тем или иным из молодых поэтов, — или какой общий разговор за воскресным чайным столом у Мережковских, или какая статья Георгия Адамо-

вичи и какой из его «Комментариев» в «Числах» вдруг стали подобны катализирующему веществу, но катализация неожиданно произошла.

«Парижская нога», как, тоже неожиданно, окрестил ее Борис Поплавский в одной своей статье в «Числах», не стала «школой» в обычном значении этого слова, т. е. объединением поэтов, имеющих какую-то определенную программу и общие формальные методы.

Она начала звучать *в сердцах*, сделалась *внутренней музыкой* в душе каждого.

Она ничего не утверждала в виде обычных деклараций, которые всегда делают новые течения, и, конечно, не являлась какой-то панацеей, могущей — в глазах ее участников — вывести поэзию «из тупика».

... И ничего не исправила,
Не помогла ничему,
Смутная, чудная музыка
Слышная только ему ...

— сказал Георгий Иванов в «Розах» о Пушкине, но в сущности — о всякой поэзии, о каждом настоящем поэте.

Сущность поэзии, как всякого подлинного искусства, трагична, предел ее — вечно недостижим, берега ее усеяны обломками кораблей, потерпевших крушение.

И в то же время — поэзия вечна, несмотря на всю тяжесть бытия человека на земле и на всю (кажущуюся) нелепицу и тщету земных дел перед лицом смерти.

Зарубежную поэзию некоторые обвиняли в пессимизме.

Но что такое пессимизм или оптимизм в поэзии?

Тема ее — с самой глубокой древности — Вавилон, Египет, Индия, Персия, Эллада и т. д. одна и та же: о любви, о жизни, о смерти; о Боге, о душе, о бессмертии; о безысходности «земного круга» и о победе над смертью.

Тайна ее в том, что каждый новый поэт неповторимо-лично, неповторимо по-своему переживает эту тему в неповторимо-личной «форме».

Поэтому в поэзии нет «новизны» — нет времени; но есть одна мера: поэзия:

Меняется прическа и костюм,
Но остается тем же наше тело,
Надежды, страсти, беспокойный ум,
Чья б воля изменить их не хотела.

Слепой Гомер и нынешний поэт,
Безвестный, обездоленный изгнаньем,
Хранят один — неугасимый! — свет,
Владеют тем же драгоценным знаньем.

И черни, требующей новизны,
Он говорит: «Нет новизны. Есть мера,
А вы мне отвратительно-смешны,
Как варвар, критикующий Гомера!»

(Георгий Иванов, стихи 1943—1958)

Забота о формальной стороне поэзии, необходимость для поэтов знать «анатомию стихотворения» являются важной стадией ученичества, подготовкой начинающих, хотя об этом полезно помнить также всем участникам «цеха поэтов» — и «товарищам» и даже «мастерам».

Гумилев принес огромную пользу целому ряду поэтических поколений, подчеркнув идею мастерства и «выучки».

К сожалению, как всегда случается, забота о формальной стороне поэзии, необходимая на своем месте, превращается в ересь, как только кто-нибудь захочет ограничиться только ею.

Сам Гумилев, конечно, никогда не верил в возможность «делать поэтов», в чем упрекал его в пылу спора Блок в своей статье «Без божества, без вдохновения», но некоторые последователи Гумилева именно так и думали.

Изучив тайны метрики и рифмовки, подсчитывая чередование гласных и согласных, прибегая к различным мудреным приемам, некоторые стихотворцы создавали *видимость поэзии* и считали, что достигли всего.

Сколько времени было потрачено в бесчисленных поэтических кружках в Париже и в других городах на обсуждение как раз этих «гласных и согласных» или «где поставить запятую» — плохо понятая идея «мастерства», «цеха», превращалась действительно в ремесло, а поэты — в ремесленников.

Позднее, в Советском Союзе, формисты, уже по более серьезным причинам, стали утверждать первенство формы над содержанием — и в эмиграции борьба с ремесленниками и формистами заняла не мало времени.

Сначала Вл. Ходасевич, затем — участники гумилевского «Цеха поэтов» — Георгий Адамович и Георгий Иванов, как бы во искупление невольного греха Гумилева, соблазнившего некоторых «малых сих», в статьях, в рецензиях, в разговорах выступили против стихотворчества.

Статьи Георгия Адамовича, где он со свойственной ему убедительностью, иронией и непрестанной встревоженностью в отношении главного — подлинности, честности с собой, правдивости — обрушился на ремесло, заботящееся только об удачных эпитетах и красивых образах, увлекли младшее поколение и много содействовали возникновению нового мироощущения.

Для всего периода «парижской ноты», для всей «парижской атмосферы» чрезвычайно характерно *единство мироощущения*, соединенное с чрезвычайным *разнообразием формальной манеры* каждого из ее участников.

Сопоставляя стихи различных авторов, например, Антонина Ладинского с Ириной Одоевцевой, Владимира Смоленского с Анатолием Штейгером или с Лидией Червинской и т. д., видно, насколько они удалены друг от друга, в смысле стилистики и природы образа, и насколько они близки друг к другу, как только вопрос коснется мироощущения.

Значительность «парижского заговора», соответствие его с духом века держится как раз на этой общности, на согласии друг другу противоположных.

Только в условиях абсолютной свободы — внешней и внутренней — было возможно увидеть современный мир и современного человека с такой трагической трезвостью.

В одиночестве, в суровых условиях эмигрантской жизни, в которой каждый человек и духовно и материально был предоставлен исключительно своим силам, среди полного безразличия к нему «своих» и «чужих», именно в силу своей духовной и моральной вовлеченности, новый человек, Рыцарь Бедный, человек тридцатых годов приобрел большую зоркость и меру.

Тяжелой ценой была куплена им та ясность и трезвость, которой так не

хватало его более счастливым предшественникам в дореволюционной России.

Условность и фальшь прежних благополучных формул, обман призрачно-значительных ответов на проклятые вопросы — ему стали очевидны.

В свете трезвого, поневоле ни к кому не обращенного, не ожидающего никаких одобрений и поэтому искреннего сознания, люди тридцатых годов в какую-то минуту увидели тему о человеке не так, как видели ее до них, произвели выбор, отбросили то, что ощутили фальшивым, возненавидели легкость ответов на проклятые вопросы, а особенно — «метафизическую» риторику.

«Текущее поколение — писал я о человеке тридцатых годов в «Числах» — следует, по слову поэта Юнга, назвать поколением «обнаженной совести». Совесть тревожит; совесть заставляет проверять себя, формулы, имевшие прежде значительность и убедительность, оказываются только словами.

Непосредственное соприкосновение с грубой и страшной жизнью, с законом железной необходимости, выработали в современном человеке особое чувство — как бы пробный камень. Всякая фальшь, поза, неискренность — этим чувством разоблачаются; то, что в прежние времена принималось за вещь о вещах духовных, а в сущности было лишь безответственной игрой словами с большой буквы, в ощущении современных людей — холод и ложь. «Смерть Ивана Ильича» говорит им больше, чем весь Вл. Соловьев; чувство, велевшее Толстому остановиться у порога смерти, более целомудренно, чем самые замечательные соловьевские прозрения и откровения.

Потеряв способность удовлетворяться полуответами, не зная настоящего, верного ответа на проклятые вопросы, современный человек принужден мужественно (или теряя мужество — в его положении это безразлично) оставаться наедине со своей внутренней жизнью, со всей тьмой и безысходностью мира.

Былое имущество роздано, богатый евангельский юноша стал нищ и наг. Не знаю, согласился ли бы он получить назад свое богатство?

Думаю, не захотел бы и даже, если бы захотел — не смог.

Современный человек нищ и наг, потому что он совестлив. И он мог бы задрапироваться в любые «словесные ткани», мог бы, не хуже прежних людей, выбирать по своему вкусу цвета и оттенки, — но не хочет.

Мне кажется, эта воля — отказ от внешнего блеска, обеднение, решимость выдерживать одиночество — самое значительное, что приобрело новое поколение, и, надо надеяться, лучшая часть молодых поэтов и писателей устоит и не соблазнится легкой, дешевой удачей — литературной удачей «толпы ради».



«Парижская нота» оборвалась, кончилась.

Новые поколения поэтов, эмигрантское и пришедшее из Советского Союза, в первые послевоенные годы даже как-то подозрительно и враждебно относились к «парижанам»: — «тема смерти, упадочничество, сосредоточенность исключительно на своих личных переживаниях...»

Отчасти в таком примитивном истолковании были виноваты некоторые журналисты и политики из среды старой эмиграции, которые с распростертыми объятиями кинулись навстречу «людям оттуда».

В течение всего довоенного периода эти господа мечтали создать пражданскую поэзию, «музу гнева и печали» XX века, ждали, что в эмиграции появятся поэты, способные разгромить в звучных ямбах их политических врагов.

Иными словами, с самыми лучшими намерениями, но ничего не понимая

в искусстве, и в поэзии в частности, такие зарубежные идеологи, по существу, хотели поработить искусство, сделать его служанкой политики, навязать ему, как в Советском Союзе, обязательство воспитывать читателя в нужном для них направлении.

Недовольные уже давно «упадочничеством» (как им казалось) зарубежной довоенной поэзии, они начали всячески поносить ее и лстыть представителям «новой» поэзии, в надежде, что «новые» себя покажут.

Понадобилось несколько лет, чтобы совместными усилиями и «прежних» и «новых» отстоять и в послевоенной эмиграции свободу творчества.

Встретив со всех сторон должную отповедь, сторонники «социального заказа», навязываемого извне, смолкли.

И тогда вдруг стало ясно всем, что миссия зарубежной поэзии является одним из тех свершений эмиграции, которыми она в будущем сможет оправдать себя.

Не грубая пропаганда против пропаганды, не насилие над искусством ради свержения другого такого же насилия может явиться высокой целью, но утверждение принципа свободы творчества, противопоставляемое принципу несвободы.

Бессильные что-нибудь конкретно свергнуть, ямбы и хорей превращаются в страшное оружие, если они свободны.

Именно поэтому тираны всех времен и всех народов так ненавидели свободное слово.

Страшная наша эпоха! Казалось бы, прописные истины, но дело в том, что малейшее забвение этих прописей ведет к гибели.

Гибели же мы уже достаточно видели на своем веку. Ближайшая задача — восстание из гибели, обретение вновь человеческого лица, иначе темная стихия окончательно зальет мир.

Вот почему тема о человеке и о том, как ему быть — приобретает глубокое значение.

Поэзия становится общим делом, важнейшим делом, а не просто сочинением стихшков.

— У нас не спросят: вы прешили?
Нас спросят лишь: любили ль вы?
Не поднимая головы,
Мы скажем горько: — Да, увы,
Любили ... как еще любили!

(Анатолий Штейгер)

Когда я знакомился со стихами поэтов послевоенного эмигрантского поколения и, особенно, со стихами поэтов «новой эмиграции», мне постепенно становилось ясно, что тема о человеке и о его конфликте с современным миром, осознанная довоенными зарубежными поэтами, остается актуальной и до сих пор.

Пусть новые поэты, в смысле поэтической манеры, трактуют ее несколько иначе, чем поэты довоенные, пусть говорят громче, а не так сухо и сдержанно, как прежде, по существу в мироощущении «двух поколений» нет различия.

Это подтвердилось, когда — приблизительно к началу пятидесятых годов — «прежние» и «новые» слились в одну общую группу современных зарубежных поэтов, и сейчас уже говорить о каких-то разделах было бы бесполезно.

Очень показательна в смысле «духа века», что все новые послевоенные поэты, как эмигрантского поколения, так и принадлежащие к «новой эмиграции»,

в общем прошли тот же путь, что и поэты довоенные — в смысле своих истоков, притяжений и отталкиваний.

Обобщая, можно указать на несколько характерных моментов:

1. Отход от левых течений, от «Хаоса», как говорил Ходасевич.
2. Несогласие с символистами и с их увлечением «безднами и тайнами».
3. Близость к акмеистам — к Гумилеву, Ахматовой, Осипу Мандельштаму (к Мандельштаму первых двух книг, а не последних стихов), к Георгию Иванову.
4. Блок и Марина Цветаева (далеко не у всех) и общее притяжение к XIX веку — к Пушкину, Лермонтову, Тютчеву, Баратынскому.
5. Борис Пастернак, Хлебников, Маяковский, Есенин, Заболоцкий, Кирсанов, Багрицкий и т. д. отразились меньше, чем можно было ожидать.

Такое распределение симпатий и отталкиваний весьма показательно также и в смысле тех путей, по которым могла пойти новейшая советская поэзия, если бы имела возможность свободно выбирать, не боясь обвинения в индивидуализме и упадочничестве.

Еще наблюдение: поэты новой эмиграции, то есть воспитанные в Советском Союзе, как будто совсем не знают об Иннокентии Анненском (или не хотят знать его), тогда как эмигрантские поэты многому у Анненского научились.

Трудная задача — хотя бы в общих чертах представить лицо зарубежной поэзии; на то главное, на что хотелось обратить внимание — это ее духовная атмосфера, ее особая и только ей присущая музыка.

Сказанное не означает, что зарубежная поэзия выступает в роли проповедницы каких-либо определенных духовных концепций — такой роли она никогда на себя не брала и не захотела бы взять.

Но «Дух веет где хочет» — и только в атмосфере свободы поэзия может существовать, охраняя себя от всякой неправды, от всякой подделки, то есть осуществлять настоящее свое служение.

Избранные стихотворения зарубежных поэтов

1920—1960 годы

От составителя

«Избранные стихотворения зарубежных поэтов 1920—1960 годов» отнюдь не являются антологией, дающей подробную картину состояния всей зарубежной литературы за сорок лет ее существования.

Настоящее собрание имеет более скромную задачу.

Наша цель — представить лишь главнейшие течения в зарубежной поэзии, их стиль, в основном, их идеологию.

Силой событий зарубежная литература разделилась на два периода.

С начала эмиграции (1920—1939 гг.) ведущим течением была так называемая «парижская нота».

После войны, то есть с 1945—46 гг. в лице поэтов «новой эмиграции», а также послевоенного поколения молодых эмигрантских поэтов, в общее русло влились новые силы, что с течением времени привело, — примерно в пятидесятых годах, — к новому стилистическому и идеологическому синтезу.

Составитель стремился в главных чертах представить оба эти периода, выби-
рая все наиболее характерное для каждого из них.

Под именем: «зарубежные поэты» мы подразумеваем поэтов, творивших вне России, в различных странах нашего рассеяния и принимавших активное участие в жизни зарубежной поэзии.

По этой причине, из числа поэтов дореволюционной эпохи, оказавшихся в эмиграции, а также начавших печататься еще в России, хотя бы во время революции, составитель включил в это собрание лишь тех, кто не только повторял себя в эмиграции, но и творил действительно новое.

Мы оставили в стороне некоторых крупных поэтов, сделавших в свое время очень много для русской поэзии, как, например, К. Д. Бальмонта и Вячеслава Иванова именно потому, что в своем зарубежном творчестве они шли прежним путем и не отзывались на ряд творческих проблем, волновавших зарубежных поэтов.

Ю. Терапиано.

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ

Зинаида Гиппиус

СИЯНЬЯ

Сиянье слов ... Такое есть ли?
Сиянье звезд, сиянье облаков —
Я все любил, люблю ... Но если
Мне скажут: вот сиянье слов —

Отвечу, не боясь признанья,
Что даже святости блаженное сиянье
Я за него опудать потов ...
Все за одно сиянье слов!

Сиянье слов? О, повторять ли снова
Тебе, мой бедный человек-поэт,
Что говорю я о сиянии Слова,
Что на земле других сияний нет?

МЕРА

Всегда чего-нибудь нет, —
Чего-нибудь слишком много ...
На все как бы есть ответ —
Но без последнего слова.

Свершится ли что — не так,
Некстати, непрочно, зыбко ...
И каждый не верен знак,
В решеньи каждом — ошибка.

Змеится луна в воде —
Но лжет, золотясь, дорога ...
Ущерб, перехлест везде.
А мера — только у Бога.

ВЕЧНОЖЕНСТВЕННОЕ

Каким мне коснуться словом
Белых одежд Ее?
С каким озареньем новым
Слить Ее бытие?

О. ведомы мне земные
Все твои имена:
Сольвейг, Тереза, Мария ...
Все они — ты Одна.

Молюсь и люблю... Но мало
Любви, молитв к тебе.
Твоим-твоей от начала
Хочу пребыть в себе,

Чтоб сердце тебе отвечало —
Сердце — в себе самом,
Чтоб Нежная узнавала
Свой чистый образ в нем..

И будут пути иные,
Иной любви пора.
Сольвейг, Тереза, Мария,
Невеста-Мать-Сестра!

ЛЯГУШКА

Какая-то лягушка (все равно!)
Свистит под небом черновлажным
Заботливо, настойчиво, давно...
А вдруг она — о самом важном?

И вдруг, поняв ее язык,
Я б изменился, все бы изменилось,
Я мир бы иначе постиг,
И в мире бы мне новое открылось?

Но я с досадой хлопаю окном:
Все это мара ночи южной
С ее томительно-бессонным сном...
Какая-то лягушка! Очень нужно!

КАК ОН

Геorgию Адамовичу

Преодолеть без утешенья,
Все пережить и все принять,
И в сердце даже на забвенье
Надежды тайной не питать, —

Но быть, как этот купол синий,
Как он, высокий и простой,
Склоняться любящей пустыней
Над нераскаянной землей.

ДОМОЙ

Мне —
о земле —
болтали сказки:
«Есть человек. Есть любовь».

Когда предлагали
мне родиться —
Не говорили, что мир такой.

А есть —
лишь злость.
Личины. Маски.
Ложь и грязь. Ложь и кровь.

Как же
я мог
не согласиться?
Ну, а теперь — домой! домой!

Георгий Иванов



Не было измены. Только тишина.
Вечная любовь, вечная весна.

И шумело только о любви моей
Голубое море, словно соловей.

Только колыханье синеватых бус,
Только пощелуя солонюватый вкус.

Глубокое море у этих детских ног,
И не было измены — видит Бог.

Только пруть и нежность, нежность вся до дна,
Вечная любовь, вечная весна.

[illegible][illegible]

На голос бессмысленно-сладкого пенья,
Как Байрон за бледным огнем,
Сквозь полночь и розы, о, без сожаленья...
— И ты позабудешь о нем.



С бесчеловечною судьбой
Какой же спор? Какой же бой?
Все это наважденье.

Но этот вечер голубой
Еще мое владенье.

И небо. Красно меж ветвей,
А по краям жемчужно...
Свистит в сирени соловей,
Ползет по травке муравей —
Кому-то это нужно.

Пожалуй нужно даже то,
Что я вдыхаю воздух,
Что старое мое пальто
Закатом слева залито,
А справа тонет в звездах.



Мелодия становится цветком,
Он распускается и осыпается,
Он делается ветром и песком,
Летающим на огонь весенним

МОТЫЛЬКОМ,

Ветвями ивы в воду опускается...

Проходит тысяча мгновенных лет
И перевоплощается мелодия
В тяжелый взгляд, в сиянье эпидот,
В рейтузы, в ментрик, в «Ваше

благородие»,

В корнета двардии — о, почему бы нет?..

Туман... Тамань... Пустыня внемлет Богу.
— Как далеко до завтрашнего дня!..

И Лермонтов один выходит на дорогу,
Серебряными шпорами звеня.



Белая лошадь бредет без упряжки.
Белая лошадь, куда ты бредешь?
Солнце сияет. Платки и рубашки
Треплет в саду предвесенняя дрожь.

Я, что когда-то с Россией простился,
(Ночью навстречу полярной заре)
Не опьянчился, не перекрестился,

И не заметил, как вдруг очутился
В этой глухой европейской дыре.

Хоть поскучать бы... Но я не скучаю.
Жизнь потерял, а покой берегу.
Письма от мертвых друзей получаю

И, прочитав, с облегчением жгу
На голубом предвесеннем снегу.

И. О.

Распыленный миллионом мельчайших частиц,
В ледяном, безвоздушном, бездушном эфире,
Где ни солнца, ни звезд, ни деревьев, ни птиц,
Я вернусь — отраженьем — в потерянном мире.

И опять, в романтическом Летнем Саду,
В голубой белизне петербургского мая,
По пустынным аллеям неслышно пройду,
Драгоценные плечи твои обнимая.



Торжественно кончается весна
И розы, как в эдеме расцвели.
Над океаном блеск и тишина
И в блеске — паруса и корабли...

... Узнает ли когда-нибудь она,
Моя невероятная страна,
Что было солью каторжной
 земли?

А, впрочем, соли всюду грош цена.
Просыпали — метелкой подмели.

Николай Оцуп

Это — Царскосельского парада
Трубы отдаленные слышны,
Это — тянет розами из сада,
Это — шорох моря и сосны.
Это — все что чувства волновало,
Но как будто видно изнутри,
Все что для меня впервые стало
До чего прекрасным. Посмотри,
Это — праздничное отчего-то
Все что было с птичьего полета.

Это — дальше, следующий век
Тот, в котором нас уже не будет,
Это — умирает человек,
Но пока земля не обезлюдит,
Это будет чем-то вот о чем:
Если б разжигать не удавалось
Духу Истины в очередном,
Смертном, сердце и любовь и
жалость,—
Мало что не стоило бы жить,
Всей земли могло бы и не быть.
(Из поэмы «Дневник в стихах».)

1935—1950

Фонарь горит. Куда мы едем?
Не то козлом, не то медведем
Стоит короткая сосна
В тяжелый снег облачена.
Над желто-синими снегами
И над санями небеса
Летят холодными кругами
Чудовищного колеса.

То шапку теплую заденет
Опрямной спицей, и нырнет
Душа, но путь ее изменит
Саней полопый поворот.
То лошадь очень крупной рысью
Несется на гору, и ты
Смеешься мне из темноты
И муфту поднимаешь лисью.

И все тобой озарено,
Когда с серебряного склона
Мерцает наконец окно
На силуэте пансионата.

(Из поэмы «Встреча», 1928)

Допилили золотой крошечный,
Не тронут бутерброд,
Дурак уверовал, что он
В потомстве не умрет.

Я молча пью. Ты не со мной,
Но ты всегда моя.
Я всюду слышу голос твой,
Далекий звон ручья.

А на ладони виртуоз
Проносит в вышине
Никелированный поднос,
Слетающий ко мне.

Пускай старается румын,
Пускай вопят смычки,
И некрасивый господин
Мигает сквозь очки.

Мне все равно легко дышать
И слушать скрипачей.
Сумел я в сердце удержать
Слова любви твоей.



В белой даче над синим заливом
Душно спать от бесчисленных роз.
Очень ясно, с двойным перерывом,
Вдалеке просвистел паровоз.

Там проходит пустыми полями,
Над которыми месяц зажжен,
Вереницы груженных дровами
И один санитарный вагон.

Слабо тянет карболкой и йодом:
— Умираю, спаси, пожалей!
Но цветы под лазоревым сводом
Охраняют уснувших людей.



Не диво — радио: над океаном
Бесшумно пробегающий паук;
Не диво — город: под аэропланом
Распластанные крыши; только стук,

Как хорошо, что в мире мы как дома
Не у себя, а у Него в гостях;
Что жизнь неуловима, невесома,
Таинственна как музыка впотьмах.

Стук сердца нашего обыкновенный,
Жизнь сердца без начала, без конца —
Единственное чудо во вселенной,
Единственно достойное Творца.

Как хорошо, что нашими руками
Мы строим только годное на слом.
Как хорошо, что мы не знаем сами
И никогда быть может не поймем

Того, что отражает жизнь земная,
Что выше упоения и мук,
О чем лишь сердца непонятный стук
Рассказывает нам, не уставая.

Владислав Ходасевич

Перешагни, перескачи,
Перелети, пере- что хочешь —
Но вырвись: камнем из пращи,
Звездой, сорвавшейся в ночи...
Сам затерял — теперь ищи...

Бог знает, что себе бормочешь,
Ища пенсне или ключи.



Жив Бог! Умен, а не заумен,
Хожу среди своих стихов,
Как непоблажливый игумен
Среди смиренных чернецов.
Пасу послушливое стадо
Я процветающим жезлом,
Ключи таинственного сада
Звенят на поясе моем.
Я — чающий и говорящий.
Заумно, может быть, поет
Лишь ангел, Богу предстоящий,

Да Бога не узревший скот
Мычит заумно и ревет.
А я — не ангел осиянный,
Не лютый змий, не глупый бык.
Люблю из рода в род мне
данный

Мой человеческий язык:
Его суровую свободу,
Его извилистый закон...
О, если б мой предсмертный стон
Облечь в отчетливую оду!



Все жду: кого-нибудь задавит
Взбесившийся автомобиль,
Зевака бледный окровавит
Торцовую сухую пыль.

И с этого пойдет, начнется:
Раскачка, выворот, беда,
Звезда на землю оборвется,
И станет горькою вода.

Прервутся сны, что душу душат,
Начнется все, чего хочу,
И солнце ангелы потушат,
Как утром — лишнюю свечу.

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

Nel mezzo del cammin di nostra vita

Я, я, я. Что за дикое слово!
Неужели вон тот — это я?
Разве мама любила такого,
Желтосерого, полуседого
И всезнающего, как змея?

Разве мальчик, в Останкине
летом
Танцевавший на дачных балах,—
Это я, тот, кто каждым ответом
Желторотым внушает поэтам
Отвращение, злобу и страх?

Разве тот, кто в полночные споры
Всю мальчишечью вкладывал
прыть, —
Это я, тот же самый, который
На трагические разговоры
Научился молчать и шутить?

Впрочем — так и всегда на средине
Рокового земного пути:
От ничтожной причины — к причине,
А глядишь — заплутался в пустыне,
И своих же следов не найти.

Да, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала.
И Виргилия нет за плечами, —
Только есть одиночество — в раме
Говорящего правду стекла.

✱

Странник прошел, опираясь на посох, —
Мне почему-то припомнилась ты.
Едет пролетка на красных колесах —
Мне почему-то припомнилась ты.

Вечером лампу зажгут в коридоре, —
Мне непременно припомнишься ты.
Что б ни случилось, на суше, на море,
Или на небе, — мне вспомнишься ты.

✱

Сквозь ненастный зимний
денек
— У него сундук, у нее
мешок —

По паркету парижских луж
Ковыляют жена и муж.

Я за ними долго шагал,
И пришли они на вокзал.
Жена молчала и муж молчал.

И о чем говорить, мой друг?
У нее мешок, у него сундук...
С каблуком топотал каблук.

Марина Цветаева

РОЛАНДОВ РОГ

Как бедный шут о злом своем уродстве,
Я повествую о своем сиротстве:
За князем — род, за серафимом — сонм,
За каждым — тысячи таких, как он,
Чтоб пошатнувшись — на живую стену
Упал и знал — что тысячи на смену!

Солдат — полком, бес — легионом горд,
За вором — сброд, а за шутком — все
горб.

Так, наконец, усталая держаться
Сознанием: долг и назначеньем: драться
— Под свист плуцца и мещанина смех —
Одна за всех — из всех — проливу
всех,
Стою и шлю, закаменев от взлету,
Сей промкий зов в небесные пустоты.

И сей пожар в груди — тому залог,
Что некий Карл тебя услышит, Рог!

УЧЕНИК

Быть мальчиком твоим светлоголовым,
— О, через все века! —
За пыльным пурпуром твоим брести
в суровом
Плаще ученика.

Улавливать сквозь всю людскую
гуцу —
Твой вздох животворящ
Душой, дыханием твоим живущей,
Как дуновением — плащ.

Победоноснее царя Давида
Чернь раздвигать плечом,
От всех обид, от всей земной
обиды
Служить тебе плащом.

Быть между спящими учениками
Тем, кто во сне — не спит,
При первом чернью занесенном
камне
Уже не плащ — а щит!

(О, этот стих не самовольно прерван!
Нож чересчур остер!)
И — вдохновенно улыбнувшись — первым
Взойти на твой костер.



Кто уцелел — умрет, кто мертв — воспрянет.
И вот потомки, вспомнив старину:
— Где были вы? — Вопрос как пролом грянет,
Ответ как пролом грянет: — На Дону!

— Что делали? — Да принимали муки,
Потом устали и легли на сон.
И в словаре задумчивые внуки
За словом: долг напишут слово: Дон.



С Новым Годом, Лебединый стан!
Славные обломки!
С Новым Годом — по чужим местам —
Воины с котомкой!

С пеной у рта пляшет, не догнав,
Красная погоня!
С Новым Годом — битая — в бегах
Родина с ладонью!

Приклонись к земле — и вся земля
Песню заздравной.
Это, Игорь, — Русь через моря
Плачет Ярославной.

Томным стоном утомляет грусть:
— Брат мой! — Князь мой! — Сын мой!
— С Новым Годом, молодая Русь
За морем за синим!



О путях твоих пытать не буду,
Милая! — ведь все былось.
Я был бос, а ты меня обула
Ливнями волос —
И — слез.

Не спрошу тебя, какой ценою
Эти куплены масла.
Я был наг, а ты меня волною
Тела — как стеною
Обнесла.

Наготу твою перстами трону
Тише вод и ниже трав.
Я был прям, а ты меня наклону
Нежности наставила, припав.

В волосах своих мне яму вырой,
Спеленай меня без льна.
— Мироносица! К чему мне миро?
Ты меня омыла
Как волна.

ОТДЕЛ ВТОРОЙ

Георгий Адамович

Твоих озер, Норвегия, твоих лесов...

И оборвалась речь сама собою.
На камне женщина поет без слов.
Над нею небо льдисто-голубое.

О верности, о горе, о любви,
О сбившихся с дороги и усталых
— Я здесь! Я близко! Вспомни... назови! —
Сияет снег на озаренных скалах.

Сияют сосны красные в снегу.
Сон недоснившийся, неясный, о котором
Иначе рассказать я не могу.

Твоим лесам, Норвегия, твоим озерам.



Холодно. Низкие кручи
Полукупал туман.
Тянутся белые тучи
Из-за безмолвных полей.

Тихо. Пустая телега
Изредка продребезжит.
Полное близкого снега
Небо недвижно висит.

Господи! И умирая
Через полвека, едва ль
Этого мертвого края
Этого мерзлого рая
Я позабуду печаль...



Пора печали — юность — вечный бред!

Лишь растеряв по свету всех друзей,
Едва дыша, без денег и любви,
И больше ни на что уж не надеясь,

Он понял, как прекрасна наша жизнь,
Какое торжество и счастье — жизнь,
За каждый час ее благодарит
И робко умоляет о прощеньи
За прежний ропот дерзкий...



За слово, что помнил когда-то
И после навеки забыл,
За все, что в сгораньях заката
Искал ты, и не находил,

И за безысходность мечтанья,
И холод, растущий в пруди,
И медленное умирание
Без всяких надежд впереди,

За белое имя спасенья,
За темное имя любви
Прощаются все прегрешенья
И все преступленья твои.



Ну вот и кончено теперь. Конец.
Лепко и просто, грубо и уныло.
А ведь из человеческих сердец
Таких, мне кажется, не много
было.

Но что ему мерещилось? О чем
Он вспоминал, поверя сну пустому?
Как на большой дороге, под дождем,
Под леденящим ветром... к дому,
к дому.

Ну, вот и дома. Узнаешь? Конец.
Все ясно. Остановка. Окончанье.
А ведь из человеческих сердец...
И это обманувшее сиянье!



Один сказал: «Нам этой жизни
мало»,
Другой сказал: «Недостижима цель».
А женщина привычно и устало,
Не слушая, качала колыбель.

И стертые веревки так скрипели,
Так умолкали — каждый раз
нежней —
Как будто ангелы ей с неба пели
И о любви беседовали с ней.

Лидия Алексеева

Старый кот с отрубленным хвостом,
С рваным ухом, сажей перемазан,
Возвратился в свой разбитый дом,
Посветил во мрак зеленым глазом.

Захрустело битое стекло,
Человек ушел, и тихо стало.
Кот следил внимательно и зло,
А потом зажмурился устало.

И, спустясь в продавленный подвал,
Из которого ушли и мыши,
Он сидел и недоумевал,
И на зов прохожего не вышел.

И спиной к сырому сквозняку,
Он свернулся, вольный и надменный,
Доживать звериную тоску,
Ждать конца — и не принять измены.



Из каких четвертых измерений,
Из каких чудесных кладовых
Льется запах краденой сирени
С неуклюжей лаской слов твоих?

Та сирень поникла и увяла
Через день — но вот который год
Я над ней склоняюсь все сначала —
И она цветет, цветет, цветет...



Вот, добралась. Еще шумит в ушах
И крупной дрожью ломаются колени.
Еще один нетерпеливый шаг
К ребру последней солнечной ступени,—

И вновь неблагоприятною мечтой
Я прохожу — не мирный склон пологий,
Но каменный карниз над пустотой,
Но зыбкий оползень, где вязнут ноги,

И с крутизны, где снизу ветер бьет
И волосы, как водоросли, моет, —
Слежу мой путь. Он не похож на взлет,
Он трудно и упрямо пройден мною.

Но эли, что царапая спасли
Меня в паденьи, дружески и грубо,—
И близкий запах камня и земли
И ими в кровь разорванные губы.

Но разве одоленное в борьбе
Одно души и памяти достойно?..
А мы то, Боже, молимся Тебе
О ясном небе и судьбе покойной!

МЕДВЕДИЦА

Мокрый снег на солнце светится,
Талая вода черна.
В теплом логове медведица
Пробуждается от сна.

И хрустит в сыром вальежнике
Зверь, дремотен и уныл,
И на первые подснежники
Сонной лапой наступил.

«Ах ты, туша неуклюжая» —
Затрепал под нею лед, —
А она стоит над лужию
И весну из лужи пьет.

Здесь, в саду таинственном Твоем,
Я, как лист на дереве осеннем,
Вся дышу последним тихим днем,
Но ползут длиннеющие тени...

Скоро ветер колыхнет, шурша,
Сад ночной и, не противясь даже,
Лист увянувший, моя душа,
Подлетит к ногам Твоим и ляжет.

Ольга Анстей

Суровым синим ветром от воды
Обдуло спуск, высокие ступени.
Но голые подернуты сады
Налетом серизны передвесенней.

И под сквозною этой серизной
Не нега, нет, — но обещанье неги.
Под нею — будущий недвижимый
зной
И будущие сочные победы.

Еще земля, дыханье притая,
В бесснежном февралѣ прустит и
чахнет,
И ветра требовательного струя
Еще груба, еще ничем не пахнет.

Но сладко видеть года сдвиг опять
И, подойдя к задумавшейся тайне,
Ту пору боязливую поймать,
Что провесной зовут у нас в Украине.



К твоим прикрытым ставням,
К барачной шаткой дверце
В паломничестве давнем
Стоптало туфли сердце.

Сама сию, не двинусь:
Туда мне нет дороги.
Не подбегу, не кинусь —
Окаменеют ноги.

В разлуке леденю.
И встречу — не оттаю.
Сама пойти не смею,
А сердце посылаю

Узнать как спишь, чем дышишь,
Что думаешь, что куришь,
Какую спрочку пишешь,
Кого в уста целуешь.

К дверям твоим заветным,
Когда отны потухли,
Посланцем незаметным
Стоптало сердце туфли.



Я примирилась, в сущности,
с судьбой,
Я сделалась уступчивой и либкой.
Перенесла, что не ко мне, — к другой
Твое лицо склоняется с улыбкой,

Не мне в твой именинный день
Скобленный стол уставить пирогами
Не рвать с тобою мокрую сирень,
И в желтых листьях не шуршать
ногами...

Но вот когда подумаю о том,
Что в немощи твоей, в твоём закате —
Со шприцем, книжкой, скатанным
бинтом —
Другая сядет у твоей кровати,

Не звякнув ложечкой, придвинет суп,
Поддерживая голову, напойт,
Предсмертные слюхи запишет с губ
И гной с предсмертных пролежней
обмоет,—

И будет, став в ногах, крестясь, смотреть
В помолодевшее лицо — другая —
О, Боже мой, в мольбе изнемогаю:
Дай не дожить... Дай прежде умереть.

АЛЕКСАНДРИЙСКИЕ СТИХИ

Тот соотрапезник наш, тот сфинкс крупноголовый,
Что к нам пожаловал пушистою обновой,

Из многих комнатно-охотничьих утех
Одну облюбовал, пожалуй, больше всех:

Чуть краны отвернешь, и две струи, как вожжи,
Пойдут, свистя, хлестать фаянсовое ложе —

Уж соглядатай тут, и любопытных лап
Я слышу по борту внимательный царап.

Стоит, как будто век был в банных адъютантах,
Стоит, как Павлова на розовых пуантах,

И, набок чинную головку наклонив,
Задумчиво глядит на комнатный дрилив.

Не правда ли чудно? Отнюдь не по-котовьи!
Коты не чувствуют к воде большой любви.

Не родился ль наш кот на мельнице лесной,
Где из-под колеса моргает водяной?

У мельника, чей глаз охаял всей деревней,
Всегда есть кот-ведун с мурлычной оказкой древней.

Нина Берберова

Сложить у ног твоих весь этот страшный мир,
Где уличный певец со шляпой нас обходит,
Где ангелы в плащах, изношенных до дыр,
Под траурным дождем по тротуарам бродят.

Сложить у ног твоих, на городских камнях,
Закон законов всех и тайну мирозданья,
Весь этот дикий мир в искусственных огнях,
Где мы живем с побой, шепча свои желанья.

На свете я одна и нет меня другой,
На свете ты один, и нет тебя другого,
И в нас одна любовь, о друг мой дорогой,
До смерти, до конца. И после смерти снова.

8 АВГУСТА 1921 ГОДА

Я помню день тому лет пять назад:
Над летним Петербургом дождь
и ветер.

Таврический глухой я помню сад
И улицы в передвечернем свете,

На одеяле первые цветы,
Покой и жлад в полузакрытом взоре,
И женщины увядшие черты,
Немеющей от бедности и горя.

Я помню день, унылый, долгий день,
В передней — плач, на лестнице
смятенье,
И надо всем — нездешней жизни тень,
Как смертный след, исполненный
значенья.

И я сама, тому всего пять лет,
Стояла там и видела обоев
Рисунок пестрый и в окошке след
Дня уходявшего, не успокоив.

Пять лет тому! Куда ушли года
Невозвратимой юности и жара?
Спроси: куда течет весной вода?
Спроси: где отблеск горного пожара?



Две девочки. Одна с косой тугой,
Другая стриженная после кори,
Идут аллеей за руки держась.
Кто эти девочки? Садится солнце
И нежно плачут жаворонки в небе,
В аллее тень, и камень бел и сух.
Кто эти девочки? То ты, быть может,
И я, и вместе нам идти легко.
Дом далеко, а рай почти что рядом.
Оттуда к нам идут навстречу двое:
Мой милый друг, мой старший брат,
товарищ

Ушедших юных лет, и твой отец.
Они нас долго ждали. В этот вечер
Они ото всего нас опрадают,
Мы никогда их больше не покинем.
А эта жизнь, и все, что после было,
И что теперь, и то еще, что будет,
Давай все это правдой не считать.
Мы так прошли с тобой по той аллее:
Рука с рукой. Ты стрижена, как
мальчик,
А у меня коса. Нам десять лет.
И вечным миром приняло нас небо.

Памяти З. Н. Г.

Я десять лет не открывала старой
Коробки с письмами ее. Сегодня
Я крышку подняла. Рукою тонкой
Вот эти бледные листы она
Когда-то исписала мне на радость.
Там бабочка случайная дремала
Среди стихов, среди волшебных слов,
Быть может, год, быть может десять лет.

И вдруг, раскрыв оранжевые крылья,
(Напомнив рыжеватость тех волос)
Она из тьмы ушедших дней вспорхнула
И в солнце унеслась через окно
В лучистый день, в лазурное сегодня.
Как будто камень отвалила я
У входа в проб давно глубоко спящей.

Раиса Блох

Налетает ветер длиннокрылый,
Замечает по дорогам след.
Чтоб не помнить нам того, что
 было,
Не искать, чего уж больше нет;

И струится небо голубое,
Острова седые унося,
Чтоб нам жить в безоблачном
 покое,
Ни о чем у Бога не прося.

Ну, а сердце, сердце не умеет,
Неуклонно темное зовет.
Для него напрасно ветер веет,
Истекает солнцем небосвод.
Ничего оно не понимает,
Об одном твердит который год.



Принесла случайная молва
Милые, ненужные слова:
Летний Сад, Фонтанка и
 Нева.

Вас не взять, не спрятать, не
 прогнать.
Надо жить — не надо вспоминать,
Чтобы больно не было опять.

Вы, слова залетные, куда?
Здесь шумят чужие города
И чужая плещется вода.

Не идти ведь по снегу к реке,
Пряча щеки в пензенском платке,
Рукавица в маминной руке.

Это было, было и прошло,
Что прошло, то вьюгой замело.
Оттого так пусто и светло.



Мне снилось — о, если бы было
То, что мне Бог открыл! —
Мне снилась моя могила:
Над нею птица кружила
Серпами черными крыл.

Мне снились дальние звоны
— Откуда они, скажи? —
И жаркого неба склоны
Стекали на лес зеленый,
На желтое поле ржи.

И было мне так спокойно
Так сладко было мне
Под этой рекою знойной,
Под этой волною хвойной
Глубоко лежать на дне.

Над Зимнею Канавкой о перила
Облокотилась Лиза, вся в слезах...
...Подруги милые, мне — крест, могила,
А вам резвиться в солнечных лугах.

Хрустальным пламенем сияла зала,
Столетья блеск впитали зеркала.
Здесь музыка Чайковского звучала,
Здесь славы русской радуга взошла.

Подъезд театра, как пустая рама,
И ветер крутит мусор и золу.
Но в полночь выйдет Пиковая Дама,
Пройдет по улицам в туман и мглу.

Пройдет, растает в площади пустынной,
В зиянии стен разбитых пропадет,
И луч прожектора иглою длинной
Над памятником бронзовым скользнет.

Ты ждешь, Евгений, но не с прежним
страхом,
С надеждой жаркой ожидаешь ты,
Что ринется одним могучим махом
Чудесный конь с пранитной высоты,

И по торцам столицы непокорной,
В развалинах не сдавшейся врагу,
Проскачет он, строитель
чудотворный,
Свой клич войскам бросаю на бегу.

Анатолий Величковский

КОНЕЦ ЗИМЫ

Глубокий снег размяк. Во мраке
Опять залапали собаки.
Все люди спят, не спит одна
Над степью полная луна.

Да я брожу. Мне ветер южный
Поет о том и говорит,
Что иней нежный и жемчужный
Не встретит упренней зари.

Поют серебряные трубы
О целомудрии зимы,
Но ветер южный, ветер дубый,
Дожднул дыханием чумы.

И падает в изнеможенные
Пред ним прекрасная зима,
В тлетворном, страшном иступлении
Целует жениха сама.

Часы идут, секунды меря,—
То не часы во мгле идут —
За каплей капля слезы веры
С высоких тополей пакут

Так отозвался струнным хором
Хрустальный звон из глубины
На льющийся степным простором
Голубоватый свет луны.

✱

Ты несколько рубашек, днем,
Перед уходом постирала.
Всю ночь осеннюю попом
В окошко пуговка стучала.

Стучала в сумерках немых,
А мне, минутами, казалось,
Что дело милых рук твоих
В печальном стуке продолжалось.

С тех пор я понял: так же мне
Совсем не звезды нужно славить,
Когда в смертельной тишине
Хочу бессмертие оставить.



Опять поля направо и налево.
Знакомый ветер встретил и узнал...
И вдруг запел таким родным напевом,
Как будто бы по имени позвал.

И мы пошли по-дружески, не споря,
Крылатый друг смирился и притих.
Я о своем рассказывала горе,
Он о скипантиях говорил своих.

Сменялись тучи на небесной страже,
Мы с ветром вспоминали о весне,—
Он никогда на людях не расскажет
Того, что поворил наедине.

И он мне рассказал об очень многом,
И проводил по дружбе на вокзал,
И листьями усыпал мне дорогу,
Но все-таки о главном не сказал.

Александр Гингер

ШАР

На что нам чудеса! Когда б ослепли мы,
когда бы слышать перестали —
мы к бурям бы рвались из медленной тюрьмы
и о пожарах бы мечтали.
Но несказанный шар сейчас осветит нас,
и знак подаст; и звуки встанут.
И будет слышать слух, и будет видеть глаз,
а ночь и глушь в могилу канут.
Каких чудес желать? Ведь их не может быть:
они уже у нас и с нами.
О том, чтоб не заснуть. О том, чтоб не забыть.
О том, чтоб не забыться снами.

УГОЛ

Незаслуженное чудо
ожидает за углом
тех, которым очень худо.
Обогни стоячий дом.

Усмири тревожный трепет
в шумной и большой груди.
Удержи сердечный лепет.
Темный угол обойди.

Водари в спокойном сердце
золотую пустоту,
победи в пустынном сердце
кровавую суету.

Темный угол, угол дома
обогни и обогни.
Грянули раскаты грома,
брызнули его огни.

Тех, которым было худо,
белым счастьем обожгло.
Неожиданное чудо
не случиться не могло.

ДОВЕРИЕ

Как жалок лепет слов твоих
напрасных
в беспомощных молитвенных стихах,
как жарок ворох роз принопопрекрасных
в твоих руках, в чахоточных руках!

Сюда, Тереза, умершая рано,
мне смертному на помощь поспеши;
явишь благоприятною охраной
в ночи, во мгле, в глуши, в тиши.

Под сводами томления ночного
все прошлое и пусто и темно,
но иногда блаженной вестью новой
воображение потрясено.

И в каждом вздохе, сердца в каждом
бьении:
сюда, Тереза! ворох роз, сюда!..
Проходят дни, растет уединенье,
встает гора греха, труда, стыда —

но ты, чахоточная королева,
пребуди с рабом, к слепому низлети,
оборони от прусты и от пнева
и руку горя властно отвори.

СВЕТИТ МЕСЯЦ

Дочь моя живет в Лизгоре,
с мужем ей не скучно там.
А навязчивое горе
ходит по другим местам.

Бестелесно, но костляво
и косою ополчено,
всюду близко, вечно право —
прочино царствует оно.

Истощались наши силы,
страха нам не победить.
Мертвые легли в могилы,
приказав недолго жить.

Братья, сестры! Перед этим
жалким ужасом земным
станем мы подобно детям,
руки мы соединим

и не плача и не споря
будем верить чудесам.
Тварк ушел давно уж в море,
жив иль нет — узнаешь сам.

Алла Головина

БРЮГГЕ

Ночью руки до плеча растут —
 Мы крылаты снова на досуге.
 Ночью души наши улетают
 На каналы в позабытый Брюгге.
 Чинно звезды сторонятся в небе,
 И туманы, подколов гуали,
 Нас ведут туда, где черный лебедь
 Под мостом вздыхает на канале.
 Спят кружевницы в своих подвалах
 И во сне привычными руками
 Ворожат в узорах небывалых,
 Что цветут вверху над чердаками.
 Город опит в неотзвеневших звонах,

В медных звуках — горестных и
 чистых,—
 Темный город брошенных
 влюбленных
 И с маршрута обившихся туристов.
 А когда колокола застонут
 И кружевниц ослепят рыдания,
 Нас лучи политические тронут
 И мы птицам скажем: до свиданья...
 Мы уже опаздываем, птицы,
 И давно, в Париже или Праге,
 Коллот тело стынущее шприцем
 И на полках ворошат бумаги.



От слов твоих, от памяти моей
 И от почти такого же апреля,
 Опять поет забытый соловей,
 И близится пасхальная неделя.
 Но все встает в какой-то полумгле
 И призраками — праздничные лица,
 Цветы сияют мутно на столе,
 А соловей, как заводная птица.
 Он так поет, что плачет болдыхан,
 В испрепанном собраньи Андерсена:
 — Хочу того, — но тяжелей туман,
 И дальше север, и слышнее Сена.

И девочка под заводную трель
 Бойится так, как прежде не боялась
 Сказать тебе, что и сейчас апрель,
 Что с нами память, кажется, осталась,
 Что можно бы попробовать еще,
 Но вот она сама уже не верит,
 Хотя соловей садится на плечо
 И щелкает, и нежно лицemerит...
 И дождь идет без запаха дождя,
 Без шелеста, стекая с переплета,
 Где спят герои, руки разведя,
 Как для объятия или для полета.

ВЕСНА

О, как слаба, о как нежна,
 О, как скучна и нежесланна,
 Встает прохладная весна
 Из-за версальского фонтана.
 И ей подчищенный тритон
 Трубит заученную встречу,
 Садовник — хилого предтечу —
 Пестует зябнувший бутон.

И в рыжем пиджаке плебей
 Стоит, нацелив аппаратом, —
 Богиня профилем носатым
 Ему позирует с аллеи.
 Но эта встреча не для мук...
 В траве, потягиваясь, прелой,
 Алмур натягивает лук
 И в землю выпускает стрелы.

Михаил Горлин

ШНУРРЕНЛАУНЕНБУРГ

Когда-то в детстве, начитавшись Гофмана и сказок,
Я рисовал красными чернилами, чтоб было покрасивее,
Веселый несуществующий городок Шнурренлауненбург.
Потом прошли года.
Я забыл, я совсем забыл про него,
И сегодня вспомнил снова.
Как ясен он передо мной! Выйду и пойду бродить по его
улицам.
Вот дворцовая площадь с домиками из пестрого картона,
С мраморным львом, покрашенным для правдоподобия
в желтый цвет.
А вон и церковь: на ее крышу ставят ангелам кружки пива,
Чтоб ночью, охраняя пород, они не страдали от жажды.
Говорят, что этот обычай сильно печалит перцога:
Он любит просвещение и считает, что это чужь,
Но еще больше просвещения он любит свою коллекцию
фарфора и собачьих хвостов.
А про гофрата говорят совсем странные вещи,
Будто он целый день пьет кофе и беседует с попугаями
о смысле жизни,
А по вечерам садится на свой чубук, и улетает... куда?
Шнурренлауненбург!
Пестрый радостный город!
Долго ль я буду блуждать по веселым твоим переулкам,
Спорить с попугаями гофрата и сидеть в кабаке голубого
цветка,
Или снова будет, что было раньше:
Серый день, затхлый, как нецвetoветренная комната,
Одиночества тусклый свет?

МЕКСИКА МОЕГО ДЕТСТВА

Мексика моего детства, вижу тебя
С твоими кактусами, пушпырчатými и длинными, как огурцы,
С твоими индейцами, притаившимися за гущами лиан,
С твоими всадниками с головами и без голов,
Со стадами мустангов, постоянно мчащихся по степям.
Помню, и я скакал по твоим степям во сне:
Подо мною убегали широта и долгота

Четкими линиями, как на географических картах.
Враги бросали в меня не то копья, не то цветные карандаши.
Я скакал без передышки, обгоняя всех,
К домику с белыми колоннами, крытому черепицей,
Где ждала меня прекрасная донья Соль
С очень черными волосами и очень красными губами,
Как на тех коробках сигар, что курил мой отец,
Или как на той, что я увидал у тебя, мой друг Виктор,
В тот день, когда мы вели нескончаемый спор.

Иван Елагин

Нежность, видно, родилась заимкой,
Ей слова даются тяжело.
Ей бы медвежонком в чаще дикой
На заре обнюхивать дупло.

Ей бы призть заостренный и горький
Лист брусничный да лежать во мху,
Слушая, как ветер на пригорке
Треплет тонкоствольную ольху.

А ее просили сесть в гостиной,
И была хозяйка с ней мила,
Оттого что нежность чинно-чинно,
Очень хорошо себя вела.

Столь необычайное смиренье
Даже озадачило кота:
Кот изобразил недоуменье
Знаком вопросительным хвоста.

Кот нашел, по-видимому, странным
То, что нежность так себя ведет:
Кот в любви был старым ветераном,
Помнил, что такое нежность, кот.

Знал, что не унять ее томлений,
И умел он на своем веку
Ткнуться мордой в милые колени,
Ухом почесаться о щеку.

Исчезают, как в водовороте,
Выплески однообразных дней.
Вы, наверно, так и не придете
На свиданье с нежностью моей.

✱

Пробегают такси по соседнему парку,
И рекламная осень пестра и шумна.
Пролетающий лист, как почтовую марку,
Ветер лепит с размаху на угол окна.

Я не думал о вас. Ваше русское имя
На туманном стекле написалось само.
Моя осень и я со стихами моими
С этих пор адресованы вам как письмо.



Здесь дом стоял. И тополь был. Ни дома,
 Ни тополя. Но вдруг над головой
 Я ощутил присутствие объема,
 Что комнатною звался угловой.
 В пустом пространстве делая отметки
 Я мысленно ее воссоздаю.
 Здесь дом стоял и тополь был, и ветки
 Просовывались в комнату мою.
 Вот там, вверху, скрипела половица
 И лампа вбок была наклонена,
 И вот сейчас выпархивает птица
 Сквозь пустоту тогдашнего окна.
 Прошли года, но мир пространства
 крепко,

И у пространства память так свежа,
 Как будто там, вверху, воздушный
 слепок
 Пропавшего навеки этажа.
 Здесь новый дом построят
 непременно,
 И, может быть, посадят тополь тут,
 Но заново воздвигнутые стены
 С моими стенами не совпадут.
 Ничто не знает в мире постоянства.
 У времени обрублены концы.
 Есть только ширь бессмертного
 пространства,
 Где мы и камни смертные жилицы.



Еще рассвет. Еще туманный хаос.
 Еще, передраассветно колыхаясь,
 Деревья — еле видимые — в дымке
 Похожи на рентгеновские снимки.
 Еще рассвет. Но из туманных прядок
 Весь город выпадает, как осадок,
 Выходят, как из мутного раствора,

И памятник, и выступы собора,
 И дом обозначается за домом.
 Чтоб встать на небе каменным
 изломом,
 Чтоб встать на небе четкой и
 упрямой
 Извечной городской кардиограммой.



От полустанка до полустанка,
 То водочка, то вагонетка,
 Полка, бутылка, консервная
 банка,
 Поле, да поле, да изредка ветка!

От разлуки до разлуки,
 От судьбы и до судьбы,
 Взяли душу на поруки
 Телеграфные столбы!

Телеграфные столбы —
 Соглядатаи судьбы!

Ветер бреющим полетом
 Бьет по спинам поездов,
 И поет, поет по нотам,
 Бесконечных проводов!
 Пой на тысячу ладов,
 Ветер нищих! Ветер вдов!

Владимир Злобин

СОН ШЕСТОЙ

Еще один дурацкий сон.
Подди, пойми его значение!
Я будто болен (иль влюблен)
И мне прописано лечение.

Я должен, чуть на землю ночь
Свое набросит покрывало,
Скорей, скорей из дома прочь,
Стрелой — иначе все пропало —

На берег темного пруда
(Не на море и не на речку)
И там, когда над ним звезда
Взойдет, задуть ее, как свечку.

И вот, несчастный человек,
Я дую. Силища какая!
И звезды падают, как снег,
Во тьме колеблясь и сверкая.



Я сам себя заколдовал.
Блаженство? Выбирай любое.
Пустоту зеркала овал,
В нем только небо полубое.

Но ты внимательно взглядишь
В его растущие просторы,
Туда, в сияющую высь,
Где тонут ангельские взоры.

И как парящего юрла
Из этой глубины лучистой,
Неудержимая стрела
Тебя пронзит с протяжным свистом.

И ты увидишь свой же лик,
Но в восхищеньи совершенства.
И будет этот краткий миг
Блаженней вечного блаженства.

СВИДАНИЕ

Памяти Д. М. и З. Г.

Они ничего не имели,
Понять ничего не могли.
На звездное небо глядели
И медленно под руку шли.

Они ничего не просили,
Но все соглашались отдать,
Чтоб вместе и в тесной могиле,
Не зная разлуки, лежать.

Чтоб вместе... Но жизнь не простила,
Как смерть им простить не могла.
Завистливо их разлучила
И снегом следы замела.

Меж ними не горы, не стены,—
Пространств мировых пустога.
Но сердце не знает измены,
Душа первоначально чиста.

Смиренна, к свиданию готова,
Как белый, негнанный цветок
Прекрасна. И встретились снова
Они в предуказанный срок.

Развелись тихо туманы,
И вновь они вместе — навек.
Над ними все те же каштаны
Роняют свой розовый снег.

И те же им звезды являют
Свою неземную красу.
И так же они отдыхают,
Но в райском Булонском лесу.

Юрий Иваск

ЦАРСКАЯ ОСЕНЬ

I

Оклоняются дубы и клены,
Сияя славой золотой,
И пусто устилают склоны
Багряной жертвенной листвою.

И снова, славою венчанный,
Законы преступля времен,
Крест Иисусов, осиянный,
Над нами воздымает он.

И, Византии современник,
В сиянии золотых божниц,
Серебряный первосвященник
Склоняется смиренно ниц.

А синееккий отрок, словно
Небесный тихий херувим,
С тяжелым посохом безмолвно
На страже бодрствует за ним.

II

О, сколько золота! Но не богаты!
О, нет, бедны! И как еще бедны!
И золотые листья и закаты,
И серебро блеснувшей седины...

Цари-дубы, патрикии — те клены,
А ты, царица — лиственница та;
Зарницы холмов освещают склоны,
И листья стелются, и нищета.

Распад, распад все той же Византии.
Ну, что же, распадайся: и скорей!
А ветры, что народные витии,
Разоблачают золотых царей.

Сентябрь, сентябрь великих умирание
И Юлиев, и Августов земли,
И вот октябрь, последнее сиянье,
И варвары с секирами пришли.

И обреченных венценосцев сада
Он вырубает, дикий человек...
А снег не падает, но — падай, падай,
О, невозможный и блаженный снег!

III

Это — золото блестит, оно не светит,
Неживое и тяжелое оно —
Неживое, золотое солнце Леты,
Ветхой Леты опускается на дно.

Волны рукоплещут, черные — не чернь ли,
Чернь, которая волнуется у ног;
Как она звероподобна, суеверна,
И зачем цари не справились с ней в срок?

У патрикиев придворных морды лисы,
И варантов русая зловещая рать,
Не вздохнуть царю, мешает дивитиссий,
Голову в венце жемчужном не поднять.

Пережить мне суждено ли час позора?
Ужас даже на личине палача,
Окна покраснели от стыда и горя,
Кровью и вином пропитана парча.

Ненавидисты мне лукавые монахи
И густая суеверная толпа;
Славлю чуждую бессмысленного страха.
Верность соляного бедного столпа.

Солнце мертвое есть тоже солнце
Одинокое величество люблю;
Одинокую утасшую державу
Бедной каменной рукою благословлю.

Олег Ильинский

ПАМЯТЬ

1

В теории не переспорить память,
На практике ее не обойти,
Она ворвется и прервет дыхание,
Двумя штрихами облик воплотив.
Он выступит из разноцветных пятен,
Из впечатлений малых и больших,

И я увижу все — от складок платья,
До акварельной тонкости души.
Он будет жить и крепнуть разрастаясь,
И будет личность крепнуть вместе с ним,
Он будет выкрашлен в мирозерцанье,
Войдет в меня и станет мною самим.

2

Любовь за мелочь пряталась как будто,
Была во всем, ей все служило веками,
Она дружила с телефонной будкой,
С аудиторией, с библиотеками,
Она дружила с лицами прохожих,
Авансом всех и каждого любя,
Она с любым дружна, на всех похожа,

Она похожа только на себя.
 Чем мальче штрих и чем пустяк
 обидней,
 Тем безраздельней он родился с ней,
 И в пустяке, случайно вновь
 увиденном,
 Я прошлое увижу там ясней.

НА СЕНОВАЛЕ

Сарай. Свобода. Лето. Тень.
 Сверчок со стрекотом коротким,
 И голова между локтей
 И книга возле подбородка.
 Прохладный воздух в щель течет,
 Стена сарая чуть расселась
 И луч сквозь выгнувшийся сучок
 Ложится пятнышком на сено.
 И невозможно удержать
 Веселого биенья сердца,
 Пылинки в воздухе дрожат,
 В луче не устают вертеться.
 Поет труба и рвется стяг,
 Дается рыцарское слово,

В пустыне дробтики свистят,
 Пылят арабские подковы.
 Проходит много-много лет
 И кто-то принял смерть в походе,
 И кто-то выполнил обет,
 Освобождая Проб Господень.
 И хочется почти до слез
 В опромный мир, во рвы под стены,
 А солнце брызжет через тес
 И опьяняет запах сена.
 И впечатления остры,
 Колени в осадинах, в занозах,
 А мир еще не дооткрыт,
 Еще не назван, не осознан.

КАНУН РОЖДЕСТВА

Сочельник плавит овечи, смотрит
 в звезды,

Снега смилив и ветры спеленав,
 И поднимает крылья в ясный воздух
 Мелодия и голос «Штиле Нахт».
 В светлых высях полет полосов,
 Диалог колокольных высот.
 Отзывается в звездной пыли
 Голос меди и голос земли.

Сочельник каплет воском, студит
 стекла,

Зовет хрусталь на ветках повисать
 И вспыхивает блик упавший с елки
 На темно-золотистых волосах.
 Мотив из детства. Ты его певала,
 Ты с ним росла. Он был твоим вполне,
 Самой себе ты в нем приоткрывалась,
 Тогда он стал твоим письмом ко мне.

Борис Филиппов

Стада овец библейские седые
 И тот же хлеб, и та же горечь воды,
 И тот же ужас завтрашней беды,
 Неотвратимой, как глаза слепые.

И мудрая походка пастуха,
 Наследника немудрого Исава,
 И тяжкая прадедовская слава,
 И крик предостереженный провидца-петуха.

САДКО

*Когда отягчится Новгород Великий
грехами, разогнется тогда благословля-
ющая горстно Длань Вседержителя в
куполе Св. Софии, и разрушится град,
и мутные волны Ильменя покроют его.*

Легенда Св. Софии Новгородской

Серебряная рыба чешуя
Блестит на солнце сонною кольчугой,
И невод тяжкий с мускульной натугой
Выплескивает Ильменя струя.
И рыбок былевых червонный клад
Горит в душе Садка напевной силой,
А гусель звончатых затейный лад
Дробится в песне вольной и унылой.
И радостью печальною полна,
Седого Ильменя премит волна,
И сушит Волхова золотые косы,
И церкви стройные бегут в покосы.

Волхвы-всеяды славят Новоград,
Лады везут в незнанные страны,
В Индейский сон, в Варяжские туманы
И в Веденец — морской цветущий сад.
Садку не дорог зреющий покой:
Яровчатые струны станут бурей,
И расплылся прозный Царь Морской,
И топил корабли в бисовской дури.
В Софии разогнулась Спаса порсть,
И ажда желтая прогнулась кость,
И в алых столпах песенного сада
Развалины ютятся Новограда.

КРЕЩЕНИЕ В ДРЕВНЕМ НОВГОРОДЕ

Средь алых зипунов и кобеняков
Блестит узор морозной чешуи,
И в полушубках драных холуи
Корзинами выплескивают раков.
У белой церкви в бочках желтый мед
И горы златоблещущего воска,
А вот с мехами кунными повозка,
Веселый пестрых сукон хоровод.
На Волхове застывшем Иордань,
Мороз попам прохватывает глотки,
Смеются краснощекие молодки,
Поблескивают фляги пенной водки,
И толпы пьяных — в эдакую рань!
Звенит Ивац Предтеча серебром,

Меняя талеры на новгородки,
У всех церквей живой торговли сходки,
И окоморохи кажут свой сором:
— Эй жги! Сегодня праздник у Ивана:
— Гляди-ко-ся, владыка в храм идет...
— Не пограбим гудошничьего сана:
— Эй, вывороты полные карманы:
— С водой из проруби: попер народ.
Иван премит крещальным песнопеньем,
И колокол восторженно звенит,
И серебро чешуйками горит,
Ганзейских немцев скучен стропил вид
В морозный праздник русского

Крещенья.

Д. Кленовский

ДОЛГ МОЕГО ДЕТСТВА

Двоился лебедь ангелом в пруду.
Цвела сирень. Цвела неповторимо!
И вековыми липами хранима
Играла муза девочкой в саду.

И Лицеист на бронзовой скамье,
Фуражку сняв, в расстегнутом мундире,
Ей улыбался, и казалось: в мире
Уютно, как в аксаковской семье.

Все это позади. Заветный дом
Чернеет прудой кирпичича и сажки,
И Город Муз навск обезображен
Артиллерийским залпом и стыдом.

Была пора: в преддверьи нищеты
Тебя земля с улыбкою встречала.
Верни же нынче долг свой запоздалый
И, хоть и трудно, улыбнись ей — ты.



Какая-то радость (но кто же
Из смертных ее назовет?
Еще нам и сердце тревожит
И жизнь разлюбить не дает.

Откуда она сохранилась,
Свой луч затаила во мгле,
Последняя чистая милость
На нашей недоброй земле?

Созвездья ль в нее уронили
Свою потаенную пыль?
Пыльца ли в ней утренних лилий
С утраченной райской тропы?

И мы с безымянного детства
Своей неизбывной земли
Того золотого наследства
Истратить еще не смогли!



Не камешком в мозаиках Равенны,
Не багрянцем на фресках Ватикана —
Была я лишь клочком веселой пены
На голубых просторах океана.

И я навстречу парусу взлетела,
С прибрежным рифом, ускользая, билась,
Я смуглой девушки ласкала тело
И в золотой песок, устав, зарылась.

Мой быстрый путь ничем не обозначен,
Моя судьба — случайна и мгновенна,
Но я была счастливей и богаче,
Чем все пробины и дворцы вселенной.



О, славные содружества поэтов
Благословенной пушкинской поры!
Где ваши клятвы, пылкие приветы,
Беседы и невинные пиры?

Где ваши споры, где ночные бденья
На берегах торжественной реки,
Звенящие, как струны, посвященья,
Упоминанья краше, чем венки?

Все отошло... Мы вам уже не пара!
Мы мелочны, завистливы, скучны,
И даже самым совершенным даром
Развlechены, но не потрясены.

На сердце нам, заветно и глубоко,
Высокой дружбы не легла печать.
Вот почему и радости высокой
В стихах у нас — увы! — не прозвучать.



Как бушевали соловьи
Над нашей гоголевской хатой
Луною выбеленной и
Подсолнухами полосатой!

Как было хорошо прильнуть
Губами к маленькому уху!
С собой мы взяли в дальний путь
Ту немудреную науку.

Их было не перекричать!
Но, неуверенно вначале,
Еще пугаясь все оказать,
Мы их с тобой... перещептали.

И с той поры она для нас
Защитой стала неизменной:
Таким же шепотом сейчас
Мы заглушаем шум вселенной.

Ирина Кнорринг

Мы мало прожили на свете,
Мы мало видели чудес.
Вот только — дымчатые эти
Обрывки породских небес.

В опромной жизни нам досталось
От всех трагедий мировых
Одна обидная усталость,
Невидимая для других.

И эти траурные зданья
В сухой классической пыли,
Да смутные воспоминанья
Мы издадека привезли.

И все покорнее и тише
Мы в мире таем, словно дым.
О непришедшем, о небывшем
Уже все реже говорим.

И даже в мыслях, как бывало,
Не рвемся в огненную даль,
Как будто прошлого не мало,
И настоящего не жаль.



Будет больно. Не страшно, а странно.
Слишком просто и слишком легко.
Вот расплата за поды обмана,
Вот обещанный «вечный покой»!

Ни печали, ни слез, ни тревоги,—
Равнодушие во всем и везде.
Будет трудно подумать о Боге,
И неловко смотреть на людей.

А потом — (но не все ли равно?)
Очень холодно, сыро, темно.



Я люблю заводные игрушки,
И протяжное пенье волчка.
Пряди русых волос на подушке
И спокойный огонь камелька.

Я люблю в этом тихом покое,
После бешеной суеты дня,
Свое сердце, совсем ледяное
Хоть немножко согреть у огня.

Я люблю, когда лоб мой горячий
Тронет ласково чья-то ладонь.
А в утлу — закатившийся мячик
И бесхвостый, облупленный конь.

Позабыв и тоску и усталость,
Так легко обо всем говорить...
Это все, что мне в жизни осталось,
Все, что я научилась любить.

Довид Кнут

Я не умру. И разве может быть,
Чтоб — без меня — в ликующем
пространстве
Земля чертила огненную нить
Бессмысленного, радостного странствия.

Не может быть, чтоб — без меня — земля,
Катясь в мирах, цвела и опцветала,
Чтоб без меня шумели тополя,
Чтоб снег кружился, а меня — не стало!

Не может быть. Я утверждаю: нет.
Я буду жить, тупой, упрямолюбый,
И в страшный час, в опустошенном
сне,
Я оттолкну руками крышку гроба.

Я оттолкну и крикну: не хочу!
Мне надо этой радости незрячей!
Мне с милою гулять — плечом к плечу!
Мне надо солнце словом обозначить!..

Нет, в душный ящик вам не уложить
Отвергнувшего тлен, судьбу и сроки.
Я жить хочу, и буду жить и жить,
И в пустоте копить пустые строки.

КИШИНЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ

Я помню тусклый кишиневский вечер:
Мы огибали Инзовскую горку,
Где жил когда-то Пушкин. Жалкий холм,
Где жил курчавый низенький
чиновник —
Прославленный кутила и повеса —
С горячими арапскими глазами
На некрасивом и живом лице.

За пыльной, хмурой, мертвой Азиатской,
Вдоль жестких стен Родильного Приюта,
Несли на палках мертвого еврея.
Под траурным несовежим покрывалом
Костлявые виднелись очертанья
Обглоданного жизнью человека.
Обглоданного, видимо, настолько,
Что после нечем было поживиться

Худым червям еврейского кладбища.

За стариками, несшими носилки,
Шли кучкою глазастые евреи.
От их заплаканных ладоней
Шел сложный запах святости и рока,
Еврейский запах — нищеты и пота,
Селедки, моли, жареного лука,
Священных книг, пеленок, синагоги.

Большая скорбь им веселила сердце,
И шли они неслышною походкой,
Покорной, легкой, мерной и неспешной,
Как будто шли они за трупом годы,
Как будто нет их шествию начала,
Как будто нет ему конца... Походкой
Сионских — кишиневских — мудрецов.

Пред ними — за печальным черным
 прузом
Шла женщина, и в пыльном полумраке
Не видно было нам ее лицо.

Но как прекрасен был высокий голос!
Под стук шагов, под слабое шуршанье
Опавших листьев, мусора, под кашель
Лилась еще неслыханная песнь.
В ней были слезы сладкого смиренья,
И преданность предвечной воле Божьей,
В ней был восторг покорности и
страха ...
О, как прекрасен был высокий голос!

Не о худом еврее, на носилках
Подпрыгивавшем, тел он — обо мне,
О нас, о всех, о суете, о праже,
О старости, о горести, о страхе,
О жалости, тшцете, недоумении,
О плазках умирающих детей ...

Еврейка шла почти не спотыкаясь,
И каждый раз, когда жестокий камень
Подбрасывал на палках труп, она
Бросалась с криком на него — и голос
Вдруг ширился, крепчал, звучал
металлом.

Торжественно гудел упрозой Богу,
И веселел от яростных проклятий.
И женщина прозила кулаками
Тому, Кто плыл в зеленоватом небе,
Над пыльными деревьями, над трупом,
Над крышею Родильного Приюта,
Над жесткою, корявою землей.
Но вот путалась женщина себя
И была в прудь себя, и леденела
И каялась надрывно и протяжно,
Испуганно хвалила Божью волю,
Кричала иступленно о прощеньи,
О вере, о смиреннии, о вере,
Шарахалась и ежилась к земле
Под тяжестью невыносимых глаз,
Глядевших с неба скорбно и сурово.

Что было? Вечер, тишь, забор, звезда,
Большая пыль... Мои стихи в
«Курьере»,

Доверчивая гимназистка Оля,
Простой обряд еврейских похорон
И женщина из Книги Бытия.
Но никогда не передам словами
Того, что реяло над Азиатской,
Над фонарями городских окраин,
Над смехом, затаенным в людворотнях,
Над удалью неведомой питары,
Бог знает где рокочущей, над лаем
Тоскующих рышкановских собак.

... Особенный, еврейско-русский
воздух ...
Блажен, кто им когда-либо дышал.

Вл. Корвин-Пиотровский

ДВОЙНИК

Весенний ливень неумелый,
От частых молний днем темно,
И облака сирени белой
Влетают с грохотом в окно.

Земля расколота снаружи,
Сосредоточена внутри, —
Танцуют в темносиней луже
И лопаются пузыри.

И вдруг, законы нарушая,
Один из них растет, растет,
И аркой радуга большая
Внутри его уже цветет.

Освобождаясь понемногу
От вязкой почвы и воды,
Он выплывает на дорогу,
Плывет в бурлящие сады.

И на корме его высокой
Под флагом трепетным возник
Виденьем светлым иль морокой
Мой неопознанный двойник.

Я двусь к нему, но он не слышит,
Что я вослед ему кричу, —
Под ним сирень как море дышит,
В своих волнах его колышет
И влажно хлещет по плечу.

*

Лазурь воскресная чиста,
Все так легко и невесомо, —
Свет бьет из каждого куста,
Из каждой скважины и дома.

Мечтатель в шляпе голубой
Влюбленных провожает взглядом,
Веселые шары гурьбой
Взлетают над притихшим садом.

В упругом воздухе паря,
Они всплывают поплавами,
Вальсируют под облаками,
Иль, новый танец сотворя,
Ввысь устремляются прыжками
(В бессмертье, проще говоря), —
Но, лопнув, падают клочками
Наморщенного пузыря.

А мы под зонтиком цветным
За кружкой пива полудремлем,
Табачный отгоняем дым, —
Мы краем уха сонно внемлем
Невнятным шумам площадным.

*

Еще не глядя, точно знаю,
Чем тронуты твои черты, —
Как будто сердцем вспоминаю
Тот мир, которым дышишь ты.

Как будто не было меж нами
Ни столкновений, ни преград,
Как будто вещи говорят
Со мной пророческими снами.

Да, я люблю, и ты за мной
Готова следовать послушно,
Но нетревожно, равнодушно,
Но отдаленно, стороной.

И часто в слабости любовной
Клонясь на прудь твою, в тиши
Я слышу сердца бег неровный
И дрожь холодную души.

И сквозь опущенные веки
Я вижу в темном забыти
Невоплощенный образ некий, —
Черты прядущие твои.

ЛИСТЪЯ

E. Ю. Pann

Сырые листья вдоль дороги
Туманным золотом блестят,
Они уже полны тревоги,
Срываются, но не летят.

Дай срок. Пусть ржавчина их
 тронет,
Сожжет морозная земля,
Пусть ветер северный угонит
Их в одиочальные поля.

От зимних бурь они проснутся
И, сталкиваясь на лету,
Шумящим роем унесутся
В ночь, и в ночную высоту.

*

Звезда скатилась на прощанье,
Твой взор зажегся и погас, —
Лишь эхо слушает молчанье,
Соединяющее нас.

И эхо повторить готово,
Рассыпать по ночным кустам
Уже прильнувшее к устам,
Еще не сказанное слово.

Ю. Крузенштерн-Петерс

ТУРГЕНЕВ

Эти прустные окна в паутинном уборе,
Синеватые окна, за которыми ныне,
Никого не обманет, ни улыбкой, ни взором,
Простодушная Лиза... И падет, словно иней
Старина —

на приветливость тесную горницы,
На просторы зеркал... на точеные пяльцы,
На тяжелые веки добровольной затворницы,
Что колода иголкой дрожащие пальцы.

И забвенье...

И холод...

И мука томления

Над роялем...

Но музыка вальса немецкого

Вдруг промчится по саду тревогой весенней...

Зарыдаст,

окликнет,

обнимет Лаврецкого.

ДОННА АННА

Тихими тяжелыми шагами

В дом вступает командор.

А. Блок

Роли изменились, донна Анна.
В ложе — вы, которой бредил Блок.
Нынче я на сцене, как ни странно,
Начинаю вдовый монолог.

Анна, я старше вас на много,
Знаю, как мучительна тоска,
Но скажите, вы ли, недопрога,
Поллюбить сумели пошляка?

Командор — не статуя, что просто
И легко куда-то сдвинуть прочь.
Вспомните, — от свадьбы до погоста
Рядом с вами, день и ночь.

Пусть порою жизнь была не сладкой,
Пусть она не все уберегла,
Но ведь и железная перчатка
Может быть по своему тепла.

Страсть, безумье — разве это ново?
Это — то, что порастет травой.
Анна. Спрашно обмануть живого.
Командор — он был живой.

Господи. Ну если бы за шторой,
Где сейчас не видно нам ни зги,
Если б моего мне командора
Услыхать знакомые шаги.

Как бы полетела я навстречу,
Как бы снова стала молода.
Анна. Анна. В зале гаснут свечи,
Свечи гаснут от стыда.

Антонин Ладинский

КАИРСКИЙ САПОЖНИК

По дорогам печальным
Путешествовать нам,
А воздушным и бальным
Туфелькам — по балам,

И по мраморным струям
Лестничных ниагар
Нисходить к поцелуям,
Не ходить на базар.

Из прекрасной темницы
Вы бежали стремглав,
В золотистой пшенице
Туфельку потеряв.

В этом горестном мире —
Темен воздух земли —
На базаре в Каире
Жил сапожник Али.

Он в убогой лачуге
Починял башмаки.
У суровой подруги —
Тяжелые кулаки,

От супруги сварливой
Только слышишь в ответ:
— Ах, осел ты ленивый,
Ах бездельник, поэт!

И когда с караваном
Уплывал он сквозь сон,
Под хрустальным фонтаном
Принцем делался он,—

Перебранки и прозы
Настигали и в снах,
И туманная роза
Таяла на глазах.

Звезды так умирают
В аравийском песке,
Так стихи погибают
На второй же строке,

Так в курятниках душных
Птицы жаждут весь день
На крылах непослушных
Улететь за плетень,

Но в заботах о пище
Вновь стучит молоток,
Зерен маленьких ищет
Крутлый птичий глазок.

За высокой стеною
Мир прекрасен! А мы
Зябнем под синевою,
Как в супробах зимы.

Ваши гневные брови
Выше каменных стен,
И темницы суровой
Лба холодного плен,

Но заказчик стучится
И приносит заказ,
А такие ресницы
Не для нас, не для нас.



О чем ты плакала, душа моя,
Вдыхая за решеткой бытия,

Куда рвалась, как пленница, в слезах,
Искала выход голубой впотмах,

В какие небеса взлетала ты
Из этой неприглядной темноты,

И музыке какой внимала там,
Где ангелы и звезды по ночам,

Зачем ты возвратилась к нам опять,
Чтоб на земле помиться и вздохнуть?

И отвечает горестно она:
— Еще я к райской жизни не годна,

Еще я не сгорела на огне,
Еще не выплакалась в тишине,

Еще не научилась я любить,
Еще мне надо у людей пожить.

Т. А. Д. Т.

О, Дания, дальний предел
 Всех наших мечтаний о том,
 Чего не бывает у нас
 Среди скучных и маленьких дел
 На бедной земле без прикрас.

Но милые руки, как лед.
 Все горестнее тишина,
 Все тише и тише плывет
 Над башнями замка луна.

О Дания, меркнет твой свет.
 Твой принц умирает... В конце

Печальнейших странствий —
 ответ
 На этом прекрасном лице.

И в лунном беспамятстве он,
 Среди черных и страшных теней,
 В бреду вспоминает сквозь сон
 О шпиге, о славе своей,
 О маленькой женой руке,
 О шорохе датских деревьев,
 О темной и сладкой строке,
 Слетевшей, как ангел,
 с небес...

Сергей Маковский

Не может быть, чтоб этот мир
 трехмерный,
 куда-то уносящийся в веках,
 мир святости, любви — и тьмы
 и скверны
 и красоты божественно-неверной,
 чтоб этот мир был только прах...

Не может быть, чтоб огненная
 сила,
 пронзающая персть, была мертва,
 и правды благодатной не таила
 испепеляющая все могила —
 все подвиги, все жертвы, все
 слова.

Не может быть, чтоб там, за небесами,
 за всем, что осязает наша плоть,
 что видим мы телесными глазами,
 не веял Дух непостижимый нами,
 не слышал нас Господь.



Не покоряйся искушению,
 безбожному не верь уму,
 не верь тоске, не верь сомнению,
 не верь неверью своему.
 Нет, не по прихоти случайной
 бездушной персти ты возник.

Лицом к лицу пред вечной тайной,
 в ничтожестве — о, как велик!
 Всему единое мерило,
 всего единый судия —
 твое сознание озарило
 слепые бездны бытия...

СОЧЕЛЬНИК

В эту ночь, когда волхвы бредут пустыней
за звездой, и грезятся года
невозвратные — опять из дали синей
путь указывает мне звезда.

Что это? Мечты какие посетили
сердце в ночь под наше Рождество?
Тени юности? любовь? Россия? или —
привиденья детства моего?

Тишиной себя баюкаю заветной,
помня всё, всё забываю я
в этом сне без сна, в печали беспредметной,
в этом бытии небытия.

ОГАРОК

Погаснет электричество в квартире —
спешешь огарком заменить.
И станет в комнате и в целом мире
все по-другому как-то быть...

Нарушен установленный порядок,
насторожилась тишина.
Предчувствий, обольщающих догадок
душа встревоженно полна.

Как маленький огарок, луч вливая
в заманивающую тьму,
она мерцает призрачно-живая,
подобная во всем ему.

Фитиль то вспыхнет, то как бы от страха
закмуруется. И вновь темно...
И громче дряхлая бормочет Пряха,
жужжит веретено.

ДОЖДЬ

Ах, воистину чудесен
день весенний! Даже в дождь.
Лес мне дорог и без песен,
сладок запах мшистых роц.

В гнездах прячутся насекомые,
плачет небо, на траву
тихо каплет с каждой ветки
сквозь намокшую листву.

Низко облака над лесом.
Грустно, сыро и темно.
Пусть! И дождевым завесам
завораживать дано.

Лужи, грязь, вода в овраге.
Дождь... А все ж как хороша
этой животворной влаги
лес обнявшая душа!

Виктор Мамченко

Сияет свет утра. Сияние бесечно
 На крыльях бабочки (весенним днем
 в глазах людей взволнован он извечно
 всепретворяющим кажим-то бытием).

Беги, дитя, за райским излученьем
 Из глаз твоих струящимся, беги,
 Не расперяй его высокое значение,
 Улыбкой верности как счастье сбереги.

И я, и ты, — мы оба не случайно
 В пожар земли не верим, не хотим;
 Ты — радостью, я — радостью печальной,
 Быть может, к звездам окоро улетим.

«МОНПАРНАСС»

Тихо-тихо, еле слышно —
 И порочны и сухи —
 Лепестками розы пышной
 Обрываются стихи
 О разлуке-умираньи
 О несправедливой судьбе;
 В час похмелья, очень ранний,—
 О любви и о себе.
 И покорность фразой слезной
 Бьется в жалобный рассвет,
 Этой ночью, вновь беззвездной,
 Стало ясно: счастья нет.
 — Счастья не было, не будет,
 Где подруга, где вино...
 Эта тоже позабудет,
 Как забытая давно... —
 «Милый, милый,— час рассвета,
 Нам пора, пора давно;
 Как мне больно, песня эта —
 Будто смерть»... — Мне все равно:

Солнце страшное нам светит
 В кокаине и тоске;
 Кто-нибудь в аду ответит
 Раной черной на виске... —
 ... В расставании, в умираньи
 И на грани пустоты,—
 На рассветной синей длани
 Стынут дымные мосты.
 Бестелесно, в чадном круге —
 И безвольно как-нибудь —
 Руки протянуть подруге,
 Голову склонить на прудь...
 И уходят наважденья,
 Только лепел на софе
 Стынет прахом всеожоженья
 Душ сгорающих в кафе.
 На заре предсветной, алой,
 Будто созданный мечтой,
 Встал народ незримой славой —
 Трудной, творческой, простой.

В ТИШИНЕ

Близким счастьем захотела
 Поделиться ты со мной,
 Теплой пчелкой пела, пела
 Над весеннего земель.

И эзелный воздух светом
 Так высок был, и тобой
 Так звенел он в овете этом
 Над мерцающей травой,

Что я верил в росной роце:
 Будет радость на века,
 Будет трепетней и проще
 И, как песнь твоя, легка.

АКВАРЕЛЬ

Рыжий лебедь за решёткой
 В звездных чарах умирает
 Время дней чертою четкой
 Потонуло в черном рае.
 В черном рае потонула
 Крыльев легкая свобода;
 Прерван мост земного гула;
 Все уснуло, все уснуло
 В надвигающихся водах.

Волны хладные плубоки,
 Злобной пеною покрыты,
 И на дне — глубоко сроки
 Светом синим перевиты.
 Отбивают крылья пену,
 Прорываются до чуда...
 Не похожа на измену,
 Не похожа тоже плену —
 Крыльев опенная труда.

Юрий Мандельштам

Моя дорога, столько лет все та же!
 Уже давно я знаю каждый камень.
 Ее мне память, как всегда, подскажет
 Под низкими, ночными облаками.

Да запоздалый путник, озираясь,
 С улыбкой, недоверчивой и странной,
 Сторонится, чтоб не задел, шатаясь,
 Ночной бродяга, сумрачный и пьяный.

Иду наедине с самим собою.
 Ночной, холодный воздух сушит
 слезы.
 И только ветер набежит порою,
 Пересечет мне путь своей утрозой.

Мой милый друг, остановись, послушай!
 Осушит ветер стынувшие слезы...
 Все меньше сил, мои шаги все глуше...
 Дай руку мне... Не слышит. Слишком
 поздно.



Поля без конца, без предела,
 Где ночью рождаются сны,
 А днем пролегают несмело
 Граница соседней страны,

Я слышу жужжанье, и шёпот,
 И шорох, и легкий полет,
 И горький бессмысленный ропот
 В усталой душе не встает.

Где пахнет цветами и летом,
 И сеном, и свежестью рос,
 И душным июльским ответом
 На робкий весенний вопрос...

Сюда приходил я и прежде
 От пыльной судьбы городской,
 В неясной, и чудной надежде,
 В желанный, но смутный покой.

Теперь я вернулся на волю,
 Но только вернулся другим —
 И легче беседовать полю
 С внимательным сердцем моим.



Какая ночь! Какая тишина!
Над спящею столицею луна
Торжественною радостью сияет.
Вдали звезда неясная мерцает
Зеленым, синим, розовым огнем.
И мы у темного окна, вдвоем,

В торжественном спокойствии
молчанья —
Как будто нет ни горя, ни войны,
Внимаем вечной песне
мирозданья,
Блаженству без конца обручены.



Сколько нежности прустинной
В безмятежной Савойе!
Реет вздох неискusstный
В тишине и покое.

Над полями, в сияньи
Тишины беспредельной,
Реет вздох неподдельный,
Как мечта о свиданьи.

Этой грусти без края
Я значенья не знаю,
Забываю название
В тишине и сияньи.

Реет легкая птица,
Синий воздух тревожит.
Если что-то свершится...
Но свершиться не может.

Что же, будем мириться
С тишиною и светом
Этой грусти бесцельной,
С этим летом и счастьем
Тишины беспредельной.

Владимир Марков

ГУРИЛЕВСКИЕ РОМАНСЫ

(отрывки)

Я люблю одну Россию —
Невозвратно дорогую;
И сейчас, под шорох липы
И жужжанье пчел прилежных
Вдруг и страстно захотелось
Погрустить о ней немного
Светлой, пушкинской печалью:
О давно поблекшем блеске, —
Локонах и бакенбардах,
Кружевах и медальонах;
О каретах, клавишинах,
С колоннадами усадьбах,
Где овальные портреты
Над столом из рам узорных

Смотрят пристально, пылливо,
И никак не разгадаешь,
В них усмешка или серьезность;
Где в столе, в резной шкатулке,
Сплошь источенной червями —
Связка пожелтелых писем,
Перевязанная лентой
(И округлый женский почерк,
Словно капли слез горячих).
Там где памяти границы
Расплылись, мечты коснулись,
Знаю я одну такую
Позабывтую усадьбу.
В каждой комнате там был я,

Пальцем проводил по пыли,
Покрывающей портьеры,
Переплеты книг и спинки
Распатавщихся диванов.
А когда она входила,
В венских локонах и бантах
(И Наталью Гончарову
Чем-то чуть напоминая),
Я следил, как плечи пылили,
Как шуршащие воланы
Задевали за предметы.
Иногда она садилась
К дедовскому клавишину:
Нот раскрытая страница,
Лебединый выпиб кисти,
Приглушенное звучанье.
А когда она вставала
И захлопывала крышку,

Я по вьющимся дорожкам
Уходил в дремучесть сада,
Где — пруды, — и гладь немая
Заросли зеленой ряской,
Где в аллеях даже в солнце
Скорбно, счастливо и сыро,
Где густые липы дремлют
И лучей не пропускают.
Но когда случайный ветер
Пробежит по листьям липы,
С черешков по веткам-сучьям
До ствола волной проникнет, —
Все что называют важным
Сразу позабудь и слушай:
Липы сами все расскажут,
А тебе лишь остается,
Записную книжку вынув,
Поспевать за их рассказом.

В этой комнате на стенках
Светотени от лампадки,

И в окно стучатся липы.
Стулья, важно подбоченясь,
Темнотою недовольны.
Свечку только что задули,
И она, ко сну готовясь,
Остывает и твердеет.
И роман французский дремлет;
В нем сафьянная закладка,
У очередной страницы
На ночлег остановившись,
Тихо с буквами болтает.
Только зеркало ни разу
Ночью глаз сомкнуть не сможет,

Отражая терпеливо
Каждый угол, каждый лучик.
На столе окушают перья
И молчат всю ночь шкапулки;
В тех шкапулках много писем,
Тихих, теплых, спрогих, светлых.

Я б хотел начать поэму
О столе из этой спальни:
Что он думает, какие
У него друзья и сколько
Разных терщин и царапин
На его дубовой ножке.
И о трещинах подробно;
Об одной, о самой главной,
Что прилегающей тонкой змейкой
Вдоль сухих волокон вьется,
Как река на пестрой карге.

А под тонким одеялом
Тело как бы потерялось,
Лишь лицо, уставясь в угол,
Смотрит остро, напряженно
На икону золотую
С потемневшим ликом Девы...

Дверь на крюк! Но тебе не заклаять свой испуг
Конурю, как норы понурой:
Он порочен твой круг, твой магический круг
Нереальный своей квадратурой.

За окном, где метель на хвосте, как змея,
Вьется кольцами в облаке пыли,
Возвращается ветер на круги своя
И с решетками автомобилей.

Горизонт, опоясавший город вокруг,
Застывает стеною сплошною.
Где-то на море тонет спасательный круг,
Пропитавшийся горькой водою.

А вдали, где полгода (или более) мрак,
Где слова, как медведи косматы:
Воркута, Магадан, Кольма, Ухтпечлаг...
Как терновый венец или Каина знак —
Круг полярный, последний, девятый.



Он снова входит в парк. Давным-давно
Здесь был бассейн. Припомнилось опять,
Как у бассейна... Впрочем, все равно:
Он учится бывшее забывать.

И все ж туда из темноты аллея
Выходит он на ветер сентября.
Над водоемом светит Водолей,
А по бокам — два желтых фонаря,

Которые, расталкивая тьму,
Твердят о том, что высох водоем
И что не стоит больше одному
Скитаться там, где хожено вдвоем.

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ

По-осеннему воздух чист.
Пала изморозь и не тает.
Обрывается желтый лист,
Обрывается и слетает.

И не может понять он вдруг,
Не в бреду ли ему приснилось:
Почему это все вокруг
Покачнулось и закружилось?

Кувьркаются облака,
Опрокинулось поднебесье.
И такая во всем тоска
Об утраченном равновесье.

Вл. Набоков-Сирин

В РАЮ

Моя душа,— за смертью дальней
твой образ виден мне вот так:
натуралист провинциальный,
в раю потерянный чуждак.

соображая, как сначала
о нем напишешь ты статью,
потом... Но только нет журнала
и нет читателей в раю.

Там в роще дремлет ангел дикий,—
полупавлинье существо...
Ты любознательно потыкай
зеленым зонтиком в него,

И ты стоишь, еще не веря
немому горю своему...
Об этом синем, сонном звере
кому расскажешь ты, кому?

Где мир и названные розы,
музей и птичьи чучела?
И смотришь, смотришь ты сквозь слезы
на безмянные крыла...

*

Я помню твой приход: растущий звон,
волнение, неведомое миру.
Луна сквозь ветки тронула балкон,
и пала тень, похожая на лиру.

Теперь не то. Для утренней звезды
Не откажусь от утренней дремоты.
Мне не под силу многие труды,
особенно — тщеславия заботы.

Мне, юному, для неги плеч твоих
казался ямб одеждой слишком грубой.
Но был певуч неправильный мой стих
и улыбался рифмой красногубой.

Я опытен, я скуп и нетерпим.
Натертый стих блистает пуще меди.
Мы изредка с тобою говорим
через забор, как старые соседи.

Я счастлив был. Над гаснувшим столбом
огонь дрожал, вылушивал огарок;
и снилось мне: страница
под стеклом,
бессмертная, вся в молниях помарок.

Да, зрелость живописна, спору нет:
лист виноградный, пружа, пол-арбуза
и — мастерства предел — прозрачный
свет.
Мне холодно. Ведь это осень, муза!

*

Мы с тобою так верили в связь бытия,
но теперь одианулся я — и удивительно,
до чего ты мне кажешься, юность моя,
по цветам не моей, по чертам недействительной!

Если вдуматься, это — как дымка волны
между мной и тобой, между мелью и тонущим;
или вижу столбы и тебя со спины,
как ты прямо в закат на своем полутонущем.

Ты давно уж не я, ты набросок, герой
всякой первой главы — а как долго нам верилось
в непрерывность пути от ложбины сырой
до натарного вереска.

ПОЭТЫ

Из комнаты в сени свеча переходит
и гаснет. Плывет отпечаток в глазах,
пока очертаний своих не находит
беззвездная ночь в темно-синих ветвях.

Пора, мы уходим — еще молодые,
со списком еще не прииснившихся снов,
с последним, чуть зримым сияньем России
на фосфорных рифмах последних стихов.

А мы ведь, поди, вдохновение знали,
нам жить бы, казалось, и книгам расти,
но музы безродные нас докончили,
и ныне пора нам из мира уйти.

И не потому, что боимся обидеть
своею свободою добрых людей.
Нам просто пора, да и лучше не видеть
всего, что сокрыто от прочих очей:

не видеть всей муки и прелести мира,
окна в отдаленны поймавшего луч,
лунатиков смирных в солдатских мундирах,
высокого неба, внимательных туч;

красы, укорижны; детей малолетних,
играющих в прятки вокруг и внутри
уборной, кружащейся в сумерках летних
красы, укорижны вечерней зари;

всего, что томит, обвивается, ранит;
рыдания рекламы на том берегу,
текущих ее изумрудов в тумане,
всего, что сказать я уже не могу.

Сейчас переходим с порога мирского
в ту область... как хочешь ее назови:
пустыня ли, смерть, отрешенье от слова,
идь, может быть, проще: молчанье любви.

Молчанье далекой дороги тележной,
где в пене цветов колея не видна,
молчанье отчизны — любви безнадежной —
молчанье зарницы, молчанье зерна.

Борис Нарциссов

УГАР

Улеглись и уснули люди.
 На столе в потемках допел самовар.
 И тогда, почуяв, что не разбудит,
 Из печки тихонько вылез угар.

Нырлял и качался летучей мышью,
 По комнатам низко паря.
 Худыми руками, незрим и неслышим,
 Ощупывал бледный свет фонаря.

А когда услышал дыханье ребенка,
 Подполз с перекошенным лицом,
 И пальцы его, как нити тонкие,
 Сомкнулись на горле кольцом.

Так за ночь никого в живых не оставил,
 Ползал и нежился в печном тепле.
 И только будильник, как лунный дьявол,
 Крутым лицом сиял на столе.



В этом доме чертей плодили
 По чуланам и темным углам.
 По запечьям кикиморы выли
 Шевеля позабытый хлам.

А кикиморы любят, где жутко.
 А в потемках кикимора — вскачь.
 Тоже любит, свернувшись закруткой,
 Слушать в спальнях придушенный плач.

Ну, а этого в доме довольно:
 Сжатых губ и заплаканных глаз.
 Знай, что если кому-нибудь больно,
 То у пыльных под крышею пляс.

В этом доме сначала намучат,
 А потом утешают — «не плачь».
 А от этого нежить мяучит,
 А потом кувыркнется и — вскачь.

ПАУК

Горело электричество упорным,
 Сухим и мертвым светом над столом.
 Шел ровный дождь. Снаружи к стеклам черным
 Прилинула ночь заплаканным лицом.

ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЭТОВ

Ложжились вычисления рядами.
Блестели мирно капельки чернил.
И вдруг каким-то чувством над глазами
Я чье-то приближение ощутил.

Услышал шорох, быстрый и скрипучий;
Взглянул, и на обоях, над столом,
Увидел лапы острые паучины
Угластым, переломанным узлом.

Вчера он был. И вот сегодня снова.
Приполз и омерзительно застыл.
И ужас одиночества ночного
Колочей дрожью голову докрыл.

Убить его я не могу. Не смею.
Он знает это. В хищной тишине
Смотреть я должен, как сереют
Его кривые лапы на стене.

Александр Неймирок

РЕШЕТКА

Здесь всё просто, тихо, кротко.
Здесь, как Божьи времена.
Оснеженная решетка,
Черный глянec чутуна.

Серолапые платаны
Спят над розовым прудом.
Онемевшие фонтаны
Стерегут безлюдный дом.

Ты легко проходишь мимо,
Ты обходишь стороной
Этот мир неуловимый
За решеткою сквозной.

И чему-то улыбаясь,
Чей-то образ сохраняя,
Ты уходишь, растворяясь
В суете живого дня.

*

Через метели и через прозы
Я слышу, вижу сердцем и кровью,
Что кипарисы, а не березы
У каменного изголовья.

Что мшистый бархат по оград
Расцвел зеленым, немым цветеньем,
И что никто не станет рядом,
Не станет, преклонив колени.

Но непонятное пророча
(Быть может, радостный полдень рая?)
Псалтырь тебе читают ночи,
Росу холодную роняя.

СОЛНЦЕ

Ветру небесному сердце вручи.
 Прошлое — настужежь. Наотмашь ключи.
 Видишь: нам солнце зажглось в тишине,
 Солнце ночное во сне.

Грозные сумерки. Трепетный час.
 Солнце, как ястреб с размаху на нас.
 Губы и души. Пылающий бред.
 «Солнце!» И слов больше нет.

Юрий Одарченко

Стоят в аптеке два шара:
 Оранжевый и синий.
 Стоит на улице жара
 И люди в парусине.

Вхожу в аптеку и шары
 Конечно разбиваю,
 В участке нет такой жары,
 А цвет сейчас узнаю.

Горит оранжевый расцвет
 На синей пелерине.
 Отлично выспался поэт
 На каменной перине.



Мальчик катит по дорожке
 Легкое серсо.
 В беленьких чулочках ножки,
 Легкое серсо.
 Солнце сквозь листву густую
 Золотит песок,

И бросает тень большую
 Кто-то на песок.
 Мальчик смотрит улыбаясь:
 Ворон на суку,
 А под ним висит качаясь
 Кто-то на суку.

ПЛАКАТ

*Меж деревьев белый пароходик
 Колесом раскрашенным шумит.*

Борис Поплавский

Пароход, пароход, пароходик
 Красным лезвием режет плакат,
 Пассажиры по бортику вряд
 Опершись о перила стоят,
 Путешествию кто же не рад?
 Очень рад и стальной пароходик!

Ах как рад, ах как рад пароходик!
 Красный носик, а винт позади,
 От земли не легко отойти,
 Дыму сколько из труб, погляди:
 Дым кругом и вода впереди.
 Веселее плыви пароходик!

Это новый совсем пароходик:
В трюме нету всезнающих крыс,
Голубеет прозрачная высь,
Он далеко, далеко, взглядишь —
Вот и скрылся за радужный мыс.
Очень нравится мне пароходик.

Помолюсь за стальной пароходик.
Шепчет на ухо ангел: «не так
Ты молитву читаешь, чудак.
Повторяй потихоньку за мной:
Со святыми Господь упокой
Пароход, пароход, пароходик».

ЧИСТЫЙ СЕРДЦЕМ

По канату слоник идет —
Хобот кверху, топорищатся
уши.
По канату слоник вперед
Сквозь моря продвигается
к суше.

Вдруг в пучину сияющих вод,
Оступившись, скользнет
осторожный?
Продвигается слоник вперед,
Продолжая свой путь
невозможный.

Как такому тяжелому Бог
Позволяет ходить по канату?
Тумбы при вместо маленьких
ног,
А четвертая кажется пятой.

Если так, то подрежем канат,
Обманув справедливого Бога.
Бог почил, и архангелы спят...
«Ах, мой слоник!»... — туда и
дорога!

Все на небе так сладостно спит,
А за слоника кто же осудит?!
Только сердце твердит и твердит,
Что второе пришествие будет.

Ирина Одоевцева

Я все понимаю и слышу
Не хуже, чем кто другой:
Вот падает снег на крышу,
Бубенчик поет под дугой...

Мне лучше забыть совсем —
Глазастых собак и солдата,
И дочек — их было семь.

И мчались узкие санки
Вдоль царственно белой Невы...
... Потом я жила на Званке
В гнезде у вдовой совы.
О том, что было когда-то,

Ах, дочки мои — цветочки,
В сияющем райском саду
(... А вдруг оне тоже в аду?..)
Довольно! Дошла я до точки
В беспамятстве и бреду,
И дальше, нет — не пойду!

Пожалуйста, сердце не охай
И воздуха не проси —
Пойми, что не так уж и плохо
С тобой нам в Монморанси.



В окнах светится крест аптеки,
Цвет зеленый — надежды цвет.
Мой зеленый, пушистый плед.
Закрываю, как ставни, веки.
Может быть, это счастье навеки,
А совсем ни жар и ни бред.
Разбиваются чайки о снасти,

Разбиваются лодки о льды,
Разбиваются души о счастье...
Далеко до зеленой звезды,
Расцветают крестами сады...

Как мне душно...

Дайте воды!..



— За верность, за безумье тост!
За мщенье!.. Пенных кубков звон.
Какой сквозной, тревожный сон.
 Узорчатые рукава.
 «Дочь пекаря — сова».
 ... Слова, слова, слова...

Блещет мост, блестит погост,
О, вихри вздохов, волны слез!
Известно все заранее.

Средь звезд
И роз
 Апофеоз
 Непонимания.

Высокий королевский дом
В туманной Дании,
И королева с королем
И принц на первом плане.

 Прожать вином,
 Залить огнем,
Пронзить рапиры острием.
Ни хмеля, ни похмелья.
Цветы на память, на-потом,
Цветы на новоселie.

 Как тихо спит на дне речном
 В русалочьей постели,
Как сладко спит бесмертным сном
 Офэлия...

БЕССОННИЦА

Ледяная луна в ледяной высоте
Озаряет озябшие вязаы и клены.
И на снежной поляне четыре вороны,
Как чернильные пятна на белом листе.

Почему их четыре — не три и не пять?
Почему мне опять ничего не понять?
Почему все меня до смэшного тревожит
И ничто на земле успокоить не может?

Если б было ворон или пять или три —
Треугольник или пентагон,
Без затей и затрат
Преудобно улепся бы в сон.
Но четыре вороны — вороний квадрат
Нигде не уложится он.

В черной, душевной ночи не горят фонари.
 Далеко до луны. Далеко до зари.
 Невозможно уснуть и немислимо опять
 Оттого, что ворон-то четыре,
 А не три и не пять,

И кругами, крутами все шире и шире
 Налывает тоска обреченности.



В этот вечер парижский, взволнованно-синий,
 Чтобы встречи дожидаться и время убить,
 От витрины к витрине, в большом магазине
 Помодней, подешевле, побольше купить.

С неудачной любовью ... Другой не бывает —
 У красивых, жестоких и праздных, как ты.
 В зеркалах электрический свет расцветает
 Фантастически-нежно, как ночью цветы.

И зачем покупаешь ты шарфы и шляпки,
 Кружева и перчатки? Конечно, тебе
 Не помогут ничем эти модные тряпки
 В гениально-бессмысленной женской судьбе.

К. Померанцев

*Завидую тебе. Перед тобою дверь
 Распахнута в восторг развоплощенья.*

Георгий Иванов

Тысячелетья не было ответа,
 И задавать вопрос уже смешно ...
 Врывается бездомная ракета
 В открытое отчаяньем окно,
 И гаснет мир в лучах иного света.

Но если гибель миру суждена,
 Как суждено всем нам уничтоженье,
 Не все ль равно — война иль не война,
 Не все ль одно весна иль не весна
 Таит в себе восторг развоплощенья?



Я так скучно, так мелко старею,—
 Стал ворчлив, бестолков и болтлив.
 Были б деньги — махнул бы в Корю,
 В Абидхан или в Тананарив.

Потому что известно с пеленок:
 Хорошо только там, где нас нет.
 Это скажет нам каждый ребенок,
 Каждый русский и каждый поэт.

ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЭТОВ

Восхитительный вечер был полон улыбок и звуков,
Голубая луна проплывала высоко звуча,
В полутьме Ты ко мне протянула бессмертную руку,
Незабвенную руку, что сонно спадала с плеча.

Этот вечер был чудно тяжел и таинственно душен,
Отступая, заря оставляла огни в вышине,
И большие цветы, разлагаясь на грядках, как души,
Умирая, святились и тяжело дышали во сне.

Ты меня обвела восхитительно медленным взглядом
И заснула, откинувшись навзничь, вернулась во сны.
Видел я, как в таинственной позе любитесь адом
Путешественник ангел в измятом костюме весны.

И весна умерла и луна возвратилась на солнце,
Солнце встало; и темный румянец взошел.
Над запаженным парком святое сиянье пропало,
Мир воскрес и заплакал и розовым снегом отцвел.

ФЛАГИ

В летний день над белым тротуаром
Фонари висели из бумаги.
Трубный голос шамкал над бульваром,
На больших шестах мечтали флаги.

Им казалось море близко где-то,
И по ним волна жары бежала.
Воздух спал, не видя снов, как Лета.
Всех нас флагов осеняла жалость.

Им являлся остов корабельный,
Черный дым, что одлетает нежно,
И молитва над волной безбрежной
Корабельной музыки в сочельник.

Быстрый взлет на мачту в океане,
Шум салютов, крик матросов черных
И опромный спуск над якорями
В час паденья дела в ткани скорбной.

Первым блещет флаг над горизонтом
И под вспышки пушек бодро бьется
И последним стонет среди обломков
И еще крылом о воду бьется.

Как душа, что покидает тело,
Как любовь моя к Тебе. Ответь!
Сколько раз Ты в летний день хотела
Завернуться в флаг и умереть.

МОРЕЛЛА

Фонари отцветали и ночь на форте играла,
Привиденье рассвета уже появилось в кустах.
С неподвижной улыбкой Ты молча зарю озирала,
И она отражаясь синела на сжатых устах.

Утро маской медузы уже появилось над миром,
Где со светом боролись мечты соловьев в камыше.
Твой таинственный взгляд, провожая созвездие Лирь,
Соколиный, спокойный, не видел меня на земле.

Ты, орлиною лапой, разорванный жемчуг катала,
Ты как будто считала мои краткосрочные поды.
Почему я Тебя потерял? Ты как ночь мирозданьем играла.
Почему я упал и орла отпустил на свободу?

Ты, как черный орел, развевалась на желтых закатах,
Ты, как гордый, немой ореол, осеняла судьбу.
Ты вошла не спросясь и отдернула с зеркала скатерть
И увидела нежную девочку-вечность в гробу.

Ты, как нежная вечность, расправила черные перья,
Ты на желтых закатах влюбилась в сиянье отчизны,
О, Морелла, усни, как ужасны орлиные жизни,
Будь, как черные дети, забудь свою родину — Пари!

Ты, как маска медузы, на белое время смотрела,
Соловьи догорали и фабрики выли вдали,
Только утренний поезд пронесся, прустя, за пределы,
Там где мертвая вечность покинула чары земли.

О, Морелла, вернись, все когда-нибудь будет иначе,
Свет смеется над нами, закрой снеговые глаза.
Твой орленок страдает, Морелла, он плачет, он плачет,
И как краска ресниц, мироздание тает в слезах.



Снег идет над голой эспланадой;
Как деревьям холодно налим,
Им должно быть ничего не надо,
Только бы заснуть хотелось им.

Что же Ты, на улице, не дома,
Не за книгой, слабый человек?
Полтон странной снежною истомой
Смотришь без конца на первый снег.

Скоро вечер. День прошел бесследно.
Говорил; измучился; замолк,
Женщина в окне рукою бледной
Лампу ставит желтую на стол.

Все вокруг Тебе давно знакомо.
Ты простил, но Ты не в силах жить.
Скоро ли уже Ты будешь дома?
Скоро ли Ты перестанешь быть?

София Прегель

Купол церковки синий,
Кладбище на чужбине
В мокрых листьях берез.
Строго и домовито:
Елки чисто повиты
Мелким бисером слез.

На откосе пустынно
Догорает рябина.
День и робок и прост.
Эти кусты косые,
Это ли не России
Задремавший погост?

А для того, кто верил,
Жизни иной преддверье,
Встречи миг роковой.
Для неверивших — это
Сон в земле несоплетней,
Скучный сон без просвета
В тесноте пробовой.



Склонились ветлы унылые,
Словно припихили и ждут.
Утенка зеленокрылого
Убили утки в пруду.

Но едва заката полосы
Растопились в желтом огне
И под хлопанье крыльев жестких
Одинокий пруд побледнел —

Убили его по праву:
Злоба всегда права...
А как он за ними плывал,
Стараясь не отставать!

Еще трудно было поверить
И страшно мне разглядеть
С серебристым отливом перья
На потухшей зимней воде.



Как в романсе: разбито, доспито,
Никому не нужны, никому...
Мы давно кандидаты в госпиталь,
Сумасшедший дом и тюрьму.

И, вступая, басит контраalto,
Дрогнули свечки тлеющий прут.
Это лист бежит по асфальту
На худом осеннем ветру,

Это крышка хлопнула в зале,
И сорвалось верхнее ля —
Одиночество и так далее,
И зачем судьбу умолять!..

Вновь на поезд мы опоздали.

ЭТА АМЕРИКА

В небе курганы, курганы, курганы,
Горы тяжелого небытия,
А по земле золотой Мичигана
Стелется дымом отчизна моя.

Лут удивляется, нем и нескошен,
И колокольчики, нет им числа...
Вот муравей с непосильною ношей,
В сердце шиповника злая пчела.

Тычет теленок шершавую морду
Прямо в кустарник свирепо-густой.
«Эй, подвези-ка», — столетнему форду
Делаю знак на дороге пустой.

Едем равнинами, едем полями,
Перебежал нам дорогу русак.
И куропатка взвилась, как пламя.
Под удивительными парусами
Входим в предместий сухой
полумрак.

В город медовый и набожно чистый,
В липовом, голубоватом цуху.
Справа баптисты,
Внизу методисты,
Епископальный собор наверху.

Рельсы, разъезды, висячая будка,
Стены в мерцании маленьких роз,
И тишине подвывающий жутко,
Весь в огневых осветляках паровоз.

Едем лощинами, едем лесами,
Слышен издали нарастающий пром,
Бросились тени вдогонку за нами,
Под ослепительными парусами
Тучи лежат, как седой бурелом.

В чаше зеленого света сердитого
Дуб отражается полуслепой,
Эти пролеты глазами сосчитывай,
Эти ложбины рессорами пой.

Версты, весну, и ворон, и во тьме реку,
Эту дорогу колесами пей,
Эту Россию и эту Америку
В необозримом разгоне степей.

Анна Присманова

РУКА

Не разбираясь в бронзовом товаре,
я попытаюсь рассказать о нем:
о той руке, что стынет на бульваре —
на северном бульваре, на Страстном.

Бывает пясть из мрамора и меди,
из бронзы, не имеющей страстей...
Одна из них на дружеском обеде
была живой — из мяса и костей,

чтоб кровью напоенная здоровой,
зимой не застывать как истукан,
а трепетать на стане Гончаровой,
с приятелями поднимать стакан,

снимать нагар с мягкосердечной свечки
и, выпустив неверный пистолет,
упасть на белый снег у Черной речки...
но в бронзе встать для нас чрез много лет.

КУЗНЕЦ

Лишь кость чиновника сидит
над беспросветными листьями,
а кровь его в окно глядит
на осень с красными кустами.

Он гнет над знаками скелет,
без воли, без негодованья,
но кровь его — лелеет след
от прошлого существования.

Пусть куст — как пламень за стеклом,
как камень — долг, трудов чиновник...
С лоскутиновым своим крылом
похож на ворона чиновник.

Была чернильница пуста,
гусиные летали перья,
и возле зелени листа
гуляли дикость и доверье.

Там, с ярким жаром пред лицом,
он был в нездешнем освещении —
он был цыганским кузнецом
в предшествующем воплощении.

БАБУШКА

Изъяны предков достаются детям,
и внучка болью бабушки больна.
Любовью звали бабушку, и этим
моя судьба predetermined.

Как два пути с единым назначением,
живут во мне раздельно кровь и кость.
Стремится кровь к тебе своим теченьем,
но кость моя — тебе незванный гость.

О, бабушка, жила ты в желтом доме,
где рукава сходились на спине.
Остался желтый облик твой в альбоме,
а рукава — ты завещала мне.

Лишь только ночь подходит к изголовью,
два дерева меня на части рвут.
Быть может и меня зовут Любовью,
но я не знаю, как меня зовут.

ЛОШАДЬ

Мы ночью слышим голоса
и явно видим все что было.
К нам каждой ночью в три часа
приходит белая кобыла.

За ней цилиндры молока
качаются в пустых бульварах.
Луна взирает свысока,
не беспокоясь о товарах.

Не в силах ига превозмочь,
безвольно, но неутомимо,
живая лошадь, в три точь-в-точь,
как призрак проезжает мимо.

Фургон подобно кораблю
кольшется на двух колесах.
Не знаю, сплю я или не сплю —
я забываю о вопросах,

Ее железная стопа
покорно цокает о камень.
Она не спит, она слепа:
длаза ей выел некий пламень.

о всех запросах бытия,
о днях прядущих и прошедших...
Мне кажется тогда, что я
окопчусь в доме сумасшедших.

Георгий Раевский

Лежу в траве, раскинув руки,
В высоком небе облака
Плывут — и светлой жизни звуки
Доносятся издалека.

Вот бабочка в нарядном платье
Спешит взволнованно на бал,
И ветер легкие объятья
Раскрыл и нежную поймал.

Но вырвавшись с безмолвным смехом
Она взлетела к синеве,—
И только золотое эхо
Звенит в разбуженной листве.

Блаженный день, неомраченный
Ничем,— тебя запомню я,
Как чистый камень драгоценный
На спрогом фоне бытия.



Старичок-огородник не будет
По тропинке спускаться сюда,
Ранним утром меня не разбудит
Свистом чистым, как пенье дрозда,

Мирным стужком, знакомой вознею,
Шумом льющейся в лейку воды:
Он лежит глубоко под землею,
И могилы крутом и кресты.

Но цветы на его огороде
Раскрываются легкой семьей,
Теплый вечер меж прядками бродит,
Прилетает пчела за пчелой.

И подобно таинственной славе
С неба медленно льется заря
На кусты, на траву и на правый,
На забытой лопате горя.



В открытом поле, на тропинке,
Лежит тихонько мертвый крот
И солнце по мохнатой спинке
Потоком ласковым течет.

Спи, маленький! Как все земное
И ты прошел средь бытия
Своей бесхитростной стезею
И жизнь окончилась твоя.

Чем станешь ты? — Травой зеленой,
Иль повиликой полевой,—
И в летний день с плавучим звоном
Пчела возвьется над тобой.

И мягкий бархат шкурки темной
И тельце малое войдет
Все в тот же мощный и опромный,
Таинственный круговорот,

В ту сокровенную стихию,
В тот мудрый и высокий строй,
Откуда образы земные
Выходят чудной чередой.



Безлюдный сад за невысоким домом.
 На крыше, на деревьях, на дорожке,
 Далёко виден след крестообразный
 От птичьих ножек. Тишина и солнце.
 Вот что-то там, в кустах захлопотало,—
 И с ветки снег обрушился пушисто.
 И снова тишина. Там на скамейке,
 Задумавшийся юноша кудрявый
 В расстегнутом лицейском спортуке
 Сидит и смотрит. Крепкого мороза
 Не замечает он,— как будто в этой

Холодной бронзе медленно, упорно
 Такое сердце продолжает биться,
 Которого остановить не в силах
 Стремительного времени полет.
 О чем он так задумался глубоко?
 Вокруг него большая тишина.
 Холодный, чистый воздух.

На праниге

Нестертые видны слова и строки:
 «Друзья мои, прекрасен наш союз,
 Он, как душа, неразделим и вечен».



Как в этой жизни бедственной
и нищей
 Мы все живём угрюмо, не любя.
 О, если б знали мы, насколько чище,
 Насколько лучше мы самих себя!

Дитя смеется и его веселый
 И чистый голос обличает нас:
 За косный дух, упрямый и тяжелый,
 За жесткие морщины возле глаз,

За жалкое, безрадостное знание
 О том, что всё проходит, как трава...
 Нам всем даны прямые обещаньям
 Простые и великие слова

О чистых сердцем, милостивых,
кропких,—
 Нам, никому другому: мне, тебе...
 Зачем же эти несколько коротких,
 Поспешных лет проводим мы в борьбе,

В недоброй суете, в ожесточении,
 Мы земнородные, чьи голоса
 Могли б вмешаться в ангельское пенье,—
 И только оскорбляют небеса?

Сергей Рафальский

ВЕРСАЛЬ

Над Версалем зеленеет небо —
 осень...
 Как всегда —
я здесь прошедшим пьян...
 Как всегда —
искушая на откосе
 мраморная Геба
 свой фиал с амброзией подносит
 жвачным толпам праздничных мещан.
 О, Европа!
 Нежная царевна,
 что ломала бровки мукой гневной,

покоряясь дерзкому Быку,
 а потом божественным наследьем —
 в пляске муз и в боевой крови —
 показала всем земным соседям,
 что достойна Зевсовой любви...
 А теперь —
дебетотеля,
 сытая, умелая
 (и всегда с клиентом начеку)
 седину замазав рыжим цветом,
 в лаковых копытцах ковыляя,
 в парке предков празднично гуляешь,

Под собою не чуешь ты ног,
Как на крыльях, несет тебя радость.
Много ль надо? Хлеба кусок,
И вода и чудесная сладость,—

Сладость жить. Чудесного ждать
В каждом взоре и каждой песне.
Ничего не искать и не брать,
Только верить, что будет чудесней!

МЕФИСТОФЕЛЬ

Как ребенок из кубиков лесенку
Воздвигает в дворец своих снов,
— Старый неприспел английский песенку
Из наивных и дерзких слов.

Обещал он поля елисейские
Всем, кто чтит королевский закон:
«Сапоги ты получишь гвардейские
И машину чудес — граммофон».

Мне не надо сапог удивительных,
Мне не надо поющих труб.
И в раю твоём соблазнительном
Не ищу я румяных губ.

Знаю я: неприятянского кожею
Ты оделся на этот раз,
Мефистофель! Но новой одежею
Не укроешь горящих глаз.

“You remember”. И адской улыбкою
Искавился рта уголок.
Хочешь душу серебряной рыбкою
Зацепить на ржавый крючок?

И опять, хоть пламя потушено,
Шевелится пепел тоски:
Неужели миры разрушены
Мановеньем черной руки?



Черный ворон спел мне песню
О прекрасном райском саде.
В том саду, как бархат небо,
Бархат черный.
В том саду, как очи звезды —
Речь без звука.
В том саду деревья стройны —

Тополь белый.
У корней, как привиденья,
Реки обернулись.
В том саду росла осина,—
Не дрожали листья;
На осине сидя, ворон
Песнь свою пропел мне.

Владимир Смоленский

МОСТ

Под аркою железного небес
На пристани, где свален мертвый лес,
Под аркою воздушного моста —
Без имени, без счастья, без креста,

От света леденящего луны.
Утонувших в леплой сырости камней,
Граничной стеной защищены
Они похожи на больных зверей,

В высоких берегах течет река,
Спрямительна, мутна и глубока,
Вот, поднимаясь, затливает мост,
Доплескивает пеною до звезд.

По мутным волнам в небо уходя,
Качается прагматичная ладья,
Несет волна, взбегая на волну,
Бродяг и проституток в вышину.

В глубоких нишах спят, — к спине спина,
Им снится много мяса и вина,
Веселый праздник — лунный диск
дрожит,
Пластинкой грамофонною кружит.

За стойкой улыбается патрон,
Горячий кофе наливает он,
В высоких залах, в райской тишине,
Тепло на белоснежной простыне.

Течет река в небесные сады,
Покамест Ангел утренней звезды,
Чтоб душам в небесах не утонуть,
Большим крылом не перережет путь.

Над миром поднимается рассвет,
На темных лицах презжит влажный след,
В пустое небо поднимая пыль,
Промчался по мосту автомобиль.



Ты помнишь счастье, что живое билось,
Как пойманная ласточка в руках,
Ты помнишь — море звездами
светилось,
И звезды отражались в небесах.

Ты помнишь мир огнем и чудом полный,
Как, содрогаясь, отрывался он

От берегов и плыл в лучах, как сон,
Тонул в волнах и вновь всплывал
на волны.

Ты помнишь ли, как мы с тобою шли,
Не видя смерти и не зная страха,
Уже почти не задевая праха,
По самой грани неба и земли.

Ты помнишь ли? Иль ты уже забыла,
Как я тебя любил, как ты меня любила.



Никогда я так жалок не был,
Так бессилен, смешон и нелеп.
Мне снилось черное небо,
Мне снилось, что я ослеп.

О, тяжесть слепой печали,
Память земного дня,
Невидимые — кричали,
Бежали мимо меня.

О, страшная смерть без тленья,
Ненасытный червь темноты...
Я к Богу взывал о спасении —
Но мне отвечала ты.

Чем долос был глуше и тише,
Тем явственней был ответ:
«Милый, я слышу, слышу,
Милый, спасенья нет!»



Над Черным морем, над белым Крымом,
Летела слава России дымом.

Над голубыми полями клевера,
Летели горе и гибель с севера.

Летели русские пули прагом,
Убили друга со мною рядом,

И Ангел плакал над мертвым ангелом...
— Мы уходили за море с Врангелем.



Твой взор равнодушный и узкий,
И зоркий в своем полусне,
И счастье калмыцкое в русской
Несчастной и дикой стране.

Соленые ветры, ненастье,
Степная, безмолвная тишь...
Любовь, что ты помнишь о счастье?
Звезда, для кого ты горишь?

Таисии Смоленской

Оттого, что я тебя люблю,
Ласточку веселую мою,

Оттого, что я люблю тебя,
Попибая и тебя губа,

Мой чудесный золотой цветок,
Мой, в аду не тающий, ледок,

Там, на запредельных высотах,
В недоступно близких небесах,

Мой глубокий вздох, мой легкий стон,
Мой прекрасный, мой предсмертный сон.

Благостна, печальна и светла
Божия улыбка расцвела.

Юрий Софиев

Что же я тебе отвечу, милый?
Скучно по традиции соврать?
В этот день холодный и унылый
Я пойду соседа провожать.

Жил да был сапожник в нашем доме.
Молотком по коже колотил,
За работой пел, за стойкой пил.
Жил и жил себе. Вдруг взял, да помер.

Омывают женщины его.
Заколотят проб. Спнлет покойник.
Милый мой, оставь меня в покое —
Больше я не знаю ничего.



Как трудно жить с растерянным сознанием,
Как трудно жить без настоящих дел.
Должно быть одиночества удел
Судьбой дарован нам, как испытанье.

Мы изменить не в силах ничего,
Мы ходим на работу и на службу.
А наша утешительная дружба
Не утешает ровно никого.

Расходятся с кем было по пути.
И с каждым днем, и с каждым новым годом
Нам нашу вынужденную свободу
Все безотрадней и трудней нести.



1

Этот день был солнечен и ярок.
Помнишь, колосилось поле ржи.
Как судьбы нечаянный подарок —
Этот день у солнечной межи.

Были слышны нам на расстоянии
Детский смех и крики на реке.
Здесь же — близкое твоё дыхание,
Здесь же теплая рука в руке.

Девичьею легкою походкой
К перевозу шла ты напрямик.
Летким золотом дрожал у лодки
Солнечный, живой, порячий блик.

Сели, и плечо откинув за борт,
Руку повела ты бороздой,
И сказала, улыбнувшись слабо:
«Что же делать, мне пора домой».

2

Тот городок в апреле поневоле
В сирени окончательно увяз.
Сияние твоих счастливых глаз,
Сиянье нестерпимое до боли.

Но как нам годы поравнять с тобой?
Твои и надвое помножить мало.
Я шел один. Бежал туман ночной
И утро беспощадное вставало.

3

Шумели сосны в эту ночь прощанья
И нашу встречу скрыл ночной покров.
Твоя рука в моей. Твое рыданье,
Глубокое рыдание без слов.

И в памяти моей — живой и вечной
Остались навсегда — тепло руки,
Отчаянно беспомощные плечи,
Барак и бранденбургские пески.

II. Ставров

РЕКА

Уже запутавшись в сетях,
Очередьми перебегая,
На запрокинутых огнях
Река плывет, как неживая.

Ей сквозь туман, как летний бред,
Ей, сквозь вуаль недоуменья,
На утро, в пять, чуть брезжит свет
Уже шептать про наводненья.

Ей просыпаться, скажем, в пять,
 Сквозь блеск и всхлип перемогаясь,
 Ей про ненастье бормотать,
 Свинцовым холодом вздуваясь.

Ей, спотыкаясь о мосты,
 Под плеск ночных недоумений
 Переворачивать листы
 Несовершенных преступлений.

На черных сваях, наспех, вплавь,
 Без оправданий, без допросов,
 Пока путаящая явь
 Не встанет призраком белесым.



Все на местах. И ничего не надо.
 Дождя недавнего прохлады,
 Немного стен, немного сада...

Но дрогнет сонная струна
 В затишьи обморочно-сонном,
 Но дрогнет, поплывет — в остром,
 Неутолдимо и бездонном...

И хоть бы раз в минуту ту
 Раскрыв глаза, хватая пустоту,
 Не позабыть, не растеряться,
 Остановить,
 И говорить, и задышаться...



Как дымок, расплывается прочь
 Синекрытая, легкая ночь,
 Если звезды мерцают светлей,
 Если ветер сорвется с полей
 И вздувается синью река
 И прозрачней, чем звезды,
 тоска...

Но смешней декорации нет,—
 В скуцноватый, печальный рассвет
 Суматошный врывается свист
 И кружится отчетливой лист.

Семенит, просыпаясь врасплох,
 Пароходик, смешной скоморох,

И мотор на реке

та-та-та...
 та-та-та...

Пустота, пустота...

Глеб Струве

Я в гору шел. Закатом рдели,
Желтели, лиловели небеса.
— О, жизнь без смысла и без цели!
О, времени губящая коса!

Как стражи страшные, деревья
Хранили сон отверженной земли.
— О, мир, забытый Богом в гневе!
Корабль, застывший грузно на мели!

Закат погас, и мглой свинцовой
Ночь навалилась на уснувший мир.
— О, дуновение тьмы суровой!
Последней смерти невозбранный пир!



Полусон, полуявь. Легкой стаей
С губ твоих долетают слова
И баюкают, и усыпляют,
И кружится слегка голова —
От вина, от любви, от чего-то,
Я не знаю и сам, почему,
Но я знаю, подходит дремота,
И во сне я, быть может, пойму.

Ведь во сне будет все очень просто:
Надо мной прозвенит стрекоза,
Я увижу мохнатые звезды —
То не звезды, должно быть глаза,
И соленые, терпкие губы
Прикоснутся так нежно ко мне,
Чей-то голос, как ангелов трубы,
Пропоеет о далекой весне...

Полусвет, полусумрак. За пиргорой
Спит притихший, таинственный сад,
А под ним прихотливым узором
Разноцветные звезды горят.



Журчит ручей, с камней сбегая,
Суля отдохновение сна.
Однообразная, ночная
Висит над миром тишина.

Фонарь на одинокой башне —
Как чей-то сонный желтый глаз.
С неутомимостью всегдашней
Ручей лепечет свой рассказ.

И, околдован, убаюкан
Ночною музыкой ручья,
Своих шагов не слыша стука,
Я думаю: какой порукой,
Каким веселым колдовством
Судьба связала нас узлом?
Твоя, моя ли, или чья?
И шепчет мне ручей:
«Ничья».

В сухом яйце постукивает что-то...
«Кто в нем живет?» — спрошу я чуть дыша,
И няня скажет: «Гришкина душа!»,
И вновь яйцо положит у кювета.



Раскроешь Пушкина, читаешь с умилением:
«Редает облаков летучая гряда»...
И вдруг оглянешься с тоской, с недоумением,—
Да было ль это? Было ли когда?

Да, было! Вон она — на дне гнилой пучины
Былая красота погребена,
А на поверхности — узоры смрадной лины
Да пузырьки, взлетевшие со дна.

ОСЕННИЕ КРАСКИ

Уныло сплался луг бескрасочным ковром,
Понурясь лес стоял, безжизненный и бурый,
Душил красу земли, гасил цвета кругом
Сын октября — туман, слепой, холодный, хмурый.

Но солнца яркий луч, — как золотистый жук,
Прорвавший таупин натянутые сети, —
Пронзил тумана муть, взглянул на лес и лут,
И вспыхнули они в живом горячем свете.

Все — золото, парча, багрянец и янтарь,
И капельки дождя — как камни дорогие!
Осенней ризы блеск! Так одевались встарь
В торжественные дни владыки Византии.

Екатерина Таубер

Остановка в пути. Тишина.
Или поезд наш в поле забыли?
Или снова отсрочка дана?
О, как много мучительных «или»!

По откосам ромашки цветут.
Много лиц, как когда-то в ковчеге...
Может быть, уделим мы тут,
И колеса крестьянской телеги

Повезут по зеленой меже
На окраину пнева и мести,
Если только не поздно уже
И не ждет за околицей вестник.



Лишь сосны молодости нашей
Под южным небом все шумят.
Голодный ветер море пашет
И чайки за кормой летят.

Все вечное не изменилось,—
А мы проходим и пройдем.
Одно мгновенье что-то снилось
И сердце падало и билось,
И пело только о своем.



Жужжат шмели над веткою вишневой,
Вернулся соловей на старые места,
И кошка дряхлая своим котенком
новым,
Как первенцем желанным, занята.

Смоковница согбенная оделась
Пыльцой зеленым и в давно сухой,
Заброшенный колодезь загляделась
С весенней мукой, нежностью,
тоской.

Все помнят корни о подземной влаге,
О звонких ведрах, юных голосах,
Перекликавшихся, как соловьи в овраге,
Пока любовь стояла на часах.



Былое — вырубленный сад,
Где пни, обрубки и мотылы.
И все мучительней разлад
Меж тем, что есть и тем, что было

Каких пришельцев карандаш
По милой проходил странице?
Вот этот завиток — «не наш».
Вовек с ним сердцу не сродниться!

И уцелевших не узнать
И встречи, словно расставанья...
Возьмешь знакомую тетрадь —
Чьи тут пометки, восклицанья?

Когда же все-таки найдешь
Черту непронутую, слово —
С какой к ним каждой припадешь
Вернуться к прежнему готова.

Юрий Трубецкой

Над бедной землею так ясно,
Морозно и звездно-светло,
Что смотришь уже безучастно
На вечно гнетущее зло.

И даже вот эта поляна
Покрытая бурой травой,
И музыка из ресторана
Мне кажутся жизнью иной.

И кажутся вестью нездешней
Слова, что известны давно.
И вот на земле этой прешной
Все радостью озарено.



Когда-нибудь увижу наяву,
То, что во сне так часто, часто вижу —
Пахучий ветер ляжет на траву
И все вокруг нежнее будет, ближе.

Но вряд ли... Может быть осенним днем
Пройдут вагоны мимо, с тихим шумом,
Уедет кто-то, может быть, о ком
Всю жизнь продумал неотвязной думой.

Когда-нибудь...

Предприозье. Облака.

В саду тюльпаны ветер обрывает
И, равнодушно, времени река
Мечты мелькнувшие смывает.



Не разберу... Мне просто все равно.
О чем? О нужном? Или самом главном?
Ведь для меня давно все решено,
Давно уж решено. А может быть
недавно?

Что боль чужая, ужас и восторг,
Раз не мои...

Уже весною вьет
Безлюдных улиц утренний простор
И это небо нежно розовеет.



Темный город. Темный отблеск счастья...
Как — увы! — безжалостна судьба!
Дождь ночной назоилливей и чаще,
Дверь скрипит, как старая арба.

Как арба,— кавказские мотивы.
Так слова, цепляясь, все текут.
Пусть без смысла. Звуков переливы
Прозвонят, взволнуют и уйдут.



Чем я живу? Какая пустота!
И даже днем так дремлетесь и спитесь.
Как надоела эта суета
И книг однообразные страницы.

Встаёт весна, бледна и холодна.
Пылит шоссе и небо розовеет.
А эта жизнь, что свыше мне дана,
Как этот день бессмысленно тускнеет.

Николай Тuroверов

ГУРДА

Гурда, по-чеченски: держись.

1

На клинке блестящем у эфеса
 Полумесяц тонкий и звезда.
 Нет на свете лучшего отвеса,
 Чем отвес твой, драгоценная гурда.
 В мире нет тебе подобной стали:
 Невесомой, гибкой и сухой;
 За тебя мюриды умирали,
 Чтобы только обладать тобой.
 Ты в руке испытанной у бека
 Без зазубрин разрубала гвоздь,
 Разсекала: смаху человека
 От плеча до паха наискось.
 Говорят,— и повторяют это,—
 Что тебя, с заклатьем на устах,
 Выковал по просьбе Мапомета
 В поднебесной кузнице Аллах.
 Для твоей неукротимой славы
 Украшенья были не нужны:
 Костяная рукоятка без оправы,
 В темной коже — легкие ножны.

2

Месть за сына, за отца, за брата,
 За семью поруганную — мечь!
 Нет войны священной газавата,
 Но враги безжалостнее — есть.
 Над имамом флаг зеленый реет,
 Весь Кавказ привстал на стремени;
 Над Баклановым по ветру веет
 Черный с черепами флаг.
 Рассыпались всадники по полю,
 С каждым смерть скакала на-обочь;
 На чеченскую седую волю
 Опускалась северная ночь;
 Над страницами раскрытого Корана
 Оседала поднятая пыль;
 Казаки в аулах Дагестана,

3

На Гунибе — сдавшийся Шамиль.
 Стала ты подругой у шайтана,
 Породилась с заколдованной рукой:
 Чёрт Петрович генерал Бакланов
 Самовластно завладел тобой.

Чёрт не спит. Ему давно не спится.
 Скучно в Петербурге одному.
 Старый чёрт из Гутнинской станицы
 Был роднею деду моему.
 И ему, предчувствуя кончину,
 Он тебя на память передал.
 В Петербурге умер от кручины
 Сосланный казачий генерал.
 Дед носил тебя, ценить умея,—
 И уча потом носить меня,—
 На кавказской узкой порупее
 Из простого сыромятного ремня.

4

Ты одна со мною разделила
 Юность бесшабашную мою,
 Ты меня настойчиво учила
 Нужному спокойствию в бою.
 За тобой — баклановская слава,
 А за мной — двадцатилетний пыл.
 Подхватила нас казачья лава,
 Сумасшедший ветер закружил.
 Что тогда мне снилось и казалось?
 Сколько раз рубил я сторяча
 Смерть свою, которая касалась
 Ненароком моего плеча.
 Помнишь вьюжный день на Перекопе?
 Мертвый конь, разбитые ножны...
 Много лет живя с тобой в Европе,
 Ничего забыть мы не должны.

Лидия Червинская

Только с Вами. Только
 шёпотом,
В удивленной тишине,
Поделюсь неполным опытом,
Памятным, понятным мне...

Пордъм опытом бездомности,
Стыдным опытом любви,
Восхищенною нескромностью
И смирением в крови.—

— Из светлеющей опромяности
Лета в городе пустом,
Две дороги: в смерть и в дом.

Холодно. Тоска безднная
Вновь протягивает руку
Под октябрьским, под дождем ...
А цыганское, рассветное
Предвещает ту разлуку,
Для которой все живем.



Хочется болоховской, щедрой напевности
(Тоже рожденной тоской),
Да, и любви, и разлуки, и ревности,
Слез, от которых плакой.

Хочется верности, денег, величия,
 Попросту — жизни самой.
 От неприютности, от безразличия
 Тянет в чужую Россию — домой...

Лучше? Не знаю. Но будет иначе —
Многим беднее, многим богаче,

И холоднее зимой.



Осень — не осень. Весна — не весна.
 Попросту полдень зимой...
 Как Вы проснулись от позднего сна,
 Друг непрощающий мой?

Трезвая совесть. И нет сожаленья.
Вам не понять моего удивленья.

Мне незаконность дается не даром.
В жизни моей, ни на что не похожей,
Только свобода и боль.

Можно гулять по прозрачным бульварам,
Где покупает газету прохожий
(В Англии умер король).

Можно, конечно, вернуться домой...
Друг непростительный мой.



Все помню — без воспоминаний,
И в этом счастье пустоты,
Март осторожный, грустный, ранний,
Меня поддерживаешь ты.

Я не люблю. Но отчего же
Так бьется сердце, не любя?
Читаю тихо, про себя:

«Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется...»

Едва ли,
Едва ли лучше, до — печали,
До — гордости, до — униженья,
До — нелюбви к своим слезам...
До — покаянья, до — прощенья,
До — верности, Онегин, Вам.

А. С. Б.

Когда-то были мы — и бедняки
(о них писали скучные поэты).
Мы — и больные. Мы — и старики,
любившие давать советы.

Когда-то были воля — и тюрьма:
мы, жившие по праву на свободе —
преступники, сидевшие в тюрьме.
Когда-то были лето — и зима...

Смешалось все давным-давно
в природе,
сместилось в жизни, спуталось в уме.
Не разобрать кто молод, кто богат,
кто перед кем и кто в чем виноват,
и вообще, что значит *преступление*?

Когда-то были родина, семья,
враги (или союзники), друзья...

Теперь остались только ты и я —
но у тебя и в этом есть сомнение.

*

Кто же из нас не писал завещания
(несколько слов в наизданье другим),
кто не обдумывал сцены прощания
с жизнью немилую... с ней — или с ним?

Все оказалось пораздо банальнее,
не романтический выдался век.
Не отправляется в плаванье дальнее,
не умирает легко человек.

Годы идут, забываем войну.
Старость подходит, а хочется жить —
пусть безнадежно, но только любить...

Или уехать в чужую страну,
слышать вокруг незнакомый язык.
Счастье, удача — всегда впереди,
к переселению — кто не привык...

Но почему замирает в пруду
сердце?

Как будто бы ночью
пасхальной
в церкви холодный подул ветерок...
Дрогнули и вспыхнуло вспыхнули
прощальной
тонкой свечи огонек.

Игорь Чиннов

Порой, читая вслух парижским крышам
Его стихи таинственно-простые,
В печали, ночью, в дождь — мы видим,
слышим
(В деревне, ночью, осенью, в России):

Живой, знакомый нам, при свечке
сальной
Свои стихи нетромя он читает,
И каждый стих, веселый и печальный,
Нас так печалит, словно утешает.

И кажется — из царскосельской урны
Прозрачная, хрустально-ключевая
Течет струя свободно и небурно,
Курчавый облик ясно отражая.

И полной прудью мы прустим, — но
счастьем,
Как вдохновеньем, безотчетно мудрым
Наполнен мир, и стоит жить и, настежь
Открыв окно, дышать парижским
утром.



Вот, опять вдали кряхтенье
Жабы. Жабе не до сна.
Верно, в прежнем воплощены
Соловьем была она.

Вот, кряхтит в ночном просторе.
Непонятна речь ее.
Иль выплакивает горе,
Горе личное свое?

Иль про горе мировое
Наше общее твердит?
Иль о счастье быть живого,
Как умеет, говорит?

Иль, быть может, словно лебедь,
Плачет, покидая свет?
Или бредит (как не бредить?)
Тем, чего на свете нет?



О Воркуте, о Венгрии (— о чем?),
О Дахау и Хирошиме...
Да, надо бы — как опенным мечом,
Стихами прозными, большими.

Ты думаешь о рифмах —
пустынях —
Ты душу изливаешь — вкратце,
Но на двадцатый век тебе в стихах
Не удастся отозваться.

И если отзовешься — лишний труд.
Не будет отзвука на звук.
Стихи, стихи — их даже не прочтут.
Так пар уходит в зимний воздух.

И все-таки — хотя десятком строк,
Словами нужными, живыми...
Ты помнишь, есть у Пушкина
«Пророк»:
О шестикрылом серафиме.



Упрямая тень
Становится отблеском света.
Меж тенью и отблеском
Сходство почувствовал ты?

В тяжелых дровах
Таилось легчайшее пламя.
Быть может и правда,
Что в теле таится душа.

Быть может, и жизнь
Прозрачным бессмертием станет
(И утопль алмазом,
И капля смолы янтарем).

Недаром печаль
В стихах превращается в счастье,
Над черной землею
Распускается белый цветок.

ГОЛОСА

— Я все еще помню Балтийское море,
Последние дни перед вечной потерей.
— И кружатся звуки, прозрачная
стая,
Прощаясь, печалась, печально играя.

— Мы берегом светлым вдвоем
проходили,
Вода на песке становилась сияньем.
— И ясные волны к ногам подбегали,
Прощаясь холодным, прозрачным
касанием.



Мы уходя большой костер разложим
Из писем, фотографий, дневника.
Пусть горят...
Пусть станет сад похожим
На крематориум издадека.



Не верю, чтобы не было следа.
Коль не в душе, так хоть в бумажном
хламе,
От нежности (как мы клялись тогда!),
От чуда, совершившегося с нами.

Есть жест, который каждому знаком —
Когда спешишь скорей закрыть альбом,
Или хотя бы пропустить страницу...
Быть может также, что в споре твоём
Есть письма, адресованные в Ниццу.

И прежде чем ты бросишь их в огонь
И пламя схватит бисерные строки,
Коснется все же их твоя ладонь
И взгляд очей любимый и далекий.



... Наутро сад уже тонул в снегу.
Откроем окна — надо выйти дыму.
Зима, зима. Без прусты не могу
Я видеть снег, супробы, галок:
ЗИМУ.

Какая власть, чудовищная власть
Дана над нами каждому предмету —
Термометру лишь стоит в ночь упасть,
Улечься ветру, позже всгаль
 рассвету...

Как беззащитен в общем человек,
И как себя он не считая тратит...
— На мой не хватит или хватит век,
Падает он. Хоть знает, что не хватает.

СЕНТЯБРЬ

«Ты знаешь, у меня чахотка
И я давно ее лечу».

Р. ИВНЕВ

Первый чуть пожелтевший лист
(Еле желтый — не позолота),
Равнодушен и неречист
Тихо входит Сентябрь в ворота

И к далекой идет скамье...
Нежен шелест его походки.
Самый прустный во всей семье
В безнадежности и в чахотке.

Этот к вечеру лепкий жар,
Кашель ровный и суховатый...
Зажигаются как пожар
И сгорают вдали закаты.

Сырость, сумрак. Последний тлен
И последняя в сердце жалость...
Трудно книгу поднять с колен,
Чтоб уйти, такова усталость.

Перемена людей и мест
Не поможет. Напрасно бьешься.
Память — самый тяжелый крест...
Под кладбищенским — разогнешься.



У нас не спросят: вы прешили?
Нас спросят лишь: любили ль вы?
Не поднимая головы,
Мы скажем горько: — Да, увы,
Любили... как еще любили!..

Аглаида Шиманская

Борису Пастернаку

1

Твоя душа с моей сливается чудом,
Слова и слезы падали на лист,
А голос креп и звон летел отсюда,
Был свет земли печален и лучист.
Святая ночь над временем спустилась,
Шаги как ветер вольны и легки,

Земля и небо посылали милость,
Алмазами горели светляки...
Не знаю, наяву или в сновиденьи
Иду в толпе по снежному пути,
Чтобы с другими преклонить колени
И благодать до сердца донести.

2

Она на свет не поднимала очи,
В тени печаль от дерзких берегла
И слезы проливала дни и ночи
О том, что муке не осилить зла.
Лицо твоё сурово, Палестина,
Измена, кровь отмечены судьбой —

Молись и плачь, Мария Матфалина,
О камень бейся и шуми прибой.
Но час настал и ниц упала стража.
Разверзлось небо. Прозно и светло.
Любовь твоя сама тебе расскажет,
Каким сияньем сердце обожгло.



Окно мое на крышу,
Внизу — веселый бал.
Знакомый вальс я слышу —
Он в старину звучал

У Лариных, быть может,—
Татьяна, ты не спишь?
Для слез одно и то же
Москва или Париж.

Памяти поэтов В. и Ц.

Она и он... Они когда-то жили,
Где царство муз и моря синева —
И замолчали, и тлаза закрыли,
А ты, земля, бессовестно жива!

Весну в наряд венчальный
обрядила
И вся цветешь и снова влюблена,—
Не верю я, что благодатная сила
Такой жестокой красоте дана.

Не верю, что не будет искупленья,
Когда-нибудь покаешься и ты...
Они прощли — и не осталось тени
И даже не осталось пустоты.

Шумит стихия, налетают волны,
Взлетают волны взмахом черных
крыл,
Глядит моряк и крестится невольно:
Чернее цвета Бог не сотворил.

И не было страшней такого вала
И горче слез солёная вода —
С какой мукой Муза провожала
Того, кто не вернулся никогда.

Погас маяк и темный берег стынет,
Забыто все, прошло так много лет,
А море Черное волнуется донныне,
Что пролибающим спасенья нет.



Далеко, далеко, далеко —
Не найти тебя, не увидеть.
Разве жить без тебя легко —
Отказаться и ненавидеть!

Или ты изменила, Мать,
И богатство от бедных прячешь
И скупишься копейку дать —
Для того ль, чтобы стать богаче.

Сколько лет, сколько лет прошло,
Ты меня разлюбить успела,
А когда-то мне песни тела
И мое берегла тепло.

Народила других детей,
За борьбу — полюбила — смену...
Что страдание, что измена,
Если все для души твоей.



Куда-то мысли плыли с облаками
И плыл кораблик в кружеве волны.
Невидимыми нежными руками
Готовил краски Мастер для весны.

Но что весна и суетное лето?
Я чужда жду, мы чудом рождены.
Земля невестой напоказ одета,
Но все отдаст с покорностью жены.

Ее улыбка больше не прельщает,
С дыханьем праха ландыши слились,
И Лермонтова тучка золотая
Давно погасла, улетая ввысь.



Страшен ты, братец, очень,
«Чёртов приб»,
Рыж, как рысь.
Не выйдет, не обморочить,—
Брысь!!

.

Хвойная просека-улица,
Влажная, топкая хрусть.
Кло это там маскируется?
Неужто — пруждь?

Ну, полезай в лукошко,
Соскучился в немцах, чай?
Дай-ка, подрежу ножиком:
Может, ты — молочай?

Ножик — он не обманет.
Верно, пруждь: сух и крут.
У нас бы тебя — в сметане,
Здесь — не берут...

Разный, брат, вкус человеку дан.
Вишь ты: и класть тебя некуда!

Георгий Эристов

СТАРОСВЕТСКИЕ ПОМЕЩИКИ

В пути у дрожжек лопнула рессора,
Из тучи брызнул дождь. Ударил пром.
К соседу б завернуть, тут за углом,
Да вспомнилась вдруг карточная ссора!

Но вымокнуть из-за пустого вздора!
А дождь сильнее... заволокло крутом.
Свернуть скорей!.. Вот показался дом
И слышен лай сердитого трезора.

Часок опустя, откушав крепкий чай,
За ломберным, как будто невзначай,
Приятелей ждет тетушка-старуха.

Скрипит мелок. Гудит хозяйский бас,
Трещит свеча. Труба вздыхает глухо...
Гость сердится и объявляет — пас!

МЮНХЕН

Я Вас люблю немецкие Афины,
Когда-то Тютчев жил здесь много лет,
Его посмертный передать привет
Готов я Вам, веселье долины.

Порою мне кусок священной глины,
Осколок мрамора, льют нежный свет —
Забывтой красоты в них скрыт завет,
И сердца расправляются морщины.

Закат зажжет над породом пожар.
Зеленый плещет и поет Изар.
На ратуше удары карильона.

Но кто отыщет пламенный Грааль?
Трепещет мир и не удержит стона —
Вонзилась в прудь безжалостная сталь!

РОЖДЕНИЕ ДУШИ

Недаром в юности болеем ростом
И сердце явственно в груди стучит,
Добыть нам кажется легко и просто
К счастливой жизни верные ключи.

Тугие мускулы ведут нас смело,
А наша кровь, что красное вино;
И так беспечно молодое тело —
О будущем не думает оно!

Прильнули губы жадно к полной чаше
И пьют, не отрываясь, пьют до дна...
Что может быть на этом свете краше
Весеннего и радостного сна?

Ирина Яссен

НЬЮ-ЙОРК

1

Безликий в шуме многоликом,
Безбожный в храме средь богов,
Сливаешь в гулком хоре крики
И вопль разрушенных миров.

Холодный в зареве пожаров,
Бездушный в схватке прозных сил,
Таишь ты в черноте кошмаров
Знаменья огненных стропил.

В твоей темнице замурован
Томится непокорный дух.
В твоих пределах он закован,
К его метаниям ты глух.

Но весь из дымного прагмита
Ты гордо к небу устремлен
И звездным пламенем повито
Сияние твоих колонн.

2

Какая власть соединила
Великолепье и размах.
Какое напряжение силы,
Победной воли и ума.

Взлетают вышки небоскребов
В разверзшиеся небеса.
В гранитной города утробе
Неисчислимы чудеса.

Его летучие колонны,
Как стрелы в полости времен.
В его стихии многозвонной
Смешались языки племен.

Брожу по улицам нескромным
И открываю новый клад.
Гудит блистательный, огроменный,
Спрямительный и неумный,
В калейдоскопе мощный град.

БЕЛАЯ ГОРА

Широкая дорога,
Ведет к высотам путь.
У Божьего порога
Легко вздыхает друдь.

Простор невыразимый.
Здесь по вершинам гор
Шагает Бог незримо,
Свершая свой дозор.

И постигаешь силу
Божественной руки,
Что эту мощь вскрыла
Над уровнем тоски.

Внизу скользящей тенью
Проходим мы на миг,
Следя в игре явлений
Сокрытый в тайне лик.

Не выразить мгновенья:
Высоты без конца.
Бессмертие творенья,
Величие Творца.

МОЯ АМЕРИКА

В борьбе за счастье создана,
Упорством прадедов сильна,
Каких волшебств она полна!

В ней сплав народов и племен
Хранит незыблемый закон:
Свободным человек рожден.

В ней конституции язык
Из недр в живую ткань проник,
И памятник отцам воздвиг.

И в прозный час сынам верна
Безбрежностью влечет она,
Благословенная страна!

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Из числа поэтов, помещенных в «Избранных стихотворениях», скончались:

I

Из старшего поколения:

Зинаида Гиппиус
Георгий Иванов
Николай Оцуп
Владислав Ходасевич
Марина Цветаева.

II

Из довоенного зарубежного поколения («старой эмиграции»):

Раиса Блох
Вера Булич
Михаил Горлин
Ирина Кнорринг
Довид Кнут
Юрий Мандельштам
Борис Поплавский
П. Ставров
Анатолий Штейгер
Ирина Ясен.

К старшему (начавшие еще в России) поколению принадлежат:

Георгий Адамович
Нина Берберова
Владимир Злобин
Сергей Маковский
Ирина Одовцева.

К довоенному зарубежному поколению (начавшие уже за границей):

Александр Гингер
Алла Головина
Юрий Иваск
Вл. Корвин-Пиотровский
Ант. Ладинский
Виктор Мамченко
София Прегель
Анна Присманова
Георгий Раевский
Вл. Набоков-Сирий
Вл. Смоленский
Юрий Софиев
Глеб Струве
Екатерина Таубер
Николай Туроверов
Лидия Червинская
Игорь Чиннов,

„ К младшему зарубежному поколению (начавшие печататься после 1945 г.):

Лидия Алексеева
Лариса Андерсен
Анатолий Величковский
Тамара Величковская
Крузенштерн-Петерс
Борис Нарциссов
Александр Неймирок
Юрий Одарченко
Кирилл Померанцев
Сергей Рафальский
Елена Рубисова
Василий Сумбатов
Аглаида Шиманская
Георгий Эристов

К поэтам новой эмиграции (из Советского Союза):

Ольга Анстей
Иван Елагин
Олег Ильинский
Борис Филиппов
Д. Кленовский
Вл. Марков
Николай Моршен
Леонид Страховский
Юрий Трубецкой
Аглая Шипкова

Зарубежный Сургучев

(К трилетию со дня смерти)

Я познакомился с Ильей Дмитриевичем Сургучевым 11 февраля 1921 года в Константинополе. Дату помню потому, что в день знакомства показал ему мой литературный альбом, который у меня сохранился до сих пор, и Сургучев в нем написал: «Трудно выдумать что-нибудь хорошее и умное. Трудно вообще писать в альбомы, по крайней мере для меня это — смерть».

Познакомил меня с Сургучевым наш общий друг Борис Лазаревский. Он собирался это сделать еще в Петербурге, где я видел Сургучева не раз, — мы вдвоем сотрудничали в одних и тех же журналах, но так встретиться нам вдвоем и не удалось.

*

Затем Париж... В последние пятнадцать лет — частые встречи: и друг у друга на дому, и в редакциях, где вместе работали.

По воскресеньям Сургучев часто блуждал на Клиньянкуре, который парижане называют «рынком блох». Там торгуют старьевщики. Илья Дмитриевич прогуливался среди лотков, рылся среди вещей и редко возвращался домой, не купив чего-нибудь: то какую-то мудреную палку, то старинные часы, остановившиеся лет пятьдесят назад, то древнего издания томик Вольтера.

Но особое пристрастие проявлялось у Ильи Дмитриевича к старинным иконам и картинам. Вся квартира его была увешана ими так плотно одна к другой, что невозможно было различить рисунок и цвет обоев. У стен картины складывались штангами, укладывались в чемоданы. Как и полагается любителям старины, Сургучев был уверен, что среди его коллекции картин находятся и картины великих мастеров, купленные им по случаю на «рынке блох».

Старинные вещи он покупал, руководясь каким-то «шестым чувством». Так им был приобретен письменный стол эпохи ампира, самовар — наследие гоголевских героев Ноздрева и Коробочки, и другие. Вся квартира была загромождена подобными приобретениями. Но больше всего было книг: пирамиды на стульях, под кроватью, в ванной, в коридоре...

После своих прогулок по Клиньянкуру, Сургучев возвращался домой очень

удовлетворенным или же сумрачным. Однажды я встретил его сияющим и радостным. Он сразу же похвалился своей удачей:

— Представьте себе, дурак-букинист ничего не понимает! Гляжу, бумажная трубка метровой величины. Развернул: Коклен!.. Сколько? — спрашиваю. «— Сто франков — красная цена!» Вот мне повезло, старик! Каково!

Бывали и неудачи: «подлинный» Рембрандт оказывался после экспертизы посредственной копией. Но промахи не охлаждали пыла Сургучева. Как проигрыш для страстного игрока — они лишь возбуждали его еще больше.

На набережной Сены, в районе Лувра, где по обеим сторонам тянутся сплошной цепью ларьки букинистов, Сургучев разыскивал редчайшие русские книги, старинные французские рукописи и правовые.

Стоило завестись у Ильи Дмитриевича деньжатам — подспорью к его скромному бюджету, — как он тотчас отправлялся в свое паломничество по упомянутым местам, и денег как не бывало. Снова жизнь впроголодь, потрепанный костюм, и новая куча «предметов», сваленная в кучу, за неимением места, прямо в угол.



Кроме увлечения старинными вещами, Сургучев обладал еще одной страстью: кошки. Одно время у него жило семь кошек, которые с течением времени подымали. Ко дню его смерти осталось две: четырнадцатилетний Мушкатов и остроглазая молоденькая кошечка Белкин — белая, как снег.

За полгода до смерти у Сургучева сдохла кошка Машка. Я у него был на следующий день. Он сидел упрямый, рассеянный.

— У меня большое несчастье, — сказал он. — Сдохла Машка... Лежит в кухне на подоконнике. Хотите, подите посмотрите. Тяжело расставаться — похороню послезавтра в Венсенском лесу, где у меня существует некое подобие склепа. Своими руками смастерил из жестянок. Зарыто уже четверо — Машка будет пятой.

Третьего ноября, за шестнадцать дней до своей смерти, Сургучев был отправлен в госпиталь. Но еще накануне, уже совершенно больной и ослабевший, в одиннадцать часов ночи он спустился со своего шестого этажа на улицу со свертком в руках. Бездомные кошки собирались в определенном месте, ожидая своего благодетеля. Илья Дмитриевич их кормил ежедневно.

«Блажен иже и скоты милует» — сказано в Евангелии...



Дружба Сургучева с Максимом Горьким занимает целую главу в его биографии. В то время Горький стоял во главе издательства «Знание». Печататься в сборниках «Знания» — тогдашнего авангарда литературы — означало выдвигаться в первые ряды. Леонид Андреев, Бунин, Серафимович, Скиталец, Гусев-Оренбургский, Чириков и другие были постоянными авторами сборников. И Сургучевские книги выходили в этом издательстве.

Горький не раз приглашал Сургучева к себе на Капри, и тот постил у него по месяцам.

Несколько лет назад в Советском Союзе были опубликованы горьковские письма. Среди них есть несколько и к Сургучеву. К ним дано маленькое предид-

словие в два-три десятка строк, которое начинается так: «Илья Дмитриевич Сургучев родился в Ставрополе, в 1876 году». Если здесь нет ошибки, то Сургучеву в год смерти было восемьдесят лет.



Шла пьеса Сургучева «Торговый дом» в одном из московских театров. В этот день Илья Дмитриевич приехал из Петербурга в Москву, толкнулся в театральную кассу — билеты все проданы, но кассирша дала ему пропуск в оркестр. Туда, вниз, под суфлерскую будку и спустился Сургучев.

Когда кончился первый акт и зажглось электричество, Сургучев увидел, что стоит рядом со Станиславским. Оба знали друг друга, но не были официально знакомы. На этот раз познакомились и разговорились:

— С удовольствием смотрю ваш «Торговый дом». Дайте нам что-нибудь для «Художественного театра».

И Сургучев рассказывал мне:

— Я был ошеломлен, я был вне себя, я считал свою персону «маленьким человечком» — и вдруг приглашение в Московский Художественный театр — в святилище, храм искусства, первый из драматических театров в мире. Обомлел, потерялся. У меня была готова пьеса «Осенние скрипки», которую я дал Александру Ивановичу Южину-Сумбатову, но он ее забраковал... Конечно, не откладывая, послал ее Станиславскому и вскоре получил от него извещение, что она принята для постановки. И чек — аванс — в тысячу рублей.

«Осенние скрипки» были поставлены и шли из года в год.



В 1942 году Сургучев организовал в Париже «Театр без занавеса». В нем ставились водевили, миниатюры, скетчи, одноактные оперетки, балетные интермедии, выступали соло певцы и певицы, писатели и поэты читали свои вещи. Выступали скрипачи и пианисты. Драматурги имели возможность ставить свои новые произведения. В этом же театре прошло и несколько одноактных пьес Сургучева, была поставлена и моя одноактная комедия «Двадцать девятое февраля».

Театр этот получил такое оригинальное название по той причине, что первые спектакли происходили в зале консерватории, где вместо сцены — эстрада. Но потом театр обосновался в уютном зале Гужон на улице Гужон, в ту пору были уже и декорации и занавес, а название сохранилось прежнее.

«Театр без занавеса» просуществовал около двух лет. Программные вечера-спектакли происходили регулярно по воскресеньям при переполненном зале. Илья Дмитриевич читал со сцены свои рассказы, играл барина в пьеске Аркадия Аверченко «Старики», которая пользовалась успехом и шла не раз. Театральную группу возглавлял Юрий Загребальский, из театра Никиты Балиева «Легучая Мышь».

Сургучев был опытным руководителем, репетиции происходили в его присутствии, и он обладал стопроцентным правом «вето». В театре царил абсолютизм. Артисты никогда не роптали и беспрекословно подчинялись своему «агаману».



Когда Сургучевские «Осенние скрипки» ставились в Париже, — а это было неоднократно — автор отсутствовал в зале, следя за игрой артистов, за кулисами. Если ему удосуживались предложить стул, временами присаживался, но обычно стоял, прислонившись к стене спиной... Он зорко следил за игрой, и артисты чувствовали себя подтянутыми, точно офицеры на смотре, хотя Сургучев никакого начальственного тона не проявлял. Наоборот, держал себя скромно и любил стесываться. Одному скажет:

— Спасибо, старик! (по казачьему обычаю «стариком» он любил называть всякого, к кому был расположен).

Другого одобрит:

— Продолжайте, продолжайте, продолжайте!..

Третьего по-отцовски потреплет по плечу:

— А вы... того... одрейдифили маленько! Ну, ничего... чего уж там...

Артисты ценили его одобрение и рецензии. Обычные театральные недоразумения он умело разрешал. Театр являлся альфой и омегой сургучевского существования.



В 1946 году Сургучевские «Осенние скрипки» были переделаны для экрана неким предприимчивым дельцом и выпущены в свет под заголовком «Женщина опасного возраста». Произведение было неузнаваемо изуродовано, а Сургучев был обманут: получил за него гроши.



Как-то я был в гостях у Ильи Дмитриевича и за ужином услышал следующий от него рассказ:

— Однажды, будучи студентом, я приехал из Петербурга в Ставрополь на летние каникулы. После обеда, по обыкновению, отец ушел в спальню соснуть, а я часто оставался в столовой и читал. Стук в двери, пошел отворить: молодой человек кавказского типа.

— Что вам угодно?

— Позвольте отрекомендоваться: Иосиф Виссарионович Джугашвили. Я вчера бежал из Тифлиса, за мною следит полиция. Мне надобно временно прожить на нелегальном положении. Ваш дом считается в Ставрополе очень благонадежным, шпиксы сюда не рискнут заявиться. Не возьмете ли вы меня к себе поваром. Я отлично смыслю в кулинарии.

Я пошел к отцу.

— Какой-то Джугашвили — нелегальный — предлагает себя в повара*).

— А ты спроси, умеет ли он готовить шашлык по-кавказски. Если умеет, мы его берем...

И он стал служить, поставив условием, что после обеда будет уходить и возвращаться за час до ужина. Принес маленький чемоданчик с жалким скарбом — все имущество.

... Готовил прекрасно, отлично, мастерски. Отец был доволен. Часто я с нашим поваром вдвоем ходили в театр на галёрку и возвращались поздно, потому

*) См. И. Д. Сургучев, «За чахохбили» (сцена из пьесы «Вождь»), «Грани» № 20 — Ред.

что спускались в погребок и попивали кахетинское. Парень он был компанейский. Политических разговоров мы с ним не вели: я всегда был до них неохотник, и он, очевидно, остерегался. Декламировал из поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре» по-грузински и отчасти казался энтузиастом... Проходили недели и месяцы. Вхожу как-то утром в кухню — пусто. Ни Виссариона, ни чемоданишка. Исчез навсегда. Не забрал обещанного ему за полмесяца жалования...



Сургучев был мистиком.

— Я смерти не боюсь, — говорил мне как-то Сургучев. — Вот два года назад, когда вы меня лечили, она ко мне подкрадывалась, и не было страшно. Наоборот, я ее ожидал спокойно. Чувствовал себя очень плохо и вполне беспомощным, а в старческой беспомощности есть своя сладость. Предвкушение Нирваны... Чувял, смерть сторожит у изголовья. Каждый умирающий знает это и как-то видит смерть. Я покорился. И приснилось мне в ту ночь: все коты и кошки, которые со мной и те, каких кормлю на улице — стоят вокруг престола Всевышнего на задних лапках, а передние подняли вверх и молят: «Владыка, помцади нашего отца и благодетеля!..» Горячо и долго молились они. И вдруг голос с неба:

— Ну, будь по-вашему!

Я проснулся в испарине. И понял, что кризис миновал благополучно, я выздоравливаю и буду жить. Но на какой срок мои зверьки вымолили мне жизнь — тайна сия велика есть... Пути Господни неисповедимы...

И молитвенно заключил:

— И возблагодарю Бога от всей души моей. Аминь!

И в его произведениях часто встречаются мистические моменты: роман «Ротонда» заканчивается вещим сном. Последний из его появившихся в печати рассказов носит название «Черная тетрадь», в котором происходит странная мистическая встреча автора записок «Черной тетради» и девушки. Все герои — обреченные. И сам Сургучев, когда писал это произведение, тоже ощущал себя обреченным.



Месяца за два до его смерти в редакции журнала «Возрождение» собралось в приемный день человек десять сотрудников. Один из них сказал, обратившись к Сургучеву, что тот является по праву их старейшиной и должен был бы их возглавить.

Илья Дмитриевич сурово ответил:

— Мне ли думать о таком суетном предмете, когда я стою на линии смерти.

Я был ошеломлен таким ответом. Откуда этот пессимизм? Несколько лет я, в качестве домашнего врача, лечил его. И он всегда исполнял мои предписания. Но на этот раз, почувствовав себя обреченным, ко мне не обратился.

В начале октября 1956 года на банкете журнала «Возрождение» я зорко приглядывался к Сургучеву. Он сидел от меня далеко, но насколько я мог наблюдать, ни с кем не разговаривал (будучи на редкость общительным человеком). Поэту же Злобину он на этом банкете сказал единственную за весь вечер фразу:

— Один доктор сказал, что мне осталось жить на свете еще полтора месяца...



Умер Илья Дмитриевич неожиданно для всех.

Третьего ноября утром пришла ко мне Е. В. Кузнецова, преданный и давнишний его друг, и протянула «пневматичку», полученную от Сургучева:

— Читайте!

«Я очутился в госпитале Божон, 7 этаж, палата...»

Мы с ней немедленно поехали в госпиталь. Сургучев лежал в кровати и спал, но когда мы приблизились, проснулся.

— Почему вы здесь? Как дошли вы до жизни такой? — пошутил я.

Он молча открыл одеяло. Обе ноги — от колен до подошв — были страшно опухшими.

Когда через три дня я снова навестил Илью Дмитриевича, от отеков и следа не осталось. Еще через несколько дней вечером он уже сидел в кресле возле своей кровати и сказал:

— Я выпишываюсь через три дня.

Мы душевно разговаривали, прогулялись по палате и остановились у застекленной двери, выходящей на балкон. С высоты открывалась чудеснейшая панорама ночного Парижа, светящегося бесчисленными огнями.

Сургучев говорил ясным, бодрым голосом:

— Смотри, старик, вон влево «Святое Сердце» (собор Сакре-Кёр), а вправо в тумане Эйфелева башня... Весь Париж перед нами — волшебный город. Люблю отсюда любоваться Парижем. «Город светоч» — прозвали его правильно, смотри — миллион огней...

Мы оба стояли зачарованные. Когда я уходил, Илья Дмитриевич сказал:

— Навещайте меня, старик, но не вечером, а днем. Днем веселее... По ночам этот госпиталь похож на катакомбы. Я его боюсь... Когда доктор-румын попросил меня собраться и явился со своим приятелем через час, мне стало страшно и я крикнул: «Не желаю! Остаюсь дома!» Но они меня взяли под руки и почти силой повели... Больше трех дней здесь не останусь!..

Я был обрадован и уверен, что Сургучев выздоравливает.

И вдруг наступило резкое ухудшение.

Однажды ночью он пытался бежать из госпиталя в одном белье, и с седьмого этажа — бодрой походкой — стал спускаться по лестнице. Его остановили на первом этаже. К кровати привязали доски...

Он умер 19 ноября 1956 года в одиннадцать часов утра. Я же видел его в последний раз в субботу семнадцатого. Правая нога была привязана к спинке кровати. Он то бредил, то приходил в себя. В такую минуту сказал мне, что прочел свой очерк «Северный Кавказ», напечатанный в октябрьской книжке «Возрождения», которую я принес ему накануне. И вдруг:

— Садись, старик, ты мне не мешай, я держу в руках драгоценные часики и ключик, чтоб завести их, а не то ключик оброню...

Когда я уходил, он спал меня крестить широким крестом, как крестят в народе. Напутствовал или благословлял? Очевидно чувствовал, что прощался навсегда...

Хоронили Сургучева в морозный солнечный день в Сан-Женевьен дю Буа, час езды от Парижа. Похороны состоялись после торжественного отпевания в кафедральном соборе на улице Дарю.

Гроб опустили в промерзшую могилу. Сургучев как-то мне говорил:

— Не хочу, чтобы меня хоронили в слякоть. Не люблю распутицы...

Его желание исполнилось.

А на следующий день наступила оттепель...

Свидетели защиты

Никогда я не встречала такого вместительного сердца, открытого настежь для всех лающих, мяукающих, поющих и даже плавающих, как у покойного автора «Осенних скрипок» — Ильи Димитрича Сургучева.

Питал он к животным не только любовь, но и большое почтение, считая их «расой» высшей, чем человек. Моими воспоминаниями о его очень оригинальных отношениях с этой расой, я и хочу поделиться с читателем.

... Когда я узнала о смерти Сургучева, мне представилась такая картина: зал суда, того суда, которому подсудна после смерти душа человека.

Посреди зала, в своем любимом, ободранном котами кресле, уютно устроился подсудимый. Это Илья Димитрич. На нем неизменное, домашнее — дырявые штаны западного цвета, такого же цвета рубашка, без единой пуговицы, с глубочайшим, узким декольте, уходящим куда-то в недра штанов, и шлепанцы на ногах. Из них, в иной день, робко выглядывает головка большого пальца, продавленная сквозь носок к свету и жизни. Этот туалет никогда не смущал Илью Димитрича, даже если заходили неожиданные гости. Не смущает он его и сейчас. На его лице благодушие и покой.

Председатель суда не видим для моих глаз, но я замечаю на столе весы правосудия с двумя равными чашами — одной черной, зловещей, и другой белой и светящейся. Одна из них должна перевесить.

С двух сторон зала, справа и слева, скамьи для свидетелей. На скамье слева сидят тени каких-то мужчин и женщин. Это свидетели обвинения. Каждый из них по очереди подходит к барьеру и дает показания. Одного из них Сургучев чем-то оскорбил, другому он что-то сделал, третьему чего-то не сделал, четвертой он изменил, пятую разлюбил... обычные свидетели каждой человеческой жизни. Эти показания ложатся тяжестью в черную чашу. Она начинает медленно опускаться... она перевешивает белую... Весы замирают.

Но Сургучев в своем кресле продолжает доверчиво улыбаться. На что он рассчитывает?..

На скамье справа сидят свидетели защиты. Странная компания!.. непосредливая, ерзающая на месте, в меховых шубках и на четырех ногах. Я узнаю Кики — маленького пушистого песика — он поджимает скрюченную лапу, пострадавшую под автомобилем. Его подобрал Илья Димитриевич на мостовой. Рядом с ним — одноглазая Мими, черная кошатина низкого происхождения, «гуляющая»,

подобранная Ильей Дмитричем «на дне», в сорном ящичке, кошка гениального ума. Тик и Так, два беленьких близнеца-утопленника, выловленные подсудимым из смертного ведра, на самой заре их жизни. Рыжуля, Сашка и Машка... все они тут, все раненные жизнью, все нашедшие приют в сургучевском доме.

На самом конце скамьи, с цилиндром на голове, сидит, широко раскрыв свою рыбью пасть, элегантный господин Лещ, интимный друг Сургучева, спасенный им от сковородки. Теперь очередь этих свидетелей. Гуськом они подходят к барьеру, и что-то возбужденно кричат, махая хвостами, таякая, мяукая, шипя и урча в сторону свидетелей обвинения.

Развалившись в своем кресле, Илья Димитрич делает им дружеские знаки рукой и подмигивает глазом. Я испытываю большое желание тоже подойти к барьеру и дать мое показание о подсудимом, рассказать то, чему я сама была свидетелем.

— Господин председатель, вы разрешаете?

Председатель разрешает. И я начинаю.

... Захожу я однажды к «Сургучам». Звоню. Открывает дверь Илья Димитрич.

— Входите, входите... — говорит он как-то поспешно и странно, выглядывая в дверь через мое плечо.

Из кухни веселым галопом на трех ногах пролетает Кики, он тащит в зубах большой кусок чего-то, и даже не говорит мне "bonjour".

— Я думал, что это Верочка (жена И. Д. — З. С.), она забыла свой ключ... должна сию минуту прийти... — И опять мне кажется странным и тон Сургучева, и его какой-то бегающий взгляд.

— Простите... — добавляет он. — Одну минутку... Пока ее нет... — Илья Дмитрич повертывается, показывает мне задний фасад своих брюк — на фасаде две-три веселых дырки смеются во весь рот — и входит в крошечную кухню. Я вижу, как он каким-то воровским движением извлекает из-под газовой плитки тарелку. На ней кусок курицы, аккуратно нарезанный. Он ставит ее на пол посреди кухни.

В один миг сверху, снизу, со шкапа, со стула, из-под стола — кидаются к тарелке вздернутые победно хвосты. Белые, черные, серые, рыжие... штук семь, восемь... Впереди гениальная Мими, в тылу два беленьких близнеца, сменившие веки и ставшие супругами.

— Вера никак не может понять, что свинья и человек — животные всеядные, и, значит, могут лопать кишки, селезенку и всякую гадость. А кошки народ тонкий, изысканный... — говорит задумчиво Сургучев.

— Это вы насчет курицы?.. — перебиваю я, смеясь.

— Конечно! не такой же я мерзавец, чтобы трескать курицу и не поделиться с моими лучшими друзьями!.. У меня кусок в горле станет... как я им в глаза посмотрю?.. Попробуйте втолковать это Вере.

Раздается звонок. Быстрым движением ноги Илья Димитрич отправляет тарелку под стол. И спешит в прихожую.

Вера проходит прямо в кухню. Облизывающиеся коты, мое смущенное лицо и лихо развязный вид Сургучева, видимо, кажутся ей подозрительными. Она рассеянно целует меня и косит взглядом под стол. Потом, не говоря ни слова, открывает дверцу шкалика, где хранится провизия, и вытаскивает оттуда блюдо. На нем покоятся жалкие остатки курицы. Острый, смертоносный взгляд поражает Илью Димитрича. Ледяным тоном Вера спрашивает:

— Курицу, конечно, съели они?

— Ну что ты.. что ты... — развязно отвечает Сургучев, — я почему-то проголодался раньше времени... Закусил!..

Вера наклоняется и извлекает из-под стола тарелку.

— Ты закусывал под столом?

— Давайте лучше обедать, — примирительно и заискивающе меняет тему Илья Димитрич. — Верочка, что если бы ты сделала нам яиченку?..

— На два дня было курицы!.. — вырывается у Веры крик души. И вдруг озабоченно: — Ты не забыл Кики, по крайней мере?.. Ты ему дал?..

— Крылышко, — следует лаконичный ответ.

Сытые коты трутся о Верины ноги, влетает довольный Кики, облизывая свой нос. Сердце Веры далеко не камень, и она, уже совсем весело, добавляет по моему адресу без особого сочувствия:

— Благодарю его... вместо курицы будешь есть яичницу.

Затем я слышу ритуальное, обязательное и ни к чему не ведущее:

— Илья, неужели тебе не стыдно ходить в дырах... Точно тебе нечего надеть! «Иле» не стыдно. Каждый понимает комфорт по-своему.



... Прихожу как-то другой раз. Лифт наверху. Не жду его и поднимаюсь на четвертый этаж. Вера одна, моет посуду.

— Ильи Димитрича нет?

— Поди, постой на площадке, посмотри на лифт, — загадочно отвечает Вера.

Заинтригованная выхожу на площадку. В это время лифт проезжает сверху и, минуя четвертый этаж, спускается вниз. В лифте Илья Димитрич, спиной ко мне. В чем дело? Откуда он? Стою. Смотрю. Не останавливаясь внизу, лифт снова проезжает мимо четвертого этажа, подымается вверх, затем спускается снова до самого низа и подымается опять. Теперь Илья Димитрич стоит лицом ко мне, на груди у него Мими.

Я подхожу к клетке лифта и окликаю:

— Илья Димитрич, что это с вами?

Он останавливает лифт и выходит. На его лице чувство выполненного долга.

— Катал Мими. Обожаю кататься. Гениальная кошка. Это — личность!

Гениальная личность таращит глаза и рвется из рук — не то к лифту, не то подальше от него.

Эта самая Мими ожидала потомство. Я спросила как-то Илью Димитрича, оставит ли он одного котенка. Он подскочил и замахал на меня руками:

— Как «одного»?.. Бог с вами, что вы говорите!.. Разве я возьму на душу такой грех — убить невинных котят!.. Всех оставлю.

— Илья Димитрич, да ведь у вас одна комната!

Ответ был категоричен:

— Я скорее человека убью, чем зверя.

Был момент, когда, действительно, он был близок к этому.

... В один прекрасный день вхожу к «Сургучам», в их кабинет-салон-спальню. Илья Димитрич с блаженным лицом, конечно, в дырявых штанах, сидит в своем ободранном кресле. На коленях у него тоже блаженно растянулась и мурлычит беленькая «Так», или Такуня, сестра и супруга белого Тика.

Вера не дает мне сказать слова. Она тычет певным перстом в Илью Димитрича.

— Ты знаешь, где Илья провел ночь?

— Не знаю.

Сургучев улыбается и поглаживает белую, пушистую шерстку.

— В клетке!.. — бросает свирепо Вера.

— В какой клетке?

— В клетке, в клетке... в комиссариате!.. С бродягами и проститутками! .
Вот где!

Илья Димитрич смеется. «Так» — должно быть тоже от смеху — перекидывается на спинку и выкидывает в воздух четыре лапы.

История оказалась следующей:

«Так» сбежала и пропадала три дня. Какой-то услужливый сосед, встретив на лестнице Сургучева, поведал ему, что консьержка прозилаась убить ее. Надо сказать, что эта легкомысленная особа (не консьержка, а «Так») частенько ускользала за дверь, спускалась вниз и, по уверению консьержки, делала на лестнице то, что воспитанным дамам делать не полагается. Но это была вопиющая ложь!! И когда Илья Димитрич узнал от соседа об угрозах консьержки, ему стало все ясно. Эта «ведьма» привела свою угрозу в исполнение и убила Такусю. Убить беззащитное животное!..

Кровь бросилась в голову Сургучева. Не помня себя, он кинулся домой — Вера была на работе — схватил кинжал, случайно купленный у антиквара, с ручкой очень тонкой, резной работы, и ринулся вниз, к «ложе» консьержки.

Хотел ли он попутать ее или действительно был способен идти на каторгу во имя своей любви — не знаю точно. Но факт тот, что когда на пороге «ложи» показались расстрепанный, красный Илья Димитрич, с кинжалом в руке — консьержка дико взвизгнула, оттолкнула его и выбежала на улицу с диким воплем: «Убийца... помогите... Убийца!..»

Собралась толпа, прибежали полицейские, подхватили под руки раба Божьего Илью и повели его, с кинжалом в руке, в ближайший участок. Там, в клетке, на деревянной скамейке, Илья Димитрич и просидел весь вечер и всю ночь. Утром, на следующий день, Вера бегала освобождать его.

Не знаю, что она говорила, как она убеждала комиссара, но кончилось дело тем, что комиссар выпустил Сургучева, конечно, с соответствующим наставлением. Но не «выпустил» дорогой кинжал, оставшийся у него на столе.

Когда ликующая и свирепствующая Вера — от радости забывшая о трагической судьбе Такуси — привела к дому освобожденного узника, мрачного, как Отелло, и ничего не забывшего, первое, что они увидели в холме, было распластанное на полу белое, пушистое тело невинной жертвы. Илья Димитрич поблелел.

Тело поднялось, выпнуло колесом спину и громко замыкало: «Наконец-то!.. Где вы пропадаете?.. Я голодна после любовных авантур!..» Тогда и Сургучев почувствовал вдруг, что после полицейских авантур голоден и он. Но предварительно, очень смиренно и от всей души, Илья Димитрич попросил прощения у консьержки. И на другой день разорился и поднес «ведьме» большую коробку конфет. После чего мир был заключен окончательно.



... Звонит мне по телефону как-то Вера: — «Зайди, пожалуйста, у нас большое горе. Покончил с собой Кики». — «Что?» — «Приходи, Илья тебе все расскажет».

Рассказал он мне следующую настоящую историю Ромео и Джульетты.

Это было летом. Как-то на прогулке Илья Димитрич и Кики, на ремешке, увидели сидящую в окне прелестную белую болонку с розовым бантом на шее. Кики влюбился сразу и без памяти.

Тотчас он принялся неистово вращать хвостом, прыгать к окну, показывая красавице свое восхищение. Она благосклонно поглядывала на Кики и изредка, легким, коротким лаем поощряла поклонника.

С большим трудом удалось Сургучеву оттащить Кики от окна. С тех пор, каждый день на прогулке Кики тянул Илью Димитрича к заветному окну, садился на тротуар и, подняв мордочку к белоснежной Джульетте, нежно и влюбленно повизгивал. Сочувствуя мукам Ромео, Илья Димитрич решил обратиться к хозяйке красавицы и попросить для Кики ее руку и сердце, хотя бы на несколько часов.

Но судьба разрушила эту идиллию и разлучила Ромео и Джульетту.

— Несколько дней тому назад, — рассказывал Илья Димитрич, — мы с Кики нашли окно опустевшим, красавицы не было. Кики уселся все-таки перед окном на свой пушистый задок и долго повизгивал с отчаянием и надеждой. Но любимая не появилась. Прошло три дня. И все три дня окно зияло пустотой и все три дня Кики плакал и стонал на тротуаре.

Сургучев, болея душой за своего друга, обратился за сведением к консьержке дома. Та объяснила, что белую собачку пришлось умертвить, так как она вдруг безнадежно заболела.

— Я просто не знал, как сообщить об этом Кики, — говорил Илья Димитрич. — Но Кики, видимо, понял и без слов. Когда мы подходили к дому, он вдруг с силой вырвал свой ремешок из моей руки и стремглав со всех трех ног бросился на мостовую, прямо под проезжавший грузовик.

Грузовик проехал, — и на мостовой остался безжизненный рыжеватый пушистый комочек в крови. Кики покончил с собой.

Останки его были благоговейно положены в деревянный ящик. Илья Димитрич перекрестил своего маленького друга, прочел над ним молитву и повез хоронить его на кладбище для животных, у "Porte de Clichy". (Прелестный, игрушечный полуостров, утопающий в зелени и цветах. Единственное кладбище, где хоронят только тех, кого искренне и сильно любили).



... А вот еще одна история. Сургучев рассказал мне ее в чудный весенний день, на скамейке бульвара "St. Jacques". Мы прелись на солнце, выйдя из госпиталя, где лежала больная Вера, и где, позднее, ей суждено было окончить свои дни. Чтобы отвлечь Илью Димитрича, страшно исхудавшего, сразу одряхлевшего от невеселых мыслей, я спросила:

— А когда вы мне расскажете о вашем друге Леще.

Он оживился, улыбнулся, и поведал мне эту необыкновенную историю:

Знакомство его с Лещем произошло где-то в деревне, на летних каникулах. Илья Димитрич пришел в гости к своим знакомым. Он увидел в кухне, в кадushке с водой, плавающего Леща, еще живого, но приговоренного к смерти. Тотчас же завел с ним знакомство, накормил его кусочками хлеба и, почувствовав к нему нежную дружбу, принялся умолять своих приятелей пощадить жизнь Леща и выпустить его на волю, в речку.

Мольба его была услышана. Торжествующий Сургучев отнес Леща к речке и, погладив его по голове, напутствовав ласковыми словами, выпустил рыбу на простор и свободу. Лещ выставил на секунду свою морду из воды, посмотрел Илье Димитричу «прямо в глаза», благодарно кивнул хвостом и скрылся в глубинах реки.

В тот же день у Ильи Димитрича была большая удача в делах. А за ней пришли и другие, и везенье продолжалось и продолжалось. Это сделала молитва Леща — Сургучев был убежден в этом. Но Лещ не только молился за него, он и являлся своему спасителю. Один раз во время болезни Ильи Димитрича, якобы в бреду, и несколько раз во сне. Являлся он всегда щеголем, с цилиндром на голове, становился на кончик хвоста, как балерина на носок, и, грациозно покачиваясь, кивал головой и обещал и впредь свое высокое покровительство.

— Хотел вот написать о Леще, — вздохнул Илья Димитрич, кончая свой рассказ, — да не пишется, не думается!.. (Но все-таки позднее он написал и увековечил своего друга и покровителя *).



Илья Димитрич был человеком глубоко и просто верующим. «Я верю, как мужик», говаривал он, «и суверен, как мужик». С Господом Саваофом у него установились очень интимные отношения, и часто он получал совершенно свежие небесные новости, еще не опубликованные для рода человеческого. Так, однажды он очень серьезно уверял меня: «Бог не любит людей, просто видеть их не может, до того они Ему осточертели. Никогда, говорит Бог, не творил я такую гадость, сама развелась». И тут же сообщил Илье Димитричу, что любит Он только животных, что только они одни близки Ему.

Вот поэтому, объяснял Сургучев, животные видят то, что не дано видеть человеку, и слышат то, чего не можем слышать мы. Они видят потусторонних жителей и видят смерть. Смерть это не акт, не понятие, не представление — это «фигура», это существо, приходящее, чтобы умертвить тело. Поэтому, в последнюю минуту своей жизни, и кошки, и собаки, и птицы делают отчаянное движение, чтобы куда-то бежать, от чего-то спастись. (Это, действительно, приходилось наблюдать и мне). От фигуры они хотят спастись, потому что они видят ее.

Заканчивал Илья Димитрич свои рассказы о животных всегда одним и тем же: — Только молитва животных доходит до Бога, наша не подымается выше земли.

Вот почему подсудимый в зале суда был так покоен, несмотря на показания свидетелей обвинения. Вот на что он рассчитывал, сидя в своем ободранном кресле: на эту молитву. Вот почему после горячих речей свидетелей защиты белая чаша весов дрогнула, словно до краев наполненная золотом, и стала быстро спускаться вниз. Она звонко стукнулась о стол и остановилась. Черная чаша взвилась наверх. В зале суда воцарилась тишина.

И тогда раздался голос невидимого Председателя:

— Подсудимый Илья Димитрич Сургучев оправдан по суду.

Не выдали животинки!

*) См. И. Д. Сургучев, рассказ «Бред», «Грани» № 26, 1955. (Ред.)

... Вернемся на землю. Очень бы я хотела знать, что стало после смерти Сургучева с его животными, оставшимися сиротами в квартире. (Меня уже не было в Париже).

В последнем письме, месяца за два до своей кончины, Сургучев писал:

«Соседи просят пожаловаться комиссару (мой старый знакомый с кинжалом), хотят требовать, чтобы уничтожили моих котов. (Или меня?) Вонючка от них, правда, изрядная, даже в коридоре. (В этом доме все квартиры выходят в коридоры). А я стал стар и слаб, да и болею все, убирать нет сил...»

Страдал он, конечно, и от одиночества. Ему часто советовали устроиться в «дом» на отдых. В Земгоре обещали отдельную комнату. Но разве мог он бросить своих четвероногих друзей, разве мог он обречь их на голод и смерть? И ради них он оставался в своей вонючей, грязной квартире. Пока не пришла «фигура»...

Память сердца

Из далекой ранней памяти — мои первые книги: читаю Достоевского: «Хозяйка» (1847) и «Кроткая» (1877). И было это мне как свое, написано из моей жизни, и это при всей живости моей природы! Кто сказал бы про меня — кроткий. Или память моя? — память неделима во времени, вспоминается прошлое вспоминается из того, что только будет: что придет со временем.

Читая глазами, я выговаривал про себя, и голосом скальзывал с печатных строчек свинец, пока не показывалась кровь — «горстка крови», и вся горечь жизни дохнула на меня.

И зачем только я давеча ушел, всего только на два часа... наши заграничные паспорта... о Боже! Только бы пять минут, пять минут раньше воротиться? А эта толпа в наших воротах, эти взгляды на меня...

Я только помню, что когда я в ворота вошел, она была еще теплая. Главное, они все глядят на меня. Сначала кричали, а тут вдруг замолкли и вдруг все передо мной расступаются и... и она лежит с образом. Я помню, как во мраке, я подошел молча и долго глядел. И все обступили и что-то говорят мне. Лукерья тут была, а я не видал. Говорит, что говорила со мной. Помню только того мещанина: он все кричал мне, что «с... горстку крови изо рта вышло, с горстку, с горстку» и указывал мне на кровь тут же на камне. Я, кажется, тронул кровь пальцем, запачкал палец, гляжу на палец (это помню), а он мне все: «С горстку, с горстку». — Да что такое с горстку? — завопил я, говорят, изо всей силы, поднял руки и бросился на него... О дико, дико! Неправдоподобие. Невозможность. Бред, бред, вот где бред. Измучил я ее, вот что!

И это произойдет не в Петербурге на Загородном у пяти углов, а в Париже — на rue Monsieur le Prince, Hôtel de l'Univers по дороге в Boulogne sur Mer, в этот — я верил, — наш обетованный рай, — в канун нашей трудовой жизни: ведь я передал ломбард Добронравову, такого не разжалобит ни заветная икона, не царапнет никакая беда.

В первый раз я читал чувством — сердцем. И только потом, сам исцарапанный, взялся за рассказ — книга раскрылась моим глазам незаметными строчками до последней страницы — читаю слово за словом, всем ртом:

«Что мне теперь ваши законы? К чему мне ваши обычаи, ваши нравы, ваша жизнь, ваше государство, ваша вера? Пусть судит меня ваш судья, пусть приведут меня в суд, и я скажу, что не признаю ничего. Судья крикнет: «Молчите!», а я закричу ему: «Где у тебя теперь такая сила, чтобы я послушался? Зачем мрачная косность разбила то, что всего дороже? Зачем же мне теперь ваши законы? Я отделяюсь». О, мне все равно! Косность. О, природа! Люди на земле одни — вот беда! «Есть ли в поле жив человек?» — кричит русский богатырь и никто не откликается. Говорят, солнце живит вселенную. Взойдет солнце и — посмотрите на него, разве оно не мертвец? Все мертво и всюду мертвецы. Одни только люди, а кругом их молчание — вот земля!»



Катерину я встретил в Симоновом монастыре, — в монастырь приводили порченных и бесноватых, и иеромонах отец Афанасий, крепкий, бесстрастный и беспощадный, в конце обедни (после креста) отчитывал всех под одну молитву отогнания демонов.

И когда подвели ее к чаше, она выкрикнула, и это боль, не проклятие, не демонское имя, а наше человеческое широко — «Алеша» — имя из потерянного рая. И вот в моих глазах — на груди ее окрасилось — с горстку крови, а губы ее окаменели. «Она неподвижно смотрела в воздух, губы ее были сини, как у мертвой, и глаза заволоклись немой мучительной мукой». Ее спутник, в мещанской чуйке, — кто она ему: жена или дочь? — этот суровый справедливый «мещанин» деловито и властно разжал ей рот.

— Имя?

Губы шевельнулись, и мне послышалось: Катерина.

И потом, когда удары трезной молитвы иеромонаха кончились, и стали расходиться, я следил за Катериной и вышел за ней из церкви — они шли вдоль стены к башне, к окаменелому демону — лягушке — старик вдруг обернулся и посмотрел: в его взгляде была такая злость — я как во сне не мог сдвинуться с места.

Эта встреча запомнится. В Петербурге я отыщу на Петербургской стороне, в переулке дом Кошмарова, — на заднем дворе, в нижнем этаже гробовщик.



Кроткая решила освободиться — приложила револьвер к виску спящего мужа и не выстрелила.

Ордынцов поднял нож на старика Мурина, но ударить не мог, и Катерину не освободил.

И ломбардщик, муж кроткой, отказался от дуэли не потому, что трус, и вовсе не потому, как он объяснял себе, — по неловкости, — потому что, а этого не подозревал в себе, — по природе он такой же кроткий, как Катерина, как Ордынцов. Кроткие — это и есть забытые Богом и только озарение утвердит слабое сердце — вдохнет им силу освободить себя, и это озарение — «бунт», — все равно, с образом ли Божьей Матери, или, на свой страх: руки в карман по-карамазовски: «суди меня, если можешь и смеешь!»

Топор Раскольникова

(Опыт медленного чтения)

I

Года за три до начала Второй мировой войны собралось в Париже у гостей-приемных хозяев в доме довольно большое и разнообразное общество говорящих по-русски французских дипломатов и профессоров, русских эмигрантских литераторов, мыслителей, богословов, бывших судебных деятелей и офицеров. В гостях, когда многие из собравшихся впервые встречаются друг с другом, обычно пьют, едят, играют в карты и серьезных вопросов не затрагивают. Так и на этот раз речь шла о том, о сем, а больше ни о чем. Случайно и вскользь разговор коснулся некоторых особенностей русского языка, устарелых оборотов, неупотребительных форм, и кто-то, в пример неблагозвучия и неправильного словообразования, привел двустишие поэта, вообще известного безукоризненной грамотностью, отлично владеющего стихом:

И Раскольников старуху
Зарубает топором.

Все согласились, что «зарубает» звучит во всех отношениях нехорошо. Но, помню, меня поразило тогда, почему никто не заметил другой, неизмеримо более важной оплошности, допущенной в двустишии. А среди присутствующих находились едва ли не все самые лучшие, весьма известные, всеми признанные знатоки Достоевского, напечататавшие одновременно множество статей и книг о его творчестве. Все же, говоря откровенно, удивил меня в тот вечер один только Ремизов, тончайший ценитель художества, справедливо видевший в Достоевском не философа и психолога, как это ныне по печальному недоразумению принято думать, а, прежде и после всего, величайшего художника, писателя высших реальностей. Впрочем, вполне допустимо, Ремизов промолчал, подобно мне, не желая углублять поверхностной беседы, вызывать бесполезного спора.

Я не знаю, справедлива ли моя догадка, и жалею, что никогда потом не говорил с ним об этом. Но мне тогда же пришло на память известное утверждение Ницше, что крайне редко попадаются на свете люди, владеющие искусством медленного чтения.

Настоящий читатель никогда не остается пассивным, он сотворчествоует с художником, зорко следя за развитием темы и фабулы, сопоставляя все детали, не упуская ничего. Осуществлять это чрезвычайно трудно даже при чтении реалистического романа, царившего в прошлом веке над умами и сердцами, и первейшим мастером которого надо считать Льва Толстого. Но при изучении романов-трагедий, романов-мистерий Достоевского, в особенности «Преступления и наказания», где буквально каждая подробность, каждый жест, каждый беглый намек преисполнены бездонного значения, малейшая ошибка читателя прозвучит обрушить им же самим, вслед за автором, возводимое здание.

В реалистическом повествовании читателю не всегда важно точно помнить, кто и от кого сидел направо или налево, кто и с кем поменялся местами и по каким именно внутренним причинам такой-то персонаж доводится, скажем, братом и дядей такой-то героине. Писатель реалистический не обязан обосновывать метафизически, почему те или другие события слагаются в его произведении так, а не иначе. От него мы вправе требовать лишь конкретных, житейски бытовых обоснований им изображаемых явлений. Он творит человеческие характеры, но личности человека, в духовном христианском смысле этого слова, не ведает. Для него собственное творчество развивается стихийно, почти бессознательно, в какой-то мере, безответственно. Он соображает и изображает, думает, но не мыслит. Творческое сознание и, следовательно, полная ответственность служителя искусства возникают там, где начинается художественное мышление, к слову говоря, всячески далекое от каких бы то ни было философских абстракций. По Достоевскому, употребляя его же выражение, мысль, добрая или злая, «наклеивается, как из яйца цыпленок». И если она рождается от добра, то становится частицей высшего бытия и должна быть органичной, как все бытийственное. В отличие от философских мертвенных отвлеченностей, живая мысль облечена в свое особое духовное тело. Художник мышления обладает единственно верным искусством мысли и потому его творения одухотворены.

Реалистический роман изображает земной трехмерный мир людских характеров и природы, тогда как романы Достоевского никого и ничего не изображают, а раскрывают тайны человеческого духа и, познавая их, касаются миров иных. Художник мышления ничего общего не имеет ни с реалистическими течениями в искусстве, ни с так называемой ныне модной экзистенциальной философией, не только легкомысленного и вредного образца, изобретенного, например, Сартром, но и добросовестной, немецкой. Мысль настоящих художников мышления, творчески воплощаясь в слове, совпадает с подспудными, наиглубочайшими бытийственными процессами и становится их живым прообразом. Можно как угодно называть различные методы и отрасли философии, от этого философская мысль, в том числе именуемая экзистенциальной, не сделается инобытием существования — подлинным символом истинного бытия. Такая возможность дарована Творцом только церковному культу, неразрывно сращенному с религиозным обрядом, и высшим духовным стадиям художественного творчества. А философия обречена на абстракции. Она возводит вокруг и по поводу существования религии и искусства свое очередное отвлеченное построение, но не в силах приобщиться к ним, стать их живущим отражением.

1

Где все художественное прочувствовано и, сверх того, проникнуто живым непосредственным мышлением, там воплощенная мысль цепляется за мысль, жест за жест, поступок за поступок, событие за событие, встреча за встречу, как звено за звено, и порвать одно из звеньев значит обрушить все. Поэтому надо знать и твердо помнить, что Раскольников не зарубил ростовщицу, но, очутившись у нее за спиной, проломил ей череп обухом топора. А ростом был убийца намного выше своей жертвы. Таким образом, когда топор с размаху опускался на голову старухи, его лезвие глядело Раскольникову прямо в лицо. Что же, в данном случае, следует вывести из такого положения? Да решительно все, весь ход, весь замысел романа. В произведении искусства, созданном художником мышления, средоточие находится везде, окружность нигде. Проникнутое мыслью художественное творение — живой духовный организм — через любую его деталь постигается в целом. Так, по одному костному суставу может ученый, не боясь ошибиться, мысленно восстановить все кости животного, жившего миллионы лет назад и вообразить его во плоти.

По Достоевскому, человек неизменно обретается в центре мироздания. Для юного автора «Бедных людей» это было так по причинам довольно наивным, всего лишь гуманистическим, но для создателя «Преступления и наказания», для Достоевского, переродившегося на каторге в пламенного христианина, человек навсегда и во всех отношениях становится средоточием вселенной. От его жизни, судьбы и внутренней воли зависит животный мир, вся природа со всеми ее явлениями, климатом и погодой; в особенности подвластны ему изделия человеческих рук. Топор Раскольникова, нож Рогожина, нож Федьки Катормажного, кошелек, лежащий в кармане Ставрогина, пронизаны флюидами своих владельцев. Но только являющаяся во Христе, ясновидящая хромоножка Марья Тимофеевна Лебядкина, живущая в миру отшельницей, способна разоблачить малую часть предметов, начальствизированных злой человеческой волей. Одинаково и добрая воля человека одушевляет вещи, его окружающие. Такова семейственная драдедамовая шаль Мармеладовых, лаков пряничный петушок, которого нес пьяный Мармеладов своим детям, когда был раздавлен на улице лошадьми: «Вообразите, Родион Романович, в кармане у него пряничного петушка нашли: мертвый пьяный идет, а про детей помнит!»

Все, подспудно и явно свершающееся в «Преступлении и наказании» вокруг топора, извилисто и сложно. Черных наваждений этого бесовского подарка в двух словах не выразишь. Именно с него, до поры до времени скромно лежавшего в камерке дворника под лавкой и вдруг блеснувшего в глаза Раскольникову, впервые намечается в романе крушение чрезмерно возгордившегося человека.

Согласно Достоевскому, выходит как будто, что окончательно решившийся на злое дело сразу же, с первого шага, лишается самостояния, теряет свою внутреннюю первородную свободу. Тогда уже не он властвует собой, а кто-то другой владеет им. Стоит только по совести разрешить себе пролитие крови, как этот другой, в просторечии именуемый чёртом, свертает нас в круговорот роковых встреч, положений и событий и неизбежно влечет к преступлению. Нельзя ни на минуту забывать, читая «Преступление и наказание», «Бесов» и «Братьев Карамазовых», что в свои зрелые годы, после духовных прозрений, посетивших его на каторге, Достоевский по средневековому, подобно Гоголю, верил в реальное существование дьявола. Человек ответственен перед людьми и Богом не за фактически

совершенное им убийство, но за помысел, по совести оправдавший еще неосуществленное злодеяние. К «Преступлению и наказанию» следовало бы поставить эпиграфом четверостишие Баратынского, прямого предшественника Достоевского:

Велик Господь! Он милосерд, но прав.
Нет на земле ничтожного мгновенья.
Прощает Он безумию забав,
Но никогда пирам злоумышленья.

По догадке и Баратынского и Достоевского не за злое деяние, а за злое умышление карает нас Бог. Нет ничтожного, иначе говоря, случайного мгновения, и все, свершающееся в мире, заранее предуготовлено в наших душевных недрах. Недаром Иннокентий Анненский, глумя все постигший творчество Достоевского, утверждал, что автор «Преступления и наказания» не только всегда разделял человека и его преступление, но не прочь был даже противопоставлять их друг другу. Не сам человек, а по его вине вошедшая в него злая потусторонняя сила вершит преступление. На этом Достоевский настаивает упорно, многократно. Ведь уже отточив, как бритву, свою казуистику, свое оправдание преха, по совести разрешив себе пойти и прикончить «вредную старушонку-процентщицу, заедающую чужой век», Раскольников все еще не верит, что вот он сейчас встанет, пойдет и, действительно, убьет ее. «Он просто не верил себе, — пишет Достоевский, — и упрямо, рабски искал возражений по сторонам и ощущую, как будто кто его принуждал и тянул к тому. Последний же день, так нечаянно наступивший и все разом порешивший, подействовал на него почти совсем механически: как будто его кто-то взял за руку и потянул за собой, неотразимо, слепо, с неестественной силой, без возражений. Точно он попал клочком одежды в колесо машины и его начало в нее втягивать».

Раскольников сочинил свою убийственную теорию в слепом отъединении от людей, лежа в нищенской каморке. Но «нехорошо человеку быть одному». Непрерываемую правду этих библейских слов Достоевский всецело познал на себе, когда в ранней молодости, проходя через подпольный опыт, погибал в своем постылом одиночестве. Смертный прех порядки, прех утверждения себя вне Бога настигает нас в уединении. И всеми своими творениями Достоевский говорит нам: «Живите с людьми, будьте с ними всегда. Лучше жить по нищенским углам в тесноте и темноте, враждовать друг с другом, мириться и снова враждовать, чем оставаться в одиночестве». Черт легче всего соблазняет одиночек. Отторженный от соборности, одинокий человек теряет веру и впадает в страшный прех самообожествления, потому что, согласно диалектике Достоевского, если нет Бога, то я Бог. Но неверие нисколько не мешает быть суеверным. Напротив, атеизм неминуемо приводит нас к суеверию. На первый взгляд странно и крайне парадоксально это звучит, но для Достоевского суеверие совсем не есть тщетная вера, направленная мимо Бога в пустоту. Нет, оно есть обличение злых реальностей, оно не что иное, как вера в дьявола и его приспешников. В «Бесах», на вопрос Ставрогина, можно ли, не веря в Бога, верить в существование бесов, епископ Тихон отвечает: «Очень можно и даже очень часто так бывает».

Порабощенный своей казуистикой, Раскольников сделался суеверен, он стал примечать, что чья-то темная таинственная воля завладевает им. «И во всем этом деле, — говорит Достоевский, — он всегда наклонен был видеть некоторую

как бы странность, таинственность, как будто присутствие каких-то особых влияний и совпадений».

Однако эти злые влияния и совпадения свершаются совсем не прямолинейно и не всеобъемлюще: с ними вступают в борьбу светлые ангельские силы, ниспосылаемые Богом, никогда не покидающим нас даже в низжайших наших падениях. Влекомый к преступлению неведомой властью, истерзанный противоречивой борьбой с собственной совестью, в глубине своей не принимающей оправдания преха, Раскольников возвращался домой после бесцельной, вернее же, не достигшей своей цели прогулки. Дойдя до Петровского Острова, он остановился в изнеможении, свернул в кусты, пал на траву и в ту же минуту заснул. Он увидел страшный сон о истязаемой пьяными мужиками лошади. Эта привидевшаяся ему во сне, насмерть забитая, ни в чем не повинная тварь олицетворяла собою душу Раскольникова, им же самим растоптанную, искалеченную его же злыми решениями. Это она — душа Раскольникова — силилась сбросить с себя путы навязанных ей умствующих теорий, мертвых абстракций. Ум, оторвавшись от сердца, губит нас. Он предается тогда духовному бунту и восстает на образ Божий, вложенный в нас Создателем. Оторванный от жизни сердца, отвлеченный, идеалистический ум превращается в завистливого лакея, ищущего гибели своего господина. Потому, между прочим, абстрактный, философический подход к творениям Достоевского не различает в них главного, а именно: высшей духовной пневматологической стадии художества, ничего общего с философией не имеющего и чуждого, временами даже враждебного всему психологическому, душевно-телесному.

2

Очнувшись от ужасного сна, Раскольников почувствовал, что сбросил с себя мертвое бремя преступных измышлений «и на душе его стало вдруг легко и мирно. Господи, — молил он, — покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой... мечты моей».

Вот мгновение божественного вмешательства, знамение, данное свыше! Но inferнальная воля не дремлет. Слишком далеко зашел духовный бунт Раскольникова, слишком глубоко пустил он корни в его душу и нет уже хода назад! Надо неминуемо пройти теперь через кровавый опыт. Все же, предельная последняя глубина человеческой души, ее сердцевина, созданная по образу и подобию Божьему, остается непричастной преху. Оттого и возможно конечное раскаяние преступника.

Иннокентий Анненский в своей «Первой Книге Отражений» говорит: «Чёрт вошел в «Преступление и наказание» лишь эпизодически, но в мыслях место его было, по-видимому, центральное и, во всяком случае, значительное. Это несомненно». Странно было бы сомневаться в глубочайшей верности этого замечания, когда сам Достоевский вкладывает в уста Раскольникову роковые слова: «Я ведь и сам знаю, что меня чёрт тащил... Старушонку эту чёрт убил, а не я...»

Тут не пустая отговорка, не наивная попытка сложить с себя вину, хотя бы на кого-то, в действительности не существующего, тут подлинное свидетельство человека, прошедшего непосредственно через преступный опыт, переступившего через запретный порог и познавшего на себе власть темного потустороннего, но абсолютно реального существа. И, как окончательное разъяснение, как вывод из этого правдивого свидетельства, звучат ответные слова Сони Мармеладовой: «От Бога вы отошли и Бог вас поразил, дьяволу предал».

Изучая художественное произведение, нужно, прежде всего, не отрываться от текста, надо срастись с автором, сотворчествовать с ним, отложив попечения о критике, потому что где критика, там и критерий — заранее готовая искусственная мерка, прилагаемая к искусству, не ведущая, во всяком случае, к постижению творчества.

Сочиненная Раскольниковым теория, со ссылкой на Наполеона, сама по себе стоит немного; это всего лишь *“une théorie comme une autre”*, сфабрикованная в оправдание одинокого, надменно гордого лежания в убогой конуре. «Был он очень молод, — пишет Достоевский о своем герое, — и, следовательно, отвлеченен». Из молодой отвлеченности Раскольникова является его бездушное отношение к людям, как к фигуркам из папье-маше, которых можно переставлять на доске или валить по собственному произволу. Привязанность Раскольникова к сестре и матери далека от любви к близкому, завещанной нам Евангелием. Это привязанность, не освященная религиозным сознанием, почти полностью биологическая, душевно-телесная. Родственные кровные связи не ведут нас к духовному просветлению, но, напротив того, препраждают нам путь к нему. Не потому ли сказано Спасителем: «И враги человеку домашние его».

Письмо от матери, полученное Раскольниковым за день до того, как убил он ростовщицу, не только не удержало его от убийства, но еще способствовало преступлению. Не материнскую нежность почерпнул он из письма, но злобу и ненависть ко всему и ко всем за то, что оно напомнило ему, в какой бедности жилось сестре и матери. Он вынес из него лишний довод к оправданию своего злоумышления. Между прочим, мать писала, что высылает ему тридцать пять рублей — сумму, на которую можно было скромно прожить в те времена целый месяц. Таким образом, ходом самой жизни отнималась у Раскольникова возможность сослаться хотя бы на неотложную материальную нужду. Казалось, он стоял перед свободным выбором между светом и тьмой. Но уже слишком глубоко проникло в его сердце им же самим возжеланное зло. И вот, по получении письма и тотчас после свыше ниспосланного сна о замученной лошади, завладевает им «дух глухой и немой».

Начались для Раскольникова роковые встречи и совпадения, зачатые в его неисследимых, недоступных сознанию, душевных недрах, подготовленные к осуществлению в жизни его, зараженной смертным грехом, подспудной волей. Но уже не он владел судьбою, а неведомая, неотвратимая сила, вошедшая в него, управляла за него событиями, подтасовывала совпадения и порождала встречи. «Впоследствии, — пишет Достоевский, — Раскольникова до суеверия поражало одно обстоятельство, хотя, в сущности, и не очень необычайное, но которое постоянно казалось ему потом как бы каким-то предопределением».

Здесь оговорки — «хотя, в сущности, не очень необычайное» и «как бы каким-то» сделаны Достоевским лишь для художественного смягчения своей настойчивой мысли о несомненном, о совершенно реальном присутствии дьявола в мире и в нас.

Сновидение о лошади успело лишь на мгновение вразумить Раскольникова. Не он, но тот, другой, невидимый и страшный, предопределял теперь развитие дальнейших обстоятельств, осуществлял его злые вождения. Раскольников никак впоследствии не мог понять и объяснить себе, почему усталый, измученный, он вернулся домой с прогулки не кратчайшей дорогой, но сделал лишний крюк, «очевидный и совершенно не нужный». «Он спрашивал себя потом всегда, — говорит Достоевский, — зачем же такая важная, такая решительная для него

и, в то же время, такая, в высшей степени, случайная встреча на Сенной (по которой даже и идти ему незачем) подошла как раз теперь, к такому часу, к такой минуте в его жизни, именно к такому настроению его духа и к таким именно обстоятельствам, при которых только и могла она, эта встреча, произвести самое решительное, самое окончательное действие на всю судьбу его? Точно тут нарочно она поджидала его?»

Здесь, под «таким настроением его духа», Достоевский понимает обращение Раскольникова к Богу с просьбой указать ему истинный путь. Почему же именно к этой минуте подошла такая «в высшей степени случайная встреча»? Потому, прежде всего, что эта встреча в высшей степени не случайна, как совсем не случайно и то, что подошла она тотчас после обращения Раскольникова к Богу. Все это связано с неподвижным, как сама истина, раз навсегда обосновавшимся утверждением Достоевского: «Душа человека — arena борьбы Бога и дьявола».

В сущности, «Преступление и наказание» сводится в целом к сложнейшему показанию и обоснованию этого утверждения. За приливом — отлив, за небесным воинством — бесы, а имя им — легион.

Повторяю, необходимо с неустанной, исключительной зоркостью следить за развитием повествования Достоевского. Он часто довольствуется будто бы случайно брошенным замечанием. Нужно очень считаться в его творениях даже со знаками препинания. Иногда какое-нибудь многоточие прикрывает неизведанные миры, бездонные, по своему значению, возможности. Но если Достоевский задерживает вдруг стремительное нарастание происшествий и начинает как бы топтаться на месте, настойчиво растолковывая те или иные положения, то тут надо напроцвет все помыслы и чувства, чтобы ничего не упустить. И, в итоге, всегда получается, что казавшееся нам ничтожным, совсем не ничтожно. Причем, из воли Бога мы не выходим даже, когда, по выражению Сони Мармеладовой, Он предает нас за грехи дьяволу. Но тогда мы лишаемся внутренней свободы, дарованной нам Небом, и, поскольку упорствуем во зле, теряем власть над событиями, становимся ипсалищем судьбы, рока. Здесь я хочу раз и навсегда подчеркнуть, что, по-моему, самая важная, главная, ценная и неповторимая особенность гения Достоевского — это его способность бесстрашно разворачивать перед нами свиток нашей совести, который, по замечанию Иннокентия Анненского, только мерещился Пушкину (в «Воспоминании», в «Борисе Годунове», в «Скупом рыцаре», в «Русалке»). Другая, не менее важная способность Достоевского — творчески показывать, что в свернутом свитке совести, пребывающем в глубинах человеческого духа, заранее намечается нашими помыслами, мечтами и желаниями все, что потом случается, вернее, неизбежно происходит с нами в жизни. Одним словом, все происходящее с нами обретается в нас, и потому места для справедливого ропота на Бога и людей в свитке нашей совести не имеется.

3

Дойдя до Сенной площади, Раскольников увидел мещанина и бабу, торговавших тут мелким товаром. Они разговаривали с подошедшей женщиной. Это была давно знакомая Раскольникову Лизавета, младшая сестра той самой старухи процентщицы, к которой еще вчера заходил он под благовидным предлогом, чтобы, по возможности, заранее перед убийством высмотреть обстановку. «Когда Раскольников вдруг увидел Лизавету — пишет Достоевский — какое-то странное

ощущение, похожее на глубочайшее изумление, охватило его, хотя во встрече этой не было ничего изумительного».

Да, если смотреть на явления глазами повседневными, одноплановыми, то ничего не найдешь в этом удивительного. Лизавета давала на продажу белье и платья собственного шитья мещанам, торговавшим недалеко от квартала, в котором проживали и она и Раскольников. Чему же так изумиться? Но для Достоевского мир не только трехмерен, как для художников душевно-телесного склада — Тургенева, Льва Толстого, Флобера, Мопассана, Чехова — но еще и трехпланен.

Достоевский как художник вырастает органически из жизни живой, воспринимаемой им одновременно в трех, как бы сквозных, взаимопроникаемых планах: в явном земном, в небесном ангельском и, наконец, в мытарственном inferнальном. Эти три плана, пребывая в непрестанном взаимодействии, взаимовлиянии, представляют собой не умозрительные категории, не безответственную фантастику в стиле немецкого писателя Гофмана, а некий трехликий вселенский процесс, всеохватное, трояко отраженное, духовно-телесное брожение, высшую реальность, сверхъясное бытие, выразителем которого, по праву, почитал себя автор «Преступления и наказания». Недаром занес он в свою записную книжку: «Меня зовут психологом. Неправда! Я писатель высших реальностей».

Достоевский — пневматолог, визионер, духовидец. Он улавливал в человеческой душе сокровенные движения, дуновения, недоступные восприятию психолога и психиатра. Раскольников при встрече с Лизаветой испытал глубочайшее изумление, не поняв его страшного значения. Это сделал за Раскольникова Достоевский.

Лизавете исполнилось к тому времени тридцать пять лет. «Она работала на сестру день и ночь, состояла в доме вместо кухарки и прачки и, кроме того, шила на продажу, даже полты мять нанималась и все сестре отдавала». Словом, она была кротка, покорна и совершенно безответна. Именно таким смиренным существам суждено бывает от Бога стать прообразом Жертвы Закланной. Погруженные в свои очередные дела, мы просто не замечаем таких, нас окружающих прообразов Голгофской Жертвы. Но предельное напряжение всех нервных и душевных сил накануне всерешающего дня приоткрыло в душе Раскольникова некую дверцу, ведущую если не к постижению, то, по крайней мере, к возможности молниеносного восприятия вневременных сущностей. Встретясь с Лизаветой, внезапно ощутил Раскольников за ее будничным, обращенным к людям и привычным для него обликом мещанки ее сияющий нумеральный лик, сотворенный по образу и подобию Божьему. Раскольников не мог его не ощутить, и не только потому, что это был данный ему с Неба последний предупреждающий знак, а еще и потому, что наши внутренние духовные и злодуховные решения опережают земные события и явления. Истинно реальные свершения происходят там, в душевной глубине; здесь же, на поверхности, лишь их отражения и подтверждения. В провалах своей мрачной, упрямой души Раскольников, сам того не сознавая, уже обрекал Лизавету на смерть.



Кому не случалось, войдя в незнакомую ему дотолу квартиру, вдруг почувствовать, что вот эти самые комнаты он уже видел где-то. Совсем как у Алексея Толстого:

Все это было когда-то,
Но только не помню когда.

Ныне у психологов на такие чувства имеются готовые ответы, основанные на довольно смутной игре понятиями сознания и подсознания. Но никакие психологические толкования не удовлетворили бы Достоевского, полагавшего, что можно, идя и обратным путем, от окружающей нас наружной обстановки, от отражения к сущному, постигать то или иное духовное состояние человека. Так, кабинка, каморка, клетушка, каюта, в которой проживал Раскольников, всего лишь фотография его духовно уже отпылавшего и прогоревшего восстания на Бога. Не нищенская конура доводит Раскольникова до злодеяния, а назревающее в нем злоумышление приводит его к проживанию в ней. Пульхерия Александровна — мать Раскольникова — невольно и бессознательно подводит итог всем названиям, данным комнатухе его сына: «— Какая у тебя дурная квартира, Родя, точно гроб». И в высшей степени знаменательно, что именно мать, как будто случайно оброненным словом, на самом же деле наитием разоблачает тесную домовину своего преступного детища. Пордьня, в неисследимую пору отрочества овладевшая Раскольниковым, постепенно отъединяет его от солнца живых, обволакивает его душу пробным коконом. Этот бесовского изделия злодуховный, непроницаемый покров проектируется вовне, отражается в мире явлений житьем Раскольникова в одинокой каморке. Он дан ему прехом взамен благословенной материнской утробы для второго мертвого рождения, приводящего преступника на каторгу — в мертвый дом. Такая злая пародия на рождение делает Раскольникова убийцей, попружает его в темные области нестерпимых мытарств, прерываемых лишь изредка, на отдельные мгновения, вторжением Божественной воли, ангельским светом, ниспосылаемым прещнику в залог возможного спасения через посредников и проводников запредельных райских сущностей: малых и взрослых детей, нищих духом, без вины страдающих жертв, закланных во искупление грехов погибающего ближнего. Но преисподняя бдительна и, в противовес небесному вмешательству, она изрыгает своих посредников и приспешников в образе людей, подобных самому Раскольникову, его злых двойников, из которых главный — Свидригайлов, оглушенный прехом, нематниченный адом, ведет, сам того не ведая, борьбу с Небом за обладание убийцей, одним своим присутствием и примером помогая преступнику нераскайнно утвердиться во зле.

Здесь нельзя не спросить тех, кто, наперекор очевидности, видят в Достоевском психолога: какое же отношение к психологии имеет такое многосложное, в трех планах возведенное, мистическое здание? Допустимо ли вообще относить Достоевского к той или иной категории художников, или, еще того лучше, философов, ни разу не посчитавшихся с его собственным мнением, ясно и категорически выраженным? Он назвал психологию палкой о двух концах: схватишься за один конец, а другим крепко стукнешь себя же самого по лбу.

Исследования психолога и психиатра движутся по плоскости несомненно существующей, но все же именно по плоскости, тогда как у явлений имеется второй метафизический смысл, и не плоский, а неисчерпаемо глубокий. Достоевский всегда сопоставлял видимую плоскость с ее мистериальной основой и неуклонно устанавливал между ними параллель, предоставляя поверхностному читателю тешииться внешним ходом фабулы и даже, при случае, психологией, над которой автор «Преступления и наказания» и «Братьев Карамазовых» так жестоко издевался в лице врачующего Раскольникова доктора Зосимова, прокурора и адвоката Мити Карамазова и судебных психиатров, никогда не соглашавшихся друг с другом, зато дружно пренебрегающих всем истинно сущим.

Для зрелого, прозревшего на каторге Достоевского душа человека была не-

изменно таинственной сферой, пронизанной ангельскими и демонскими силами. По Достоевскому, все, свершающееся в нашей духовной бездонности, неотъемлемо от того, что предпринимается преисподней и решается на небесах. Проходя в ежедневной жизни через величайшие сомнения, он как художник, как творец только то и делал, что обличал существование ада и рая и непрестанное общение с ними человеческой души, проходящей через земной опыт. Достигал он этого не столько непосредственной верой в Бога, слишком часто в нем искушаемой, сколько художественной интуицией, идя, как подобает истинному художнику, путем Прометея, похищая небесную искру. Однако у служителя искусства значение таких похищений безмерно усложняется тем, что, по слову Баратынского, им сопутствует глубокая мука — «таинство печали и спрадания». На благодатности и, следовательно, на необходимости таинства страдания Достоевский, как всем известно, упорно настаивал, утверждая тем самым, что люди в глубине своей духовны. Оттого, между прочим, он устанавливает положение чрезвычайной важности, с которым все еще не хочет считаться в эпо творчестве большинство исследователей: *не болезнь порождает злой умысел, а злой умысел порождает болезнь*. Преступление же, как таковое, вершится человеком уже в состоянии одержимости, что несколько не снимает с преступника ни метафизической вины, ни ответственности перед людским судом. Болезнь возникает на путях преха. Сопрешая, мы лишаемся первородной свободы, мы становимся рабами собственных пороков и злых желаний. Болезнь, в том числе и психическая, всего лишь видимый наружный признак духовного рабства, содеянного преха.

Нельзя отыскать настоящего подхода к творчеству Достоевского, не приняв всего этого к спрожайшему руководству.

4

Возвращаясь домой и проходя по Сенной площади мимо Лизаветы, беседовавшей с торговцами, Раскольников услышал, что они стовариваются встретиться друг с другом, как узнал он потом, по самому обыкновенному делу о перепродаже кому-то каких-то вещей.

«— Приходите-тко завтра, в часу сегом. И те придут, — говорил мещанин. — Хорошо, приду, — ответила Лизавета».

«Раскольников, — добавляет автор, — проходил тихо, незаметно, стараясь не проронить ни одного слова».

Это замечание, сделанное как бы мельком, лишний раз показывает, с каким пристальным вниманием, не пропуская ничего, следует читать Достоевского. Он не пишет философских сочинений, как это принято думать до сих пор, но творит особое искусство, редчайшее искусство мысли. Он пронзительно, неправдоподобно умен и одновременно изощренно хитер в приемах, приступая к повествованию всегда издалека, раскидывая предварительно сети головокружительной по сложности интриги, подводя к средоточию своих замыслов обиняком, намеренно многого не договаривая, довольствуясь часто намеком, оставляя, таким образом, читателю обширное поле для сотворчества, принуждая его неустанно трудиться, быть крайне бдительным, никогда умственно не дремать.

Достоевский имел все права и основания требовать этого от нас потому, что сам, по верному замечанию Г. В. Адамовича, был охвачен умственной духовной бессонницей. Ему не до передышек, он лихорадочно торопится, спешит разрешить

многосложную задачу жизни, заданную человеку Богом, мало отпустившим на то драгоценных дней своему творению и подобию. Достоевский редко говорит о смерти, тем более, что для него и ад и рай и чистилище ежечасно подают нам весть о себе через своих посредников, через нас же самих — носителей света и тьмы, греха и святости. В нашей духовной бесконечности отражается для него весь потусторонний мир, вся вселенная, стоит только приглядеться к земному существованию, прислушаться к биению человеческого сердца. Достоевским всецело владеет антропоцентризм: через человека и самим человеком будет подведен итог всему вселенскому процессу. Вот и тут, своим спешно брошенным замечанием, Достоевский вплотную подводит нас к столкновению ангела и демона в душе Раскольникова. Ведь только что видел Раскольников провиденциальный сон о замученной лошади, только что молился Богу избавить его от наваждения, послать ему силы отречься от злого умысла, от преступной мечты, и, тотчас после этого, как тап, проскальзывает он мимо Лизаветы, хищно подслушивая чужой разговор, узнавая со всей точностью, как ему казалось, когда именно ростовщица останется дома одна и можно будет, наконец, не боясь быть застигнутым врасплох, осуществить задуманное преступление...

«Первоначальное изумления его, — продолжает Достоевский, — мало-помалу сменилось ужасом, как будто мороз прошел по спине его. Он узнал, он вдруг внезапно и совершенно неожиданно узнал, что завтра, ровно в семь часов вечера, Лизаветы, старухиной сестры и единственной ее сожительницы, дома не будет и что, стало быть, старуха, ровно в семь часов вечера, *останется дома одна*».

Здесь, в переходе от глубочайшего изумления к ужасу, мистическому ужасу перед воровски подслушанным роковым известием, выражается подспудное знание Раскольникова о происходящей в его душе борьбе ангельских и демонских сил. Это отражение на поверхности того, что не доходит до рассудка, но безошибочно ведомо внутреннему «я» Раскольникова: его глубина знает, ареной борьбы кого и с кем она сейчас была. Но темные замыслы, взращенные в уединении гордыней, успели укрепиться в его сердце, и чёрт уже влечет свою жертву к злодеянию.

«Он вошел к себе, как приговоренный к смертной казни. Ни о чем он не рассуждал и совершенно не мог рассуждать, но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него более ни свободы рассудка, ни воли, и что все вдруг решено окончательно».

«Как приговоренный к смертной казни!» Тут опять обнаруживается постоянно воплощавшаяся Достоевским интуитивная творческая мысль о том, что все, происходящее в нашей глубине, рассудку недоступной, все, свободно решенное и разрешенное совестью, предопределяет нашу явную судьбу, вплоть до одежды и обуви на нас, вплоть до ложек и плошек.

Не только тот, кто фактически убил, но тот, кто лишь оправдал по совести возможность убить своего ближнего, уже казним метафизически. Эта сущая находка Достоевского стала одним из главнейших двигателей его творчества: корень водяного растения укрепляется в земле под водою, а его листья на водной поверхности — лишь прообраз корневых подводно-подземных волевых усилий.

К смертной казни, метафизически настигающей преступника еще до свершения задуманного злодеяния, Достоевский снова возвращается, когда Раскольников с топором, подвешенным в петле под пальто, идет убивать старуху и инстинктивно, от нестерпимого страха перед уже неизбежным убийством, перед надвигающейся катастрофой, старается думать о чем-нибудь постороннем. «Так,

верно, те, которых ведут на казнь, прилепляются мыслями ко всем предметам, которые им встречаются на дороге», мелькнуло у Раскольникова в голове, но только мелькнуло, как молния; он сам поскорее погасил эту мысль».

Эти слова Достоевского необходимо сохранить в памяти, как один из ключей к дальнейшему развитию событий. Ведь, значит, не совсем превратился Раскольников в автомат в когтях у чёрта, когда могла еще мелькнуть у него такая мысль и когда сам он добровольно погасил ее поскорей. Что это? Шествие с чёртом заодно, по согласию, или же только безнадежное ощущение над собою его полной власти, сознание того, что поздно теперь сопротивляться, и, следовательно, лучше не думать?

Вероятнее всего и то и другое вместе. Ожидайте после этого богатой жатвы от занятий психологией! Нет, «слишком широк человек, не мешало бы его и сузить», восклицал Достоевский. Очевидно одно: иррационального и сверхрационального начала в нас ни под какую психологическую мерку не подгонишь.

5

Все творческие силы Достоевского сосредоточены на познании личности человека, бездонной, неразгаданной, по-христиански им восприимчивой. Характер же и все его проявления в нас, как раз то, что подлежит психологическому исследованию и что всегда и всецело поглощало внимание писателей душевно-телесного склада, для Достоевского лишь досадная накипь на человеческой душе, мутная пленка, мешающая подлинному постижению личности. Что же касается «типа», — излюбленное словечко школьных пособий по изучению литературы, — то о таковом, при чтении Достоевского, надо забыть, как о чем-то умертвляющем живую взрывчатую личность, неизменно пытающуюся сбросить с себя вековые личины, надетые на нее гуманистическими, романтическими и прочими измышлениями, стремящуюся в процессе жизни, по выражению Достоевского, «огоршить Шиллера» и обратиться на жизненном опыте гуманистические теории в пустопорожнее «гу-гу». Тут для Достоевского приподны все средства, вплоть до пьяного беспутства Лебядкина и наглых выходов, переходящих в открытый скандал, таких злых шутов, как Федор Павлович Карамазов и Фердыщенко. Моральному безобразию и шутовству некоторых своих персонажей Достоевский, вне всякого сомнения, тайно сочувствует. Они помогают ему сорвать с человека многовековые маски, бутафорские альмавивы и шпаги, уличить представителя науки в наигранных позах, выставить напоказ фальшивую условность салонного воспитания, ловко укрывающего зловонные прешки и пороки, смрадные душевные утолчки. С помощью злого шута — опустившегося «бывшего» человека, лицемерно отверженного обществом, Достоевский высмеивает абстрактное, внежизненное кипение таких устроителей общественного счастья, как Белинский, утопистов, вроде Чернышевского, с их пошлейшими хрустальными дворцами, ловит «бескорыстных борцов за свободу, рыцарски преданных народу» на злобе и ненависти ко всему, что не похоже на их «беспардонный» и бездарный русский нигилизм. Все эти, по мнению «прогрессивно настроенных людей», реакционные выпады Достоевского нисколько не мешают ему больно зацепить по дороге царского сановника в блистательных орденах, прикрывающих мелкую пошлость и беспросветную глупость своего носителя. Но грубо ошибается тот, кто думает, что Достоевский занимается такими разоблачениями ради исправления нравов и

сатирических бичеваний. Нет, он стремится сорвать с нас плотно пригнанные веками условные маски, его цель — раздеть человека *духовно* донага и увидеть воочию, кто же он такой, по существу, в самом сущном, в беспредельной глубине, данной ему не природой, а Богом, в глубине, недоступной разуму и лишь ощутимой по-христиански любящим сердцем.

Да, в поисках совершенной религиозной правды о человеке Достоевский чувствует не только шутам и скандалистам, но даже наемному убийце, грабителю церковей — Федьке Каторжному, ставшему таковым не столько по природной склонности к злым умыслам, сколько по вине своего либерального барина, отдавшего его в солдаты в уплату за карточный долг. Скандалы, пороки, уголовные преступления неизменно таят в себе какое-нибудь неисцелимое духовное оскорбление, нанесенное так называемой падшей личности самодовольно моральным, лицемерным и безбожным человеческим коллективом, ненавистным автору «Записок из Мертвого дома», предстателю отверженных. И уж никак не случайно, что именно Федька Каторжный, убийца по ремеслу, расхититель церковных святынь, наделяет по праву, данному ему Богом, увесистыми пощечинами возмездия социальной революции — убийцу по убеждению — Петра Верховенского, утаскившего в себе последние признаки совести.

Имена отчества и фамилии в творениях Достоевского почти всегда преисполнены глубочайшего смысла и определяют не характер, а личность того или иного персонажа. При этом очень важно отметить, что Достоевский собственным именем, данным ему самому при крещении, называет злого и развратного шута Федора Павловича Карамазова, беглого каторжника Федьку и даже переделяет «Федора» в фамилию Фердыщенко, выказывая этим сочувствие наглому цинику из «Идиота», отдавая ему предпочтение перед Тощким, прикрывающим мерзость душевного запустения изысканством салонных манер и благоприличными о себе рассказами. Но что интимно руководило при этом Достоевским? Прежде всего, конечно, прямое и ясное сознание того, что все персонажи его произведений, написанных по возвращении из Сибири, являют собою осколки его самого — взорванного грехом Адама. Бывший гуманист просветительного толка, преданный в молодости пропагандному атеизму Белинского, Достоевский вернулся с каторги пламенным христианином, каковым, впрочем, он, сам того не сознавая, был внутренне всегда.

Достаточно ознакомиться с письмами юного Достоевского к брату, весьма не чуждыми напористого хвастовства и призрачных мечтаний о Кларушках и Мишушках, чтобы понять, с каким затаенным презрением к самому себе казнил он в лица Тощкого свои подпольные грезы о салонах и сюсюкающих аристократах, а в лица Петра Верховенского свою революционность, граничащую с прямой «нечаевщиной», недалеко от того, что ныне все мы называем большевизмом.

Разбойник Федька, вопреки стараниям Верховенского, революционером не сделался и, несмотря на свои преступления, а, быть может, как раз благодаря им, остался верующим в Бога великим грешником.

Достоевский прибыл на каторгу неверующим или, вернее, не осознавшим собственной веры. Сознательно принимать страдание во искупление грехов, смиряться и верить во Всевышнего научили его отверженцы, убийцы. С каторги, из ссылки и солдатчины, Достоевский вернулся в Петербург величайшим художником со Христом и во Христе. Кого же было благодарить ему за чудесное превращение? Во всяком случае, не Белинского и не «светлую личность» из

«Бесов», возросшую среди народа и бежавшую потом за границу «от царя шпигцов и ката», чтобы распространять оттуда среди русского простонародья в унылых серых шпартгалках ненависть к церкви, семье и государству.

Достоевский до самого гроба сохранил в сердце великую любовь и уважение — да, и уважение — к отверженным, «несчастненьким», к убийцам и грабителям, вернувшим ему носимый им в душе с ранних лет истинный образ Христа, временно в нем помраченный стараниями Белинских. По прибытии на каторгу, еще напитанный модными гуманистическими идеями, писал Достоевский жене декабриста Фонвизина благодарственное письмо за присылку Евангелия, называя Христа ни более ни менее, как «симпатичной личностью». Далекий же путь предстояло проделать ему от такой невыносимой пошлости до того, чтобы постичь сущность христианства — огня небесного, сжигающего все человеческое, слишком человеческое.

К самому концу шестидесятых годов Достоевский все ближе и ближе подходил к церкви, пытаясь от всего сердца, измученного сомнениями и маловерием, сделаться вполне церковным. И когда заговорил он в «Бесах» о чудотворной иконе Божией Матери, поруганной Петром Верховенским, о святине, чтимой простонародьем и еще не совсем разложившимися барами, то каждому стало ясно, с кем заодно и против кого оказался бывший политический ссыльный, каторжанин Федор, давший свое имя варнаку, памятуя слова молитвы перед причастием: «Яко разбойник исповедую Тя». О, только как разбойник, не больше, ибо из всех грешных самый грешный «есмы аз».

Таким стал, точнее сказать, почти стал Достоевский к началу семидесятых годов. Но в разгаре работы над «Преступлением и наказанием» и по окончании этого романа в 1866 году он только нерешительно приближался к церковной ограде. Церковь не была для него тогда неопровержимым столпом и утверждением истины, к которому всеми своими душевными силами надо стремиться, вопреки сомнениям и маловерию. В «Преступлении и наказании» — разливной огонь христианства, пожар, пожирающий обветшалые для Достоевского гуманистические надежды. Однако приближения к оформлению христианства, к единственно истинной церковной дисциплине, там нет. И, думается мне, что их Достоевский никогда полностью достичь не мог. За его молодую, но вполне преступную революционность, за нечаевщину, по совести им оправданную, ему навсегда дано было Богом жало в дух: он остался на церковной паперти перед настежь открытой дверью, ведущей в храм, но через заветный порог всем сердцем, всей душой не переступил. Отсюда произошло его, не до конца проясненное, «неохристианство», справедливо осужденное Константином Леонтьевым. Все же, возгоревшееся в Достоевском как в художнике христианское пламя, было безмерно велико и только оно одно согревало творческий очаг этого гения.

В лице Раскольникова автор «Преступления и наказания» пытался победить свой собственный душевный раскол, преодоление которого началось еще на каторге и в ссылке, когда мучительно медленно, через познание мистической сути зла, совершалось в бывшем гуманисте-революционере рождение нового, духовно-преображенного существа. К христианству Достоевский пришел от обратного — от познания зла к религиозному освящению добра. С этим связана настойчиво проводимая им мысль, нигде не выраженная прямолинейно, но подспудно ощущаемая в его творениях везде: лучше в жизни не видеть добра, чем не видеть зла. К этому положению сводится, например, основная тема «Идиота».

Творчески созревший и прозревший на каторге Достоевский никогда не мог простить себе гуманистической слепоты. Гуманист просветительского толка полагает, что единственная причина мирового зла обретается в социальной несправедливости, в общественном настроении. Стоит правильно поделить между всеми земные блага, главным образом, материальные, и зло само собою исчезнет. Какая жалкая немогущая теплота! Ее носителей не только Бог изблюдает из уст Своих, — от нее уже тошнит любого мало-мальски живого человека.

На каторгу Достоевский прибыл с довольно легковесной идеологией в голове, унаследованной от кружка Белинского и подпольного сообщества Петрашевского. И вот, вдруг, на тюремном опыте, на примере немногих вполне закоренелых преступников, бесповоротно самоутвердившихся вне Бога в гордыне, увидел Достоевский, что есть на свете, выражаясь несколько условно, бескорыстное зло, творимое ради зла, *le mal gratuit*. Достоевский постиг, что это зло происхождения нездешнего, что его корни уходят в потустороннее, что существует некое вселенское средоточие преха — невидимый некто, вмещающий в себя и олицетворяющий собою абсолют зла. Не будь Достоевский гением, человеком, отмеченным свыше и предназначенным к особой миссии, он, подобно Раскольникову, суеверно ощутил бы присутствие в мире духа глухого и немного и застыл бы на этом, или, быть может, по примеру Ставротина, уверовал бы в существование беса, не веруя в Бога. Но сияющий образ Христа, посетивший Достоевского в детстве, не покидал его никогда, даже в годы его низжайшего падения.

На каторге увидел Достоевский не только отверженных, самоутвердившихся в несокрушимой гордыне, но и других, научивших его смиряться и молиться. Он видел, как эти люди, затвердевшие во зле, во время великопостного богослужения падали на колени при молитве, произносимой священником, воспринимая сердцем покаянные слова о разбойнике в буквальный, в непосредственном применении к самим себе. Тогда-то вне всякого сомнения встала впервые перед духовным зрением Федора Достоевского фигура Федьки Каторжного. Он понял, как и почему всяк за всех виноват, понял, что существует круговая ответственность за зло, ежесекундно творимое людьми, что он отвечает перед Богом за каждого из этих заклеянных арестантов, что он ничуть не лучше их перед престолом Всевышнего и что он сам, наконец, и есть Федька Каторжный. Отсюда вывод был один, и Достоевский его сделал: «Смирись, гордый человек!»

Через познание реального существования дьявола дошло до Достоевского явление Божественности Христа, — «симпатичная личность» превращалась в Сына Бога Живого. Перед внутренним зрением будущего автора «Преступления и наказания» земной трехмерный мир разрастался в некое мистическое трехпланное вселенское здание.

В блошинные и вшивые бессонные ночи, лежа на жестких тюремных нарах, впервые увидел Достоевский по-иному, по-новому и себя, и людей, и мир. Тогда-то, через познание подлинного первоисточка зла, этот необычайный, небывалый, ни с кем и ни с чем несравнимый каторжанин постиг окончательно то, что гораздо позднее поведали в «Братьях Карамазовых» чёрт — Ивану, а звездное небо — Алеше: «Все, что есть у вас, есть и у нас». Достоевскому открывалась взаимопроницаемость всех областей вселенной: ада, рая и нашей земной жизни; возникал зародыш «Преступления и наказания»; взорванный прехом, раздробленный духовным бунтом Адам приступал к преодолению своего раскола и уже казнил в себе Раскольникова.

Возвратясь к себе после встречи с Лизаветой на Сенной площади, Раскольников заснул свинцовым сном, как будто придавившим его. «Он спал, — добавляет автор, — необыкновенно долго, без снов».

Сонные состояния в творчестве Достоевского подразделяются на три различные стадии: на особое положение, в каком находится человек между сном и действительностью, когда он спит — не спит, но презит; когда он спит, уходя в сновидения, непременно духовного вещего содержания; и, наконец, когда он погружается в самозабвенный сон, и его внутреннее «я» остается наедине с самим собою, вне чувств и сознания самого спящего. Где обретается «я» человека, как бы потерявшего себя во сне, что оно чувствует, чем и как живет, мы не знаем. Но несомненно, что именно тогда эта до конца неведомая самому человеку его внутренняя сущность приходит к тому или иному решению, избирает путь, ведущий к тьме или свету.

Только на следующий день, в десять часов утра, хозяйская прислуга Настасья разбудила Раскольникова. Она принесла ему свой хлеб и спитой чай. То, что олицетворяет собою эта, как принято говорить, «второстепенная фигура» в романе, преисполнено чрезвычайного значения. Повторяю, собственные имена даются Достоевским не случайно, они почти всегда отражают не характеры, не типы, а личность его персонажей. Анастасия означает воскресение, и это надо теперь же запомнить. Настасья в «Преступлении и наказании» — один из важнейших символов матери-сырой земли. Утверждаясь во зле, Раскольников тем самым надругивается над породившей его матерью-землей, но она по-прежнему любовно носит его на своем лоне, и ее символ, ее посредница — Настасья, простая, жалостливая деревенская баба, бездумно заботится о Раскольникове, порвавшим сознательно и злостно живую связь с людьми, ушедшем в пробный кокон.

Существуют рудиментарные жизненные положения, которые нельзя истолковать, перед ними бессильны рациональные рассуждения. Скрытый смысл этих бытийственных сущных положений можно лишь на мгновение интуитивно схватить, и о них следует сказать, что они такие потому, что они такие. Чистым разумом их не объяснить, но через них доходит до нас одновременно и совместно любовь матери-земли и небесная благодать. У тяжких прешников, подобных Раскольникову, имеются свои заботливые Настасьи и бескорыстные хлопотуны Разумихины, безотчетные проводники божественного милосердия. Их деятельного присутствия при падающих и заблудших возжелала сама жизнь, неизменно несущая в себе благословенную возможность нашего воскресения и спасения. Для Неба, нас создавшего, и земли, нас породившей, мы всегда остаемся детьми, нуждающимися в поддержке. Любовь присуща бытию, но сама в себе она довременна, неизъяснима и внеразумна.

У Достоевского нет ни второстепенных, ни, тем более, бытовых фигур; каждый из его героев являет собою единственную, неповторимую личность, и все они несут друг другу весть из областей нездешних — inferнальных и ангельских. Выходит, что всякий человек, кто бы он ни был, пребывает в собственной глубине, но от него идут духовные и злодуховные токи к окружающим его людям, и наши встречи друг с другом не только не случайны, а всегда providentialны и, по своей значимости, неисчерпаемы. *На точках пересечений человеческих жизней пытался Достоевский разгадать тайну нашего бытия.* Любимой из его персонажей — живая и тем самым необходимая частица раздробленного

прехом Адама, силящаяся найти свое дополнение. Однако зло, проникая в мир и в нас, снова и снова взрывает Адама, сводя на нет наши стремления к взаимному воссоединению. Все наши встречи и столкновения, все пересечения трепетных людских существований не что иное, как религиозный вселенский процесс, равно положительный и отрицательный.

Творчество Достоевского надприродно, пневматологично. Именно поэтому даже такая на первый взгляд незначительная биологическая фигура, как Настасья, разрастается в символ огромной метафизической емкости. Эта непритязательная, простая женщина способна — пусть бессознательно и невольно, зато всем своим девственным нутром — непосредственно уловить, разоблачить погашенный грех и преступление. Когда она вторично, уже в два часа дня, вошла к Раскольникову, неся ему суп: «Он лежал, как давеча. Чай стоял непронутый. — Чего дрыхнешь! — вскричала она, с отвращением смотря на него». Откуда взялось это отвращение? Его, конечно, легко объяснить обидой Настасьи на Раскольникова, не оценившего ее предварительной хлебной и чайной жертвенности. Так, с намерением глубоко художественным, и поступает Достоевский, ссылкой на внешнюю причину избегая того, что в философии принято называть коротким замыканием. Поверхностному читателю он предоставляет удовлетвориться крайне упрощенным «психологическим» толкованием, на самом же деле предусмотрительно подготавливая этим почву для неожиданной развязки, разверзающей на мгноление страшную правду о Раскольникове. Отвращение, проявленное в данном случае Настасьей, вызвано, как это скоро выясняется, не только обидой за пренебрежение к ее дарам. Нет! В тяжелой, мертвенной опячке Раскольникова она совершенно бессознательно учуяла окончательно назревающее в нем кровавое решение.

Ее безотчетное предчувствие не ошибалось: в тот же день вечером Раскольников убил ростовщицу, проломив ей череп обухом топора и острием прикончил Лизавету, на свою погибель слишком рано вернувшуюся домой, прорубив ей одним ударом верхнюю часть лба почти до темени.

На следующий день, уже в полные сумерки, Раскольников забылся, лежа у себя на диване, когда почудилось ему, что он очнулся от страшного крика. Трудно решить, пробудился ли он совсем или все еще продолжал дремать. Персонажи Достоевского нередко как бы колеблются на грани сна и яви, да и кто всегда с неизменной точностью укажет, где кончается грезное, фантастическое и начинается действительность. Недаром величайший испанский драматург полагал, что жизнь есть сон. Конечно, с медицинской точки зрения одно несомненно: наяву или в дреме, но Раскольников бредил. «Таких неестественных звуков, такого воя, вопля, скрежета, побоев,— говорит Достоевский,— он никогда еще не слышивал... В ужасе приподнялся он и сел на постели, замирая и мучаясь... И вот, к величайшему изумлению, он вдруг расслышал голос своей хозяйки. Она выла, визжала и причитала, спеша, торопясь, выпуская слова так, что и разобрать нельзя было, о чем-то умоляя — конечно, о том, чтобы ее перестали бить, потому что ее беспощадно били на лестнице. Голос бившего стал до того ужасен от злобы и бешенства, что уже только хрипел... Вдруг Раскольников затрепетал, как лист: он узнал этот голос; это был голос Ильи Петровича (помощника полицейского пристава, с которым еще только утром Раскольников встретился и поспориł в участке. — Г. М.). Илья Петрович здесь и бьет хозяйку! Он бьет ее ногами, бьет ее головою о ступени, это ясно, это слышно по звукам, по воплям, по ударам. Слышно было, как во всех этажах, по всей лестнице, собиралась

толпа, слышались голоса, восклицания, стучали, хлопали дверями, сбегались... Но, стало быть, к нему сейчас придут, если так, «потому что ... верно это из-за того же, из-за вчерашнего... Господи!»

Бредовая догадка Раскольниковова совершенно действительна. Да, все это кажется ему из-за вчерашнего, и не его квартирную хозяйку истязают, а кричит и воет и бьется его собственная душа, его бессмертная *тозьяка*, им же самим, по совести оправдавшим пролитие крови, преданная мытарствам. И нет условных психиатрических обозначений бреда и кошмара, но есть, тут же, сейчас осуществленная, неопровержимая, доподлинная реальность мытарств — предвкушение ада, уже раздражающего того, кто добровольно попрал в себе подобие Бога. Но суд Божий, Его высшее Право, обращивается для нас здесь, на земле, человеческим судом, а людской неумолимо последовательный юридикзм подменяется предвзвительно полицейской расправой, повторяющей, как эхо, злое своеволие и произвол самого преступника. Прех, помимо и сверх всего, еще и позорно смешон. В карикатурном, комическом таится страшное. По народному поверию, громом и молнией заведует пророк Илья, а имя апостола Петра означает камень. И вот, опозорившему себя низким преступлением Раскольникову представляется в бреду всего-навсего помощник полицейского пристава, в жизни глуповатый и пошловатый — Илья Петрович, в кошмаре прозный, как пророк, и твердый, как апостол. А сам полицейский пристав, с которым утром встретился Раскольников, начальник Ильи Петровича — карикатурного подобия небесного правосудия — именуется у Достоевского, по-евангельски, Никодимом Фомичем. Поистине, в том, что так легковесно называем мы бредом и кошмаром, уже приоткрывается, готовый поглотить преступную душу, «*ад всесмешливый*», упоминаемый в церковном богослужении.

Человеку труднее всего признаться в прехах и преступлении именно из боязни показаться смешным. Мы знаем об этом из беседы Ставрогина с епископом Тихоном, проживавшим в монастыре на локое. Исповедь свою, засвидетельствованную письменно, Ставрогин хочет обнародовать, но епископ Тихон опасается за него, что он не выдержит последствий такого поступка, и как раз потому, что устранился смешного. Но все же, как, совершив злодеяние, избежать пошлости? Ведь всего еще только в бреду, а уже слышится Раскольникову, как во всех этажах, по всей лестнице, собирается толпа; как восклицают, хлопают дверями, сбегаются. Порвавший круговую поруку любви и чести, отошедший от соборности, казним непереносимым злодуховным одиночеством. Однако люди тут, они смотрят на него, наблюдают за ним, он выставлен на позор, и ответственности за содеянное зло избежать перед ними и Богом невозможно.

Бред Раскольниковова кончается отрывистым, беспомощным «Господи!» Повторить молитвы, вознесенной им к Богу после сна о замученной лошади, Раскольников теперь больше не в силах. Он убит и потому отъединен от живого потока бытия, от всего живущего. Одинокое тюремное заключение — всего лишь бледный призрак страшной духовной оторванности от мира и людей, испытываемой человеком, добровольно и сознательно совершившим злое, не с прямой целью вульгарного ограбления, а ради самого зла. Да, бывают такие положения в жизни, когда даже и молиться совершенно бессмысленно. Еще утром, в полицейском участке, куда он был вызван по незначительному делу, Раскольников не только сознал, но, что неизмеримо ужаснее, всем своим существом ощутил, до чего вдруг опустело его сердце. «С ним, — говорит Достоевский, — происходило что-то ему совершенно незнакомое, новое, внезапное и никогда не бывалое. Не то, чтоб

он понимал, но он ясно ощущал всю силу ощущения, что ему уже нельзя более обращаться к этим людям в квартальной конторе, и, будь это все его родные братья и сестры, а не квартальные поручики, то и тогда ему совершенно не зачем было бы обращаться к ним и даже ни в каком случае жизни; он никогда еще не испытывал подобного странного и ужасного ощущения. И что всего мучительнее — это было более ощущение, чем сознание, чем понятие, непосредственное ощущение, мучительнейшее ощущение из всех, до сих пор жизнью пережитых им ощущений» (выделено мной. — Г. М.).

Здесь Достоевский настаивает, повторяясь, с особым упорством именно на важности ощущений, отпеченая, как, впрочем, он часто это делал, сознание на второй план: ему на потребу не рассудок, ему нужна натура человека, действующая вся целиком. В «Записках из подполья» он так и говорит: «Рассудок есть только рассудок и удовлетворяет только рассудочной способности человека... И хоть жизнь наша выходит зачастую дрянцо, но все-таки жизнь, а не одно извлечение квадратного корня... Рассудок знает только то, что успел узнать... а натура человека действует вся целиком, всем, что в ней есть, сознательно и бессознательно и, хоть и врет, да живет».

Постижение духовных законов приходит путем интуитивного внедрения в существование свое и чужое, а для этого надо, прежде всего, как говорит Достоевский: «Жизнью пережить собственные ощущения». Только тогда возникает истинная мысль, «наклеиваясь, как из яйца цыпленок», мысль, пристально, неотступно следящая за опытом, приобретенным сердцем. Духовные законы бытия, сущные положения и состояния, добрые и злые, светлые и темные, уловляются непосредственным опытом. Раскольников убил и познал через жизнью пережитое ощущение злую сущность отъединения, он испытал ужас от пребывания в пробном коконе. Отсюда его бред, или, выражаясь существеннее, бытийственное, его прохождение через мытарства, предваряющие в земной жизни загробное заключение в чистилище. Но мытарства все еще не ад, не окончательная, бесповоротная изоляция живого мертвеца: при прохождении через них человек подвергается лишь мучительной иллюзии безнадежного безысходного одиночества, но ни Бог, ни мать-земля от него еще не отступились.

Для «разумных» душа преступника непроницаема, и никакой психологии и психиатрии недоступна правда о человеке согрешившем, даже всего лишь обуреваемом страстями, подобно Мите Карамазову. Ни обвинитель, ни защитник Мити, ни судебные психиатры — все эти уместующие интеллигенты — ничего не в силах понять в заблудшем существе, они лишь трубу тычут юридической и медицинской указкой в живую трепетную ткань человеческой души. Правда о человеке, замыслившем и совершившем злое, открыта, без видимых улик и вещественных доказательств, лишь «малым», «неразумным». И в том, что они улавливают безотрадную истину о преступнике, кроется залог его конечного воскрешения. Чужое уместование оскорбляет согрешившего, а сердечное, совершенно бессознательное проникновение в душу человека, рано или поздно, спасает ее.

В творчестве Достоевского не существует реально никаких перегородок между внешним и внутренним: подспудное порождает в нем наружное, а внешнее, не в переносном, но в буквальном значении этого слова, подтверждает внутреннее. Это потому так для Достоевского, что его мировосприятию, его твор-

честву органически была присуща мысль великого Оригена: «материя есть уплотненная прехом духовность». Домашняя обстановка, одежда и вещи, принадлежащие человеку, это уплотнившиеся эманации его духовной сущности. Так, каморка Раскольниковова и вечерний полный мрак, поглотивший его толчас после бреда о квартирной хозяйке, якобы избиваемой на лестнице, не что иное, как непосредственное продолжение убийцы, снимок его злодуховного состояния. И когда вдруг яркий свет озарил его и вошла Настасья со свечой и тарелкой супа в руках, то вошла она не только в комнату, но и в душу убийцы, вошла как милосердная посредница матери-земли, поруганной преступником. Передавать последовавшую сцену своими словами невозможно, настолько совершенна она у Достоевского. Ее надо сначала воспроизвести и потом уже попытаться, хотя бы частично, наметить ее бездонное значение. Эта сцена неразрывно связана с позднейшим властным призывом Сони Мармеладовой. Раскольников не выдержал страшного одиночества, отсеченности от всего живого, и пришел к Соне признаться в убийстве. И это кротчайшее, тишайшее существо, греховно пожертвовавшее собой, своим девическим телом ради прокормления голодной семьи, нашла в себе силы и мудрость, — а имя «София» и значит премудрость, — обратиться к убийце, указывая на единственно для него возможный выход из кровавого тупика: «Пойди сейчас же, сию минуту, стань на перекрестке, поклонись, поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету, на все четыре стороны и скажи всем вслух: «Я убил!» Тогда Бог тебе опять жизнь пошлет».

Но Настасья ничего не может посоветовать, она как некая вполне бессознательная пифия, пожалуй, даже не интуитивно, а всего только инстинктивно, чувствует убийственную правду о преступнике и, не понимая разумом, в чем же именно заключается истина, лишь нащупывает ее всем телом, всем своим бабьим существом, юпреляя болезнь, охватившую Раскольниковова, с нелетостью своих деревенских познаний в медицине.

«— Небось со вчерашнего не ел», — сказала Настасья, внимательно разглядывая Раскольниковова. «— Целый-то день прошлялся, а самого лихоманка бьет.

— Настасья... за что били хозяйку?

Она пристально на него посмотрела.

— Кто бил хозяйку?

— Сейчас... полчаса назад Илья Петрович, надзирателя помощник, на лестнице... За что он так ее избил? и... зачем приходил?

Настасья молча и нахмурившись его рассматривала и долго так смотрела. Ему очень неприятно стало от этого рассматривания, даже страшно.

— Настасья, что ж ты молчишь? — робко проговорил он, наконец, слабым голосом.

— Это кровь, — отвечала она, наконец, тихо и как будто про себя говоря.

— Кровь!.. какая кровь?.. — бормотал он, бледнея и отодвигаясь к стене. Настасья продолжала молча смотреть на него.

— Никто хозяйку не бил, — проговорила она опять стропим и решительным голосом. Он смотрел на нее, едва дыша.

— Я сам слышал... я не спал... я сидел, — еще робче проговорил он. — Я долго слушал... Приходил надзирателя помощник... На лестницу все сбегались, из всех квартир...

— Никто не приходил. А это кровь в тебе кричит. Это когда ей выходу нет

и уж печенками запекаться начнет, тут и начнет мерещиться... Есть-то станешь, что ли?

Он не отвечал. Настасья все стояла над ним, пристально глядела на него и не уходила.

— Пить дай... Настасьюшка.

Она сошла вниз и минуты через две воротилась с водой в белой глиняной кружке; но он уже не помнил, что было дальше. Помнил только, как отхлебнул один глоток холодной воды и пролил из кружки на грудь. Затем наступило беспомыслие.

Истинный смысл всей этой сцены проходит подспудно, как это часто бывает у Достоевского, персонажи которого далеко не всегда отдают себе действительно полный умственный отчет, — как, впрочем, все люди вообще, — в том, что говорят, делают и чувствуют. Их жизнь, подверженная тайным внушениям бесчисленных духов, во многом проходит бессознательно, несмотря на то, что они, в отличие от душевно-телесных фигур реалистических романов, буквально одержимы той или иной идеей. Но ведь эти идеи управляют ими изнутри, большую частью не доходя вполне до их сознания, зарождаясь в неисследимых душевных недрах или, как говорит Достоевский, в глубинах человеческой природы, которая, «хоть и врёт, да живет». Бесспорно, наша натура частенько врёт, потому что хитрит, добывая для себя житейские выгоды, инстинктивно прикрываясь от непрощенных посторонних вторжений, но больше всего оттого, что сама себя не понимает и не постигает.

Настасья, из всех героинь Достоевского самая земная и по виду элементарная, выказывая свои познания в медицине, несет явную чепуху о печенках. Но в самом сущном она, в своей рудиментарности, в сродненности с матерью-землей, находится неизмеримо ближе к истине о Раскольникове, чем ученый доктор Зосимов, пользующий идейного убийцу порошками и глубокомысленными психиатрическими советами. Достаточно удалить из всего сказанного Настасьей ни к чему не приуроченные печенки и получится прозная правда о самообожествившемся человеке, по своему близорукому усмотрению присвоившем высшее Право, принадлежащее единственно Богу, лишать людей жизни. С какой ужасающей, беспощадной верностью звучат слова Настасьи о кричащей в Раскольникове крови, запекающейся и спускающейся совсем как у холодеющих жертв, произвольно лишенных убийцей дарованного Богом дыхания. Казнящий другого забывает, что и сам он будет духовно казним еще более мучительной казнью. Кровь его собственная, как и его жертв, будет кричать в нем и, по выражению Настасьи, тут-то и начнет ему «мерещиться». Иными словами, он попадет в особый мир страшных фантазмагорий и мьтарств, в мир беспрестанных провалов, тошнотно жуткий, зыбкий, неустойчивый.

Весь разговор Настасьи с Раскольниковым показывает, как паразитично мало в нас сознания, как все мы живем и действуем инстинктивно, по повелению невидимых и неведомых существ, во власть которых мы сами себя отдаем, добровольно поступаясь нашей первородной свободой. По убеждению Достоевского, люди лицемерят, твердя на все лады, что они дорожат свободой. Нет, ее-то как раз и страшится человек, потому что боится ответственности. Оттого-то с такой легкостью изобретает он различные социальные доктрины, в конце концов, его порабащивающие. Человек всем своим темным нутром ищет не свободы, но рабства.

В разговоре Настасьи с Раскольниковым ценнее всего открываемая нам Достоевским совершенная цельность вселенского бытия, сродненность воедино

всего феноменального и нуменального, явного и тайного, цельность, обычно незамечаемая нами. Зажженная свеча, несомая Настасьей, одновременно и совершенно одинаково освещает и каморку Раскольникова, и его телесный облик, и его темную душу. Причем пробная комнатка Раскольникова лишь продолжение его души, его, как и он сам, мрачное инобытие, а горящая свеча в руках Настасьи — вещее проникновение бездумной деревенской прорицательницы, бессознательно, но зато беспрепятственно обличающей черную тайну убийцы. В другой руке Настасьи тарелка супа и хлеб — дары, предлагаемые всепрощающей матерью-землею своему блудному сыну.

Но утроба Раскольникова, зараженная преступлением, не принимает ни воды, ни пищи от сиротливой матери. Раскольников уходит в беспамятство, временно отпадает от жизни, символизировав этим свой смертный грех.

По словам Настасьи, кровь кричит и запекается в Раскольникове, потому что ей нет выхода. Вот почему вся эта сцена, весь этот разговор бессознательного, но девственного существа с идейным преступником неминуемо приводит позднее, при развитии внешних и внутренних событий в романе, к властному указанию Сони на единственный исход для восставшего на Бога и сознательно, из принципа, пролившего кровь своих близких. Надлежит всенародно признаться в совершенном преступлении и не только с целью открытого покаяния, но еще и потому, что просто невозможно существовать, укрывая свое злодеяние, которое, хочет того или нет сам преступник, не принимается глубиной человеческого сердца, сотворенного по образу и подобию Бога. Злодеяние, по Достоевскому, противоестественно и, что еще неизмеримо важнее, оно для бессмертной души человека противобожественно.

Таить в себе от всех идейно, из принципа содеянное зло невозможно. В уединении и отъединении от людей личность преступившего через запретный порог и нарушившего божественные установления бытия начинает распадаться, разлагаться, приближаясь к попранию в преисподнюю. Можно не покаяться, но нельзя оправдать себя от бесплодных и потому губительных утрызаний совести. Необходимо, пусть нераскаянно, сознаться в преступлении, чтобы жить хотя бы на каторге, в некоторой степени предвосхищающей заслуженный ад и, в то же время, дающей отсрочку падшему, дабы прийти к покаянию.

Итак, из разговора Настасьи с Раскольниковым оказывается, что наши встречи, беседы и поступки больше ведают о нас, чем мы о них. Они глубже нашего сознания.

Но все же, в точности, как и при посредстве кого был доведен Раскольников до беспамятства, до преддверия духовной смерти?



«... Давно уже прежде, — пишет Достоевский, — его (Раскольникова. — Г. М.) занимал один вопрос: почему так легко отыскиваются и выдаются почти все преступления, и так явно обозначаются следы почти всех преступников? Он пришел мало-помалу к многообразным и любопытным заключениям, и, по его мнению, главнейшая причина заключается не столько в материальной невозможности скрыть преступление, как в самом преступнике; сам же преступник, и почти всякий, в момент преступления подвергается какому-то упадку воли и рассудка, сменяемых напротив того детским феноменальным легкомыслием, и именно в тот момент, когда наиболее необходимы рассудок и осторожность»...

«Дойдя до таких выводов, — продолжает Достоевский, — он решил, что

с ним лично, в его деле, не может быть подобных болезненных переворотов, что рассудок и воля останутся при нем неотъемлемо, во всё время исполнения задуманного, *единственно по той причине, что задуманное им — «не преступление»* (Подчеркнуто мною. — Г. М.).

Раскольников не ошибался, полагая, что порешенное им убийство ростовщицы, не будет уголовным преступлением. Но он не понял и не хотел понять, что самый замысел его чудовищно преступен. Так же точно возглавитель социальной революции, уничтожая ради «идеи» сотни тысяч человеческих жизней, совершенно искренне не считает себя нарушителем нравственных законов. Впрочем, он даже не спрашивает себя, преступны ли его кровавые деяния. Он заранее уверен в противном.

В лице Раскольникова впервые ставится в творчестве Достоевского с полной ясностью вопрос о том, что же такое *духовный бунт*, возникающий, для начала, по чердакам и подвалам в отдельных уединенных душах, и что же такое его прямое следствие — бунт коллективный, обобщенный, совершающийся под маской социальной революции? В круговороте мыслей Достоевского о Раскольникове уже зарождались «Бесы»: главный персонаж этого романа, обуреваемый злом, одержимый демонами — Ставрогин и его метафизически неизбежное «социальное» ополчение, его карикатурный двойник — революционный изверг Петр Верховенский.

К величайшему несчастью для Раскольникова, он совершал, убивая ростовщцу, совсем не уголовное, но идейное злодеяние, сопровождаемое, как и всякое преступление, феноменальным легкомыслием самого преступника. Раскольников не предвидел, что ради поправки принципа и пробы своих бунтарских сил разрешенное себе убийство есть нечто несравненно более страшное, чем простая, немудреная уголовщина; не учел он и того, что пропорционально ужасу совершаемого зла возрастает и легкомыслие злодея, самоутрачивающего кровь какого бы то ни было человеческого существа.

Кто из нас, говоря словами Тютчева, «смеет молвить «досвиданья» чрез бездну двух или трех дней?» Более того: кто с полной уверенностью может предвидеть, что произойдет с ним через две-три секунды? Думая так о собственной и чужой судьбе, легче, по крайней мере, уберечься от соблазняющего нас тяжкого и абсурдного преха самообожествления, не свойственного, кстати сказать, типично уголовному убийце. Уголовником владеет низкая материальная корысть. Он обычно нравственно недоразвит. Но ведь и он — прежде всего человек, и у него есть совесть, никогда, в отличие от Раскольникова, не оправдывающая им же самим учиненного зла. Есть в человеке некая духовная сфера, обретающаяся в нем глубже его тупости недомыслия и недочувствия, глубже всех его пороков и прехов. Пребывая в состоянии нравственной опущенности, уголовный убийца не возводит в сознательно оправданную систему своих преступлений, как делают это во имя «идеи» бунтари по призванию и убеждению, и потому темная потусторонняя сила, лишь частично им управляющая, не может завладеть полностью его духовной сердцевинкой, сокрушить и разложить бесповоротно его личности. В этом великая разница между уголовником и тем, кто во имя духовного бунта принимает на себя Божественные полномочия, присваивает себе Высшее Право распоряжаться жизнью и смертью своих ближних. Трудно сделать решительный вывод, но по Достоевскому выходит как будто, что существу, подобному Петру Верховенскому, преданному бунту и утратившему какую бы то ни было связь с Божеством, все пути к спасению в вечности закрыты. Да и в эпилоге «Пре-

ступления и наказания», хоть и говорится о возможности полного раскаяния Раскольникова, но творчески оно Достоевским нам не показано.

Будем же осторожны с выводами намеченными, но всё же не сделанными самим Достоевским. Скажем только, что если легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство небесное, то каковы же трудности, встающие перед человеком самообожествившимся, хотя бы и признавшим себя в итоге, с горечью и злобой, неудавшимся богом, как делает это Раскольников. Такой новоявленный бог, вступая на дорогу зла, оказывается куда меньше способным к верному расчету и предвидению, чем вульгарный правитель и убийца; он сразу же теряет власть над собой и превращается в игрушку рока, дьявола.



По возвращении своем с бесцельной прогулки, оказавшейся, как обнаруживается потом, далеко не бесцельной, Раскольников заснул и в два часа был разбужен Настасьей, принесшей ему суп. Он поел немного «без аппетита, машинально» и снова впал в полужабытье. «Вдруг он ясно услышал, что бьют часы, вздрогнул, очнулся, посмотрел в окно, сообразил время и вскочил, совершенно опомнившись, как будто кто его сорвал с дивана» (выделено мною. — Г. М.). Надо было спешно приготовиться. Во-первых, пришить петлю к пальто под левую мышку изнутри — дело минуты: «иголка и нитка были давно приготовлены». Теперь стоило только вложить в петлю лезвие топора, и он будет висеть спокойно, всю дорогу. Во-вторых, надо было достать из-под дивана заранее приготовленный «заклад» — деревянную дощечку, величиной с серебряную папиросницу, сложенную для веса с железной пластинкой, связанные вместе накрепко ниткой «аккуратно и щеголевато» обернутые в белую бумагу. Все обвязано так, «чтобы помудреннее было развязать. Это для того, чтобы на время отвлечь внимание старухи, когда она начнет возиться с узелком, и улучшить, таким образом, минуту».

Такой приступ к действиям был, пожалуй, не плохо задуман, однако, лишь на него одного хватило предусмотрительности у Раскольникова. Дальнейшие обстоятельства стали чередоваться и развиваться помимо расчетов самого преступника. «Только что он достал заклад, как вдруг где-то на дворе раздался чей-то крик:

— Семей час давно!

— Давно! Боже мой!»

С этого ответного восклицания, уже потерявшего себя существа, возрастает все сильнее и неумолимее власть завладевшего своей жертвой беса. Возглас кого-нибудь из жильцов, густо населенного дома, — «Семой час давно!» — неминуемо, роковым образом донесшийся до слуха обреченного на преступление человека, послужил как бы потусторонним толчком, как будто некто невидимый, только что сорвавший Раскольникова с дивана, нажал на inferнальную кнопку и привел в действие послушный автомат.

«Предстояло самое важное дело, — повествует Достоевский, — украсть из кухни топор. О том, что дело надо делать топором, решено им было уже давно... на нож, и особенно на свои силы, он не надеялся, а потому и остановился на топоре окончательно... Что же касается до того, где достать топор, то эта мелочь его несколько не беспокоила... Настасья, и особенно по вечерам, поминутно не бывало дома... Итак, стоило только потихоньку войти, когда придет время,

в кухню и взять топор, а потом, через час (когда всё уже кончится), войти и положить обратно».

Но вот именно мелочи, несколько не беспокоившие Раскольникова, с первого шага лукаво и своевольно обступили его. Поговорка гласит: «Человек предполагает, а Бог располагает». Вдобавок имеется еще и другое, не менее верное изречение: «Захочет Бог наказать, так и разум отнимет». Тогда временно, до срока, событиями, обстоятельствами и всеми мелочами располагает уже не Бог и не самонадеянный человек, а некая безымянная неведомая сила. Так и случилось на деле с Раскольниковым. «Одно ничтожнейшее обстоятельство поставило его в тупик еще прежде, чем он сошел с лестницы. Поравнявшись с хозяйкиной кухней... он осторожно покосился в нее... Но каково же было его изумление, когда он вдруг увидал, что Настасья не только на этот раз дома... но еще занимается делом: вынимает из корзины белье и развешивает на веревках!.. Но дело было кончено: нет топора! Он был поражен ужасно». К этим словам Достоевский добавляет от лица Раскольникова нечто в высшей степени знаменательное: «И с чего взял я, — думал он, исходя под ворота, — с чего взял я, что ее непременно в эту минуту не будет дома? Почему, почему, почему я так наверно это решил?»... Он был раздавлен, даже как-то унижен. Ему хотелось смеяться над собой со злости... Тупая зверская злоба закипела в нем».

Самообожествившийся человек — стоило ему двинуться — одним ударом, вернее, щелчком слепой судьбы, своенравием случая был сброшен с призрачной вершины, на которую сам возвел себя в собственном воображении. Судьба, по Достоевскому, слепа лишь по видимости, а то, что называем мы «случаем», происходит совсем не случайно. Им руководит тот, кому мы сами подчиняемся, отказываясь от первородной свободы. Чёрт сразу же наложил на Раскольникова свою лапу, и самозванный бог был раздавлен, даже как-то унижен, поскольку продолжала владеть им иллюзия самостояния.

Грех и злодейство позорно смешны и «ад всесмешлив», и это страшно, но еще страшнее, что сознательно бунтующему человеку, по причине его юдержимости, его причастности к умыслам преисподней, самому хочется смеяться над собою. В нем закипает зверская злоба от собственного бессилия, от беспомощности перед «судьбою» и «случаем». Злоумышляя, мы попадаем в заклятый круг все расширяющихся наваждений и предаемся «с феноменальным лепкомыслием» призрачным расчетам и предрешиениям. «Почему, почему, почему я так наверно это решил?» Да потому, что каждый из нас, замышляя злое и лукаво оправдывая его перед совестью, выпадает из бытия, теряет меру всего подлинно реального и небытийствует, как само зло, предаваясь фантазмагориям, существуя лишь паразитарно за счет добра.

«Он (Раскольников. — Г. М.) остановился в раздумьи под воротами... прямо против тесной каморки дворника, тоже открытой. Вдруг он вздрогнул. Из каморки дворника, бывшей от него в двух шагах, из-под лавки направо что-то блеснуло ему в глаза... Он осмотрелся кругом, — никого. На цыпочках подошел он к дворничьей, сошел вниз по двум ступенькам и слабым полосом окликнул дворника. — «Так и есть, нет дома!..» — Он бросился стремглав на топор (это был топор) и вытащил его из-под лавки, где он лежал между двумя поленами; тут же, не выходя, прикрепил его к пепле, обе руки засунул в карманы и вышел из дворничьей; никто его не заметил! «Не рассудок, так бес!» подумал он, странно усмехаясь. Этот случай ободрил его чрезвычайно».

Подчеркнутые мною здесь слова, брошенные Достоевским мимоходом, исклю-

чительно важны для всего замысла «Преступления и наказания». Между прочим, они лишний раз убедительно показывают правильность уже высказанного мною предположения, что, по Достоевскому, все же не до конца становится преступник, даже оправдавший перед совестью свой преховный умысел, ипрущкой дьявола, послушным автоматом. Какую-то частицу собственной воли, направленной на поругание бытия, он в себе сохраняет, во всяком случае, вплоть до последней минуты, предшествующей фактическому совершению злодеяния.

Раскольников увидел на опыте, что если рассудок не может служить безошибочно на преступных путях, то имеется у злоумышленника верный до поры, до времени союзник и руководитель. Этого-то, столь любезно подвергнувшегося помощника, он привелствовал *странный* усмешкой и торжественным восклицанием.

В искусстве — будь-то роман, поэма или небольшое стихотворение — часто всего одно слово, с неотвратимой меткостью попадая в цель, освещает внезапно изнутри художественное произведение в целом. Топор, околдованный нездешней властью, олицетворил собою как бы материализовавшуюся потустороннюю волю. Он блеснул из темноты в глаза Раскольникову, *странный* усмешка которого лишь отразила этот блеск — подобие улыбки возликовавшего беса.

Слово «странный» придает особый оттенок усмешке Раскольникова и позволяет нам ощутить злую мистику нежданно явленного бесовского преподношения. Это слово одним мановением ставит в «Преступлении и наказании» на центральное место темную власть, загладевающую нами на путях преха.

Петля, с прикрепленным к ней топором, находилась, как мы уже знаем, с внутренней стороны пальто под левой мышкой и, следовательно, орудие преступления прижималось к сердцу преступника. Таким образом символизировалось — отразилось вовне — содружество Раскольникова с силами преисподней. Поистине, нет ничего случайного в мире и, по существу, любое явление неисчерпаемо! По Достоевскому, получается как будто, что такого рода союз бывает нарасторжим и верен, пока не осуществится злодеяние. Чёрт, в отличие от нас, делает свое дело чисто и умеет распорядиться обстоятельствами в нужном ему распорядке.

Дом, в четвертом этаже которого проживала ростовщица, состоял из мелких квартир и был заселен всякими промышленниками и мелкими чиновниками. «Входящие и выходящие люди так и шмыгали под обоими воротами... Тут служили три или четыре дворника». Когда, накануне решительного дня, Раскольников заходил к старухе «на пробу», он никого не встретил под воротами и очень был рад, что ему удалось проскользнуть на лестницу незамеченным. И теперь, «на счастье его, в воротах опять прошло благополучно. Мало того, *даже как нарочно* (выделено здесь и ниже мною. — Г. М.), в это самое мгновение только что перед ним въехал в ворота опромный воз сена, совершенно заслонивший его всё время, как он проходил подворотню... Там, по ту сторону воза, слышно было, кричали и спорили несколько голосов, но его никто не заметил и навстречу никто не попался... Лестница к старухе была близко, сейчас из ворот направо. Он уже был на лестнице...» Вот и четвертый этаж, вот и дверь старухиной квартиры.

Еще накануне, в день пробы, когда он позвонил к ростовщице, «звончок брякнул слабо, как будто был сделан из жести, а не из меди... этот особенный звон как будто вдруг ему что-то напомнил и ясно представил... Он так и вздрогнул...» Отчего? Что же такое вспомнилось ему? Автор «Преступления и

наказания» не договаривает. Но если исходить из основ мировосприятия Достоевского, то одно несомненно: слабое, какое-то безжизненное звучание колокольчика было лишь отражением, символом мертворожденных измышлений, задолго до того назревавших в недрах падшей души Раскольникова. Изделие человеческих рук — покорная человеку материя — предупреждающе имитировало ведущее к духовной смерти решение преступника. Но мертвенность этого звучания отражала одновременно и злую сущность старухи, всецело преданной паразитарной наживе. Облик «старой ведьмы» орастался для Раскольникова с его собственными темными замыслами. Преступление, лишь теоретически им решенное, становилось роковой неизбежностью. И вот теперь, на другой день после «пробы», снова надо было дергать за звонок, придерживая на этот раз левою рукою, опущенной в карман, ручку топора, висящего в петле под пальто возле самого сердца.

Он «позвонил. Через полминуты еще раз позвонил, погромче.

Нет ответа ... Он ... приложил ухо к двери».

Если бы мог Раскольников до конца понять умом и постичь сердцем то, что послышалось ему тогда, он, наверное, отказался бы от своего замысла и убежал бы. Но он не владел собою; его сознанием и чувствами распоряжался кто-то другой. «... Он различил как бы осторожный шорох рукой у замочной ручки и как бы шелест платья а самую дверь. Кто-то неприметно стоял у самого замка и точно так же, как он здесь снаружи, прислушивался притаившись изнутри, и, кажется, тоже приложив ухо к двери ...»

Итак, намеченная убийцей жертва занимала, стоя в прихожей у замка, положение, в точности подобное тому, в каком находился он сам, ее палач. В разительном сходстве этих двух положений таилось для Раскольникова нечто утрачающее: а что если вдруг придется поменяться местами и из казнящего обратиться в казнимого? Но угроза не сразу дошла до него. Когда же, через какие-нибудь две минуты, он ощутил ее, то было уже поздно спастись.

Раскольников позвонил в третий раз, но тихо, солидно, без всякого нетерпения. «Вспоминая об этом после, — говорит Достоевский, — ... он понять не мог, откуда он взял столько хитрости, тем более, что ум его как бы померкзал мгновениями, а тела своего он почти и не чувствовал на себе... (Выделено мною. — Г. М.) Мгновение спустя послышалось, что снимают запор».

Ставшее теперь злодуховным «я» Раскольникова теряло разум и почти освобождалось от тела, отражая тем самым страшный потусторонний лик своего властелина. Под видом бывшего студента-оборванца «старая ведьма» сама впускала к себе своего демона, явившегося по ее душу. Тут опять необходимо вспомнить слова Раскольникова, сказанные им впоследствии Соне и уже приведенные мною однажды: «Старушонку эту чёрт убил, а не я».

Войдя в квартиру и поздоровавшись с ростовщицей, Раскольников протянул ей свой «заклад». «Старуха ... уставилась глазами прямо в глаза незваному гостю. Она смотрела внимательно, злобно и недоверчиво».

Здесь снова случилось то, что так часто бывает в творчестве Достоевского. Будучи визионером, он знал, что все, происходящее внутри нас, опережает явленные потом события нашей жизни, лишь повторяющие уже свершившееся в духовной глубине. По словам Достоевского, можно прийти в состояние, при котором почти не чувствуешь своего тела. Наше земное наружное «я», с его сознанием и чувствами, служит всего только покровом нашему внутреннему духовному

«я», с его особым сознанием и особыми чувствами, рациональному рассудку недоступными.

Старуха и Раскольников стояли на стыке, окончательно решающем их судьбу. «Прошло с минуту, — пишет Достоевский, — *ему показалось даже в ее глазах что-то вроде насмешки, как будто она уже обо всем догадалась* (выделено мною. — Г. М.). Он чувствовал, что теряется, что ему почти страшно, до того страшно, что, кажется, *смотри она так, не говоря ни слова еще с полминуты, то он бы убежал от нее*».

Иные усомнятся, пожалуй, нужно ли обращать столь пристальное внимание на сделанное мельком автором замечание, и мало ли что кажется подозрительным человеку, замыслившему убить другого? Будь речь о реалистическом романе, такое возражение имело бы смысл, но к роману-трагедии, роману-мистерии оно относиться не может. В творениях Достоевского, — особенно в «Преступлении и наказании», все, вплоть до мельчайших подробностей и оговорок, между собой связано и все, как в живом организме, друг от друга зависит, и потому достаточно коснуться незначительной, с первого взгляда, детали, чтобы все привести в движение.

Раскольников уловил в глазах старухи знание о надвигающейся на нее неминучей беде и, одновременно, насмешливое торжество над своим палачем. Конечно, это внутреннее знание собственной судьбы не доходило до позитивного рассудка скопидомки злой и хитрой, но, несомненно, глупой. Однако, в деньгах есть магия, бросающая зловещий ютсвет на того, кто их любит до полного самозабвения. Недаром во все века и всюду ростовщиков изображали существами, общающимися с нечистой силой. Одержимый идеей Раскольников, в предельном напряжении воли, устремленной к единой цели — убить, почти не чувствующий своего тела, ставший на мгновение подобием злого духа, проник во внутреннее «я» старухи и увидел именно то, что оно знало. Но бежать было поздно.

Из того, что угадал Раскольников в глазах своей жертвы, вскоре возникнет его сон об убитой, насильственно и внезапно отправленной им в вечность, когда не прямо в ад, то уж, во всяком случае, не в райские обитатели, вернее же всего в ту потустороннюю комнатку, о которой Свидригайлов поведет беседу с убийцей: — «одна комнатка, этак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, вот и вся вечность».

Так или иначе, но нельзя забывать, что именно из этого сна Раскольникова рождается его неизбежная, как рок, встреча с Свидригайловым. Но не будем по заразителному примеру самого Достоевского забегать вперед.



«— Что такое? — спросила она (старуха. — Г. М.), еще раз пристально оглядев Раскольникова и взвешивая заклад на руке.

— Вещь ... папиросочница ... серебряная ... посмотрите.

... Стараясь развязать шнурок и оборотясь к окну, к свету (все окна у нее были заперты, несмотря на духоту), она на несколько секунд совсем его оставила и стала к нему задом. Он расстегнул пальто и высвободил топор из петли, но еще не вынул совсем ...

... — Да что он тут навертел! — с досадой вскричала старуха и пошевелилась в его сторону.

Ни одного мига нельзя было терять более. Он вынул топор совсем, взмахнул его обеими руками, едва себя чувствуя (выделено мною. — Г. М.), и почти без

усилия, почти машинально, опустил на голову обухом. Силы его тут как бы не было. Но как только он раз опустил топор, тут и родилась в нем сила... Удар пришелся в самое темя, чему способствовал ее малый рост. Она вскрикнула, но очень слабо, и вдруг вся осела к полу, хотя и успела еще поднять обе руки к голове. В одной руке еще продолжала держать «заклад». Тут он из всей силы ударил раз и другой, всё обухом, и всё по племени. Кровь хлынула, как из опрокинутого стакана, и тело повалилось навзничь».

Мы видим, что в продолжение всей сцены убийства лезвие топора было обращено к Раскольникову и упрямко глядело ему прямо в лицо, показывая, что пора палачу становиться на место собственной жертвы. И когда бы довелось Раскольникову ограничиться лишь этим одним злодеянием, он неизбежно сделался бы добычей мстительной «старой ведьмы», союз которой с нечистой силой оказался на деле покрепче, чем у него.

Спасти Раскольникова от окончательной духовной гибели могло теперь только вмешательство Божественной воли.

На небесах больше радости об одном кающемся грешнике, чем о девяти праведниках. Но как привести к покаянию человека самообожествившегося, сковавшего и наглухо запечатавшего в себе совесть?

«Убить вошь, бесполезную, гадкую, зловредную», — по утверждению Раскольникова, по меньшей мере, позволительно. Он повторяет это дважды. Сначала в разговоре с Соней, потом с сестрой, перед тем как идти признаваться в своем преступлении властям.

«— То, что я убил гадкую, зловредную вошь, старушонку-процентщицу, никому не нужную, которую убить, сорок прехов простят, которая из бедных сок высасывала, и это преступление? Не думаю я о нем и смывать не думаю».



Я не буду задерживаться на том, как растерянно, неумело, нелепо бросился Раскольников в соседнюю комнату обыскивать комод и укладку, находившуюся под постелью, как набивал он в карманы браслеты, кольца и серьги... Но он не успел много набрать.

Всегда таинственные силы жизни, приведенные в движение его преступлением, уже начинали действовать наперекор его же расчетам и намерениям. По повелению Божественной воли проснулась его судьба, дотоле спавшая в умолкнувших Перунах. Случилось так, что Лизавета гораздо быстрее, чем это можно было предвидеть, вернулась домой после делового свидания с мещанами-торговцами. И вот посыпалось Раскольникову, «что в комнате, где была старуха, ходят... Он сидел на корточках у сундука и ждал, едва переводя дух; но вдруг вскочил, схватил топор и выбежал из спальни.

Среди комнаты стояла Лизавета, с большим узлом в руках, и смотрела в оцепенении на убитую сестру...»

Я уже говорил о том, что таким крошечным беззащитным существам, как Лизавета, порою бывает суждено от Бога стать, во спасение погибающего ближнего, жертвой закланной. Теоретически это, конечно, не трудно понять, на то имеются различные философские и богословские рассуждения. Несравненно труднее приобщиться к этой жизненной истине животрепещущим сердцем. Тут надо, как говорит Достоевский, «непосредственно ощутить жизнью пережитое ощущение подобного таинства». Ныне нам, русским, после всего нами виденного и пере-

чувствованного и в свое время предсказанного Достоевским, легче, чем другим, вспоминая испытанное, не предаваться бесплодным абстракциям, но постигать всем существом доподлинную ткань бытия. Если же упоминать о своем личном опыте, то я должен признаться, что эта истина дошла до меня далеко не сразу. А Достоевский болел ею всю жизнь, вплоть до самого проба, и по-видимому так и не мог до конца оправдать Божества, допускающего страдания ребенка, принося его, ни в чем не повинного, в жертву во спасение злодея. Отсюда возникал бунт Достоевского, и мне кажется, поскольку можно судить о сердечных решениях другого, что автор «Братьев Карамазовых» не всегда открывал сердце навстречу высказанной Хомяковым мысли о Боге Отце, приносящим в жертву людям собственного Сына для того, чтобы раз и навсегда опять у них право роптать на Небо. И, думается, что Достоевский очень был бы склонен присоединяться подчас и изъятию поэта нашего времени: «Нет, если мир — Божественная тайна, он каждый миг клеветает на себя».

Однажды, в годы гражданской войны в Испании, мне попалось в газете извещение о том, как настроенные гуманистически мадридские революционеры захватили семью какого-то испанского помещика и приговорили ее к расстрелу. Пятилетний мальчик, сын помещика, умолял республиканских судий пощадить его и предлагал им в подарок свою любимую игрушку — плюшевого зайчика. Однако социальная справедливость превыше всего, и, во имя ее, мальчик был расстрелян. Когда я прочитал это, первым моим движением было погрозить небу бессильным кулаком. И только очень постепенно, мучительно медленно зародилась, созрела и укрепилась во мне не головная, а сердцем выстраданная мысль, что этот испанский мальчик и есть живой и неопровержимый символ ежедневно нами распинаемого Христа. Напрасно думать, что распятие Сына Божьего длилось лишь до девятого часа, оно продолжается, и нет ему ни конца, ни края.

Нет сомнения, что именно из таких мыслей и чувств, творчески интуитивно, исходил Достоевский, подставляя голову крогчайшей своей героини под острие топора. Убивая Лизавету, Раскольников, сам того не понимая и не ведая, глубоко забрасывал в себя некое озимое зерно. Только эта озимь была происхождения нездешнего, как и смертельная зима, оледенившая душу преступника. О подобной зиме можно было бы сказать словами великого поэта, что она, каким-то непостижимым для нас чудом, «преет сев для будущего мира», особый сев, не скоро и не всегда превращающийся в тучный колос — в кающегося прешника. Непосредственно из убийства Лизаветы зарождается и возникает для Раскольникова его, теперь уже неминуемая, встреча с Соней Мармеладовой, с крестовой сестрой убитой. И Соня скажет ему о Лизавете: «Она была справедливая, она Бога узрит». Соня с Лизаветой когда-то поменялись крестами. Соне и суждено было стать живым символом засеянного в Раскольникова самим Богом нездешнего зерна — душевной частицы, представшей по смерти перед престолом Всевышнего, мученически погибшей Лизаветы.

Увидев Раскольникова, выбежавшего с топором из соседней комнаты, «она задрожала как лист, мелкой дрожью, и по всему лицу ее побежали судороги; приподняла руку, раскрыла было рот, но всё-таки не воскликнула и медленно, задом, стала отодвигаться от него в угол... Он бросился на нее с топором; губы ее перекосилились так жалобно, как у очень маленьких детей, когда они начинают чего-нибудь путаться... И до того эта несчастная Лизавета была проста, забита и напугана раз навсегда, что даже руки не подняла защитить себе лицо... Она только чуть-чуть приподняла свою свободную левую руку, далеко не до лица,

и медленно протянула ее к нему (топору. — Г. М.) вперед, как бы отстраняя его. Удар пришелся прямо по черепу, острием... Она так и рухнулась. Раскольников совсем было потерялся, схватил ее узел, бросил его опять, и побежал в прихожую».

Когда Раскольников убивал Лизавету, топор, как бы сам собою, повернулся к нему обухом, потому что в тот миг орудие убийства не угрожало и не могло угрожать убийце мщением, оно, по Божьему попущению и соизволению, острием своим обрушилось на ни в чем не повинную жертву — на инобытие распинаемого Христа.

Мы видим, что всё происходившее нарастало и развивалось с неудержимой внутренней логикой, помимо внешней воли и соображений Раскольникова: у жизни, у бытия имеются свои пути, своя последовательность и воля, соответствующие нашим внутренним хотениям, недоступным рассудку. Человека, замыслившего и совершившего преступление, постигает участь колдуна, поражаемого сокрушительными последствиями собственного злого колдовства. Узвимость колдуна и всякого преступника заключается в том, что ни тот, ни другой не знают в точности, какие силы приведут они в действие, и на кого именно обратятся эти, разнузданные ими, энергии.

«И если бы, — говорит Достоевский, — в ту минуту он (Раскольников. — Г. М.) в состоянии был правильнее видеть и рассуждать; если бы только мог сообразить все трудности своего положения, всё отчаяние, всё безобразие и всю нелепость его, понять при этом, сколько затруднений, а может быть и злодейств, еще остается ему преодолеть и совершить, чтобы вырваться отсюда и добраться домой, то очень может быть, что он бросил бы всё и тотчас пошел бы сам на себя объявить, и не от страха даже за себя, а от одного только ужаса и отвращения к тому, что он сделал. *Отвращение особенно поднималось и росло в нем с каждой минутой* (выделено мною. — Г. М.). Ни за что на свете не пошел бы он теперь к сундуку и даже в комнаты».

Однако не дано видеть и рассуждать правильнее тому, кто только что совершил, и вдобавок ради «идеи», кровавое преступление. Иначе он тотчас же сам признал бы себя развенчанным богом, а это совсем не легко. Ведь если духовное падение человека происходит постепенно, по этапам, то еще неизмеримо медленнее, мучительнее и труднее обретаем мы снова полную ясность сознания, ведущего к утрызениям совести и, лишь в конечном итоге, да и то не всегда, к истинному раскаянию.

Почти совсем машинально Раскольников заглянул на кухню и, увидев там ведро, наполовину наполненное водою, догадался вымыть топор и свои окровавленные руки.

«Мучительная, темная мысль поднималась в нем, — мысль, что он сумасшествует, и что в эту минуту не в силах ни рассудить, ни себя защитить, что вовсе, может быть, не то надо делать, что он теперь делает...» Он опять бросился в переднюю... «Но здесь ожидал его такой ужас, какого, конечно, он еще ни разу не испытывал.

Он стоял, смотрел и не верил глазам своим: дверь, наружная дверь, из прихожей на лестницу, та самая, в которую он давеча звонил и вошел, стояла отпертая, даже на одну ладонь приотворенная... Старуха не заперла за ним, может быть из осторожности. Но Боже! ведь видел же он потом Лизавету! И как мог, как мог он не догадаться, что ведь вошла же она откуда-нибудь! Не сквозь стену же!.. Надо идти, идти!... Он... стал слушать на лестницу».

Но главный неотвратимо надвигающийся ужас ожидал его впереди, ужас роковой, как стук каменного командора, своевольно потревоженного Дон Жуаном и пришедшего пожать ему руку своєю каменной десницей и провалиться вместе с ним в глубины развешающегося ада.

Раскольникову послышались шаги, еще очень далеко, в самом начале лестницы. И «с первого же звука, — пишет Достоевский, — тогда же он стал подозревать почему-то, что это непременно сюда, в четвертый этаж, к старухе. Почему?»

Когда Достоевский задерживает ход повествования и задает свое «почему», то читателю необходимо тотчас насторожиться, чтобы найти для себя ответ на задаваемый вопрос. «Шаги были тяжелые, ровные, неспешные, — продолжает Достоевский. — Вот уже он прошел первый этаж, вот поднялся еще; всё слышней и слышней!.. Послышалась тяжелая одышка всходявшего. Вот уж и третий этаж начался... Сюда! И вдруг показалось ему, что он точно окостенел, что это точно во сне, когда снится, что догоняют, близко, убить хотят, а сам точно прирос к месту, и руками пошевелить нельзя».

К сожалению, донныне существует весьма легкомысленное мнение, все еще не опровергнутое окончательно, несмотря на старания Иннокентия Анненского и Вячеслава Иванова, что будто бы слаб, не своеобразен и не выразителен язык Достоевского. Тому виною всеобщее безоглядное увлечение «изобразительностью», «живописностью» реалистического романа. Но язык Достоевского, это — прежде всего, звуковая лепка, подобная музыке Мусоргского в «Борисе Годунове» и в «Хованщине». Он ничего не живописует, не изображает, но ритмом, паузами, ускорениями и замедлениями, повышением и понижением речи дает ощутить потаенное, слышимое, но глазами невидимое, подспудное движение жизни. Чего стоят по выразительности в только что приведенных мною словах эти подчеркнутые самим автором «сюда» и «он», эта «одышка всходявшего», это как бы небрежное, в тревоге недоговоренное, «вот уже и третий начался», эти прерывистые «догоняют, близко, убить хотят».

Невольно вспоминаются мне замечательные слова Ремизова, сказанные о персонажах Достоевского: «Нереальные, эти — только мысли — герои, живы и действуют, как кожные, а по вострепугу — неотразимы. Слушайте, только — чур! Не трогать пальцами: рука скользнет по воздуху».

Это оттого так, что в жизненной подспудности, в мистериальном шествии бытия нет чувственных образов, но лишь сущность образа. А Достоевский весь в тайном, в подспудном, в мистерии. Потому-то, когда уже кончились и совершенно исчерпали себя реалистические романы, созданные лучшими мастерами, творения Достоевского продолжают в бесконечности.

«Всходил» по лестнице совсем не каменный гость, а самый будничнейший обрусевший деловой немец Кох. Поджидал же его наверху не гвардии офицер Герман, не застывшая благообразно в кресле, умершая от испуга старая графиня и не ее романтическая воспитанница Лиза, но бывший студент-оборванец и окровавленные тела ростовщицы и ее сестры, мещанки Лизаветы. И всё же Кох не поднимался, а всходил по лестнице, и всё же неподвижные тела ростовщицы и Лизаветы были так таинственно страшны, что ни за что на свете не вернулся бы Раскольников из прихожей в комнаты. Недаром, только что до того обыскивая убитую им старуху, не посмел он рубнуть топором по застрывшему у нее за пазухой шнуру, с привязанным к нему кошельком. Ведь мертвые не только «сраму не имут», но в их расprostертых останках есть что-то священное и мистически живое даже для самого убийцы.

Почему Раскольников мгновенно учуял, что поднимающийся по лестнице человек идет в четвертый этаж, сюда?

Обычно дремлющие в нас многочисленные познавательные способности внезапно просыпаются, когда надвигается опасность. Тогда снова и снова обнаруживается в жизни и творчестве Достоевского непреложный закон: всё, что происходит или долженствует с нами произойти, уже совершилось в нашей душевной глубине. Поэтому, находясь в предельном напряжении всех своих чувств, Раскольников угадал, куда именно направляется «всходивший» по лестнице незнакомец.

Мы знаем, что в нужное мгновение Раскольников не уловил значения, заключавшегося в разительном сходстве положений, занятых им и ростовщицей, — им, стоявшим снаружи у двери старухиной квартиры, и самой старухой, притаившейся за той же дверью, изнутри, в прихожей. Теперь начинал раскрываться потайной смысл этого страшного для Раскольникова схождения.

Душа смиренной Лизаветы, узревшая Бога, посылала навстречу убийце — ему во спасение — свою крестовую сестру, свое инобытие в земном облике Сони Мармеладовой, и свое евангелие, как бы случайно увиденное Раскольниковым в Сониной комнате на комодике. Но нет случайного, существование мистериально, и каждый наш жест, каждый волос на голове состоят на учете.

Насильственно и внезапно отправленная Раскольниковым в загробный мир ростовщица понесла с собой туда неизбежную злобу и неутоленную жажду паразитарной наживы. А зло как раз паразитарно; оно само по себе небытийственно и существует лишь за счет дыхания, дарованного вселенной Творцом. Убивая ближнего ради попрания самого принципа, человек призрачно самообогащается и берет на себя сверх тяжелой ноши собственных неискупленных прегрешений еще и прехи убитого, неуспавшего покаяться. Но ведь по слову поэта, «Тот, грехи подъявший мира, осушивший реки слез», был, действительно, Богом и потому мог понести на себе, по Всевышнему Праву и Божественному Соизволению, всё зло, содеянное людьми. Что же может убийца, палач, самозванный бог? Умерщвляя другого, он входит с ним в противобожественные и противоестественные извращенные злодуховные сношения, создавая безобразную круговую поруку грехов и пороков убивающего с убиваемым. Палач заражается душевным смрадом своей жертвы, мстящей ему через живых посредников, утверждая его, при их содействии, в нераскаянности, ведущей убийцу к окончательной духовной гибели. Злая жертва становится палачом своего бывшего злого палача.

Когда «всходивший» по лестнице стал подниматься в четвертый этаж, Раскольников «успел-таки быстро и ловко проскользнуть назад из сеней в квартиру и притворить за собой дверь. Затем схватил зазор и тихо, неслышно насадил его на петлю. Инстинкт помогал. Кончив всё, он притаился не дыша, прямо сейчас у двери. Незванный гость был уже тоже у дверей. *Они стояли теперь друг против друга, как давеча он со старухой, когда дверь разделяла их, а он прислушивался*» (Подчеркнуто мною. — Г. М.).

Тут я считаю не лишним сделать небольшое отступление, чтобы провести еще раз ясную грань между художниками душевно-телесного склада — создателями реалистических романов и их читателями, с одной стороны, и художниками духовно-телесного строя — с другой.

Иной читатель может принять в «Преступлении и наказании» такое повторное стояние у дверей за обычный в уголовных романах, чисто внешний эффектный прием. Произнес же свое глубокомысленное суждение Золя, прочитав «Пре-

ступление и наказание»: «Немногим выше Рокомболя». Но что говорить о Золя, когда Бунин, да и сам Лев Толстой, были о творчестве Достоевского приблизительно такого же мнения. (Слова Толстого о чисто дидактически моральном значении писаний Достоевского в счет не идут.) По свидетельству Горького, на этот раз, по-видимому, правдивому, Толстой сказал ему однажды: «Я перечитал недавно «Преступление и наказание», как это глупо!» Это заявление звучит, по крайней мере в передаче Горького, несколько двусмысленно. Что глупо? «Преступление и наказание» или то, что Толстой перечитал этот роман? Во втором случае, Толстой был бы ближе к истине. Ему незачем было перечитывать творений Достоевского, точно так же, как и трагедий Шекспира. Тем более, не следовало Толстому писать беспомощной статьи с целью показать нам, что Шекспир всегонавсего заурядный писатель. Художникам душевно-телесного склада, как бы ни были они могущественны в своей области, доступ ко всему духовному закрыт. Слова апостола Павла на веки вечные остаются в полной силе: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает сие безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно».

Спешу добавить, что я веду речь не о превосходстве друг над другом художников того или иного плана, а только о необходимости каждому из них занять подобающее ему место. Достоевский, в свою очередь, не склонен был, судя по его печатному отклику на «Анну Каренину», признавать за Толстым гениальности. Он полагал, что Толстой, с присущим ему опромным талантом, развивает некоторые художественные идеи Пушкина. Не больше. А о Золя в одном своем письме Достоевский говорит: «Прочитал роман Золя "La terre". Какая гадость!»

В заключение скажем, что в творениях Достоевского получается на деле кое-что глубже и посложнее, чем у Золя и Рокомболя. И приступая к изучению романов-мистерий Достоевского, нужно заранее обрести искусство медленного чтения.



Раскольников и незванный посетитель стояли друг против друга, причем убийца занял теперь место своей жертвы.

«Гость несколько раз тяжело одыхнулся. *«Толстый и большой, должно быть»*, подумал Раскольников, сжимая топор в руке. В самом деле, точно всё это снилось. (Подчеркнуто мною. — Г. М.) Гость схватился за колокольчик и крепко позвонил.

Как только звякнул жестяной звук колокольчика, ему (Раскольникову. — Г. М.) вдруг как будто почудилось, что в комнате пошевелились. Несколько секунд он даже серьезно прислушивался» (Курсив мой. Г. М.).

Почему же ему показалось, что все это лишь снится? Прежде всего потому, что, убив, он еще не успел познать собственного черного превращения, того, что, по существу, он уже не прежний Родион Романович Раскольников и не просто Родя в кругу близких друзей, для матери и сестры, но некто темный, безымянный, сделавшийся безликой добычей своей мстительной жертвы. Став иным, он как бы попал в иной мир, подтвержденный неведомым законам, и этот другой мир показался ему, новичку, жутким сновидением. Когда позвонили в квартиру, ему почудилось, что в комнате пошевелились потому, что прошел сквозь него невидимый ток от позвонившего к еще неостывшему телу старухи. А что ощущает еще горячая плоть только что убитого существа, какою жизнью она продолжает жить, мы не знаем. Но брякнувший на особый лад звонок и кажущееся

шевеление в комнате, — все это было начинающимся наступлением на Раскольникова отправленной им в неизвестные области ростовщицы, как бы принявшей облик кого-то «толстого и большого», которого придется, пожалуй, рубить теперь топором, как свиную тушу.

Ростовщикам присуща злая мистика. До сновидения Раскольникова о старухе, Достоевский касается этой мистики лишь побочно, намеками, давая нам возможность почувствовать ее присутствие будто случайно оброненными словами. Всё же, зорко следя за развитием повествования, мы явно ее улавливаем. Одно непереложно: ни под каким видом нельзя пренебрегать у Достоевского мельком сделанными замечаниями, мимоходом брошенными словами, им ли самим ют себя или его персонажами. Надо знать и непрестанно помнить, что в творениях Достоевского всё, абсолютно всё, живет часто инопланетными, разнородными по отношению друг к другу, существованиями. В центре вселенной находится человек; от него идут непрерывные флюиды и токи ко всему природному и сверхъестественному. Эти магические волны, исходящие от человека, снова возвращаются к нему, начиная от изделий человеческих рук, от вещей, непосредственно его окружающих, безразлично каких, будь то дом, звонок, нож, шаль, кошелек, топор или ключ. Примеров того, что для Достоевского всё живет и таинственно между собою общается, можно найти в его творчестве множество. Вот, к слову, один из них, весьма характерный. Стараясь не замараться текущей кровью, Раскольников вынул из кармана убитой старухи ключи в одной связке, на одном обручке, и побежал с ними в спальню. — *Странное дело: — оговаривается Достоевский, — только что он начал прилаживать ключи к комоду, только что услышал их звяканье, как будто судорога прошла по нем.* (Выделено мною. — Г. М.). Ему вдруг опять захотелось бросить всё и уйти. Но это было только мгновение; уходить было поздно. Он даже уюмехнулся на себя, как вдруг другая, тревожная мысль ударила ему в голову. Ему вдруг почудилось, что старуха, пожалуй, еще жива и еще может очнуться. Бросив ключи и комод, он побежал назад, к телу, схватил топор и намахнулся еще раз над старухой, но не опустил. Сомнения не было, что она мертвая».

Какая же может быть связь между звяканьем ключей и умерщвленной за две минуты до того их владелицей, и каким образом эта связь дает судорогой о себе знать убийце? Упоминания о судорогах нередко встречаются в творчестве Достоевского. Судорога пробегает по лицу того или иного из его персонажей иногда ют крайнего испуга, но, чаще всего, она выдает присутствие беса, плотно засевшего в человеке. Ключи, запирающие несправедливо накопленные ростовщицей чужие деньги и драгоценности, дороже ей собственной жизни. И, как это ни абсурдно на первый взгляд, но юкупец, умирая, всегда надеется захватить с собой свое золото. Недаром у Пушкина скупой рыцарь, чувствуя приближение неминуемой смерти, взывает: «Где ключи? Ключи, ключи мои!»

Творчество Достоевского органически вырастает из «Скупого рыцаря», «Пиковой Дамы» и проблемы совести у Пушкина. Нет никакого сомнения, что, говоря о ключах ростовщицы, вызвавших судорогу, пробежавшую по телу убийцы, Достоевский помнил ю том, как умирает пушкинский скупой рыцарь. Ключи убитой старухи сохранили с нею зловещую связь. Несомненно, что так же неотступно думал Достоевский и о старой графине из «Пиковой Дамы» во все время, пока писал «Преступление и наказание». И когда нежданный Раскольниковым гость в нетерпении дергает за звонок и ревет, как из бочки, обращаясь к лежащей за дверью убитой ростовщице: «Эй, Алена Ивановна, старая

ведьма!», то мгновенно вспоминается обращение к старой графине Германа, еще не успевшего заметить, что она умерла: — «Старая ведьма! так я же заставляю тебя отвечать!»

Слова у таких великих художников, как Пушкин, Гоголь, Достоевский, кроме внешнего, для всех привычного смысла, очень часто имеют еще и второе, углубленное значение. Гоголь и Достоевский многому учились у Пушкина, научились они у него и хитрой игре со словом, как бы невзначай сказанным, и сложной игре с замечаниями, клинутыми будто между прочим, нечаянно. Так, например, у Гоголя, майор Ковалев, утративший нос, избежавший от него при загадочных обстоятельствах, приходит в газетную экспедицию, чтобы объявить о столь трагическом для него происшествии в печати и, на вопрос недоумевающего чиновника, отвечает: «Нос, мой собственный нос пропал неизвестно куда. *Чёрт хотел подиутить надо мной*». Эти слова Ковалева, подчеркнутые не Гоголем, а мною, могут пройти и проходят незамеченными читателем. Ведь мало ли кто привык помнить чёрта с раннего утра до позднего вечера! Однако в этом замечании Ковалева кроется разгадка всего замысла гоголевского «Носа».

Старая графиня, сидевшая неподвижно перед невольным виновником ее смерти, явилась потом Герману ночью, не то во сне, после того как ему, спящему, померещилось, что он проснулся, не то прямо наяву с того света. Старая ведьма в «Пиковой Даме» опомстила своему убийце и полностью над ним восторжествовала. Но в «Преступлении и наказании» дело отмщения для старой ведьмы чрезвычайно осложнилось вмешательством Божественной воли и ангельских сил, и пришлось преисподней вплотную вести яркую борьбу с Небом за обладание преступником, понесшим в себе оземное неземное зерно, Богом заброшенное в него при посредстве убитой кротчайшей Лизаветы. Эта нездешняя озимь прозила чёрту пустить, на глазах у него, в душе убийцы чудодейственный росток покаяния. От этого замысел «Пиковой Дамы», целиком воспринятый Достоевским, растет, расширяется и бесмерно усложняется в «Преступлении и наказании».

Напоминано уже сказанное мною: три плана вселенского бытия — наш — земной; небесный — ангельский и, наконец, inferнальный — бесовский, — лишь слегка намеченные у Пушкина, становятся в творчестве Достоевского неопровержимой, явленной нашим умам и сердцам высшей реальностью. Эти три плана как у Пушкина, так и у Достоевского, не только не отделены друг от друга герметически, но находятся в непрерывном взаимодействии, и каждый из нас, людей, служит по отношению к своему близкому проводником ангельских или демонских сил. Три воли пересекаются между собою — божественная, дьявольская и человеческая; и внутренняя воля человека сама свободно выбирает, чьим проводником ей быть — света или тьмы.

Разгадать многообразное переплетение человеческих встреч, никогда не бывающих случайными, вызываемыми изнутри нашей волей, нашими хотениями и вожделениями — вот чего добивается Достоевский. Его творческая интуиция знает при этом, что рядом с нашей волей, устремляющейся то вверх, то вниз, неотлучно движутся духи добра и зла, ищущие проявиться через человека.

Есть волевые творцы художества и есть служители искусства медиумические. Ко второму разряду художественных натур у нас, например, всецело принадлежал Блок, во Франции — Верлен. Они пассивно пропускали в себя и через себя различные космические соблазны и прельщения, и потому их поэзия роковым образом должна была стать демоничной. Художниками, лишенными волевой сопротивляемости, властвуют демоны. Но великий грех возлагать всю ответственность за это на одних поэтов-медиумов. Нет, за направление их искус-

ства отвечаем мы все, с ними живущие. Художник всегда отражает метафизику своей эпохи, скрытые устремления своих современников, положительные и отрицательные, святые и греховные. Явление Блока в краткий период русского ренессанса, во времена Державина и Пушкина, было бы невозможным, немислимым. Но уже Гоголь учуял и предсказал скорое рождение страшилищ и чудищ, а Достоевскому выпало на долю вступить с ними в длительную борьбу. Создатель «Преступления и наказания», «Бесов» и «Братьев Карамазовых» был художником волевым и потому, до глубины всего своего существа, сознательным. Он обладал не одним, но двумя исполинскими умами. Один из этих умов входил неотъемлемой органической частью в его интуицию, другой пребывал над творческим процессом, зорко следя за ним. Этот, всё поверяющий ум заведывал искусством Достоевского и не пропускал в него ничего, самому автору не удобного. Блок — слуга искусства безотчетный, пассивный; Достоевский же, подобно Баратынскому и Пушкину, принимает на себя ответственность за каждое свое слово. Он, как и Баратынский, принадлежит к разряду творцов, очень редко встречающемуся; он — художник мышления, высшей стадии сознания, опровергающей во всем позитивный рассудок, который, в свою очередь, считает такое сознание безумием. Но ведь подлинное искусство, к какому бы оно роду ни относилось, с точки зрения рассудка, — бессмыслица ничуть не меньшая, чем религия. И как раз то, что для рассудка — абсурд, то и рождает всякое искусство с религией. Человеческий рассудок, по слову апостола Павла, есть мерзость перед Господом, и поэтому прав Иннокентий Анненский, утверждавший, что в основе художественного творчества «лежит обожотворение невозможности и бессмыслицы», как и в основе религии, — остается мне добавить от себя. Евклидову уму нет места ни в религии, ни в искусстве. Кстати, ныне, после открытий Лобачевского, нельзя серьезно отрицать того, что евклидовские истины ценны лишь относительно.

Полнейшее обожествление художником невозможности и бессмыслицы я и называю высшим сознанием. И всё, что могло бы показаться здесь отступлением, сделанным мною от основной темы, в действительности ведет непосредственно к ней и прямо упирается в обрусевшего немца, делового и практического Коха, никогда, конечно, не чаявшего стать героем романа-мистерии. Да, Кох безнадежно сер и вдобавок жуликоват, «мошеник какой-то», по определению Разумихина. Он скупал у ростовщицы просроченные вещи для перепродажи и, следовательно, был связан с нею в нечистом деле кругового порука греха. В сером, в ничтожном, в будничном художественный взор Достоевского всегда различал некое тусклое темноватое мерцание мистики, — иногда злой, удушающей живое, но порою готовый вспыхнуть неодолимым незакатным светом. Это недоступное обычному взгляду мерцание превращало для Достоевского весь мир, со всеми его вещами и существами, из трехмерного в трехпланный. Попав в поле художественного зрения Достоевского, не избежал такого превращения и Кох. Связанный с ростовщицей общим им обоим грехом, он, после того как она была убита, сделался — пусть всего лишь для начала — избранным ее посредником, проводником ее мстительных намерений. Ток, пробежавший от ростовщицы к приближающемуся к квартире Коху, пронзил Раскольникова, приобщив его к мнимо к иному плану существования, и застигнутый врасплох убийца тотчас догадался, что «всходящий» по лестнице направляется в четвертый этаж, сюда.

Входная дверь, у которой изнутри в прихожей стоял Раскольников, была

им заперта не на ключ, а всего лишь крючковатым запором. Кох, видя, что никто не отвечает на звонки, стал дергать за ручку двери.

«В ужасе сморел Раскольников на прыгавший в петле крюк запора и с тупым страхом ждал, что вот-вот и запор сейчас выскочит». Но тут Кох, остервенясь, снова принялся дергать колокольчик.

«В самую эту минуту вдруг мелкие, поспешные шаги послышались недалеко по лестнице... Раскольников и не расслышал сначала». Это был некто Пестряков, молодой человек, готовящийся в судебные следователи. Именно с этой минуты, еще очень издали, начала надвигаться на Раскольникова человеческая законность — беспощадность юридика.

Туповатый Кох никак не мог догадаться, что дверь не заперта на ключ, а держится на одном запоре и оттого при дергании отстает. Пестряков немедленно это сообразил и понял, что творится неладное. Оставив Коха сторожить у двери, он пошел за дворником. Но нетерпеливый Кох, подождав немного, бросил свой караул и тоже отправился вниз. Это и спасло Раскольникова, вернее же сказать, даровало ему отсрочку. Старая ведьма, во власти которой он теперь очутился, собиралась, очевидно, поиграть с ним, как кошка с мышью, да и не в ее расчетах было посадить своего убийцу в острог и тем самым дать ему возможность одуматься и прийти к покаянию. К тому же, по соизволению свыше, завязывался новый таинственный узел, вызванный к жизни и внутренней волей самого убийцы. В крутоворот событий должен был вступить теперь один из антиподов Раскольникова, ищущий пострадать маляр Миколка.

Раскольникову ничего не оставалось другого, как только попробовать, пока Кох и Пестряков не вернулись с дворником, сбегать по лестнице и проскользнуть незамеченным из подворотни на улицу. «Он уже сошел при лестницы, как вдруг раздался сильный шум ниже...»

«С криком вырвался кто-то внизу из какой-то квартиры... крича во всю глотку: — Митька! Митька! Митька! Митька! Митька! Шут-те-де-ри-и-и... Последние звуки послышались уже на дворе... Но в то же самое мгновение несколько человек, громко и часто говоривших, стали шумно подниматься на лестницу... «Они!»

Встреча с «ними» казалась неминуемой, — «и вдруг, спасение!.. направо, лустая и настезь оппертая квартира... в которой красили рабочие, а теперь, как нарочно, ушли. Они-то верно и выбежали сейчас с таким криком... В одно мгновение прошмыгнул он в отворенную дверь и притаился за стеной», и, когда Кох, Пестряков и дворники прошли мимо, вверх по лестнице, «вышел на цыпочках и побежал вниз».

А в пустой квартире, за стеной в углу остался лежать на полу обрonnenный им в спешке из кармана футляр с золотыми серьгами.

Для невидящих и неслышащих, живущих в мире, по слову Тютчева, как впотьмах, события и обстоятельства промоздятся и цепляются друг за друга, будто бы совершенно случайно. Для духовно слепых и глухих жизнь есть хаос, поскольку не вмешивается в нее и не наводит своих искусственных распорядков презрый людской рассудок. Однако у существования, движущегося одновременно в трех взаимообобщающихся планах, имеется своя безумная, с точки зрения позитивного рассудка, последовательность, постигаемая интуитивно и доступная только высшему художественному и религиозному сознанию. Бытие не укладывается ни в какие нами изобретенные научно-философские системы. Для них художник мышления идиотичен и несостоятелен. Но ведь у Достоевского, как

замечает Ремизов, — «живая жизнь мыслей, а для живой мысли последовательность (рассудочная, — добавлю от себя. — Г. М.) не обязательна». У Достоевского, — говорит Ремизов, — кипятилок, огонь мыслей».

Мысль истинного художника мышления, накаленная до предела непосредственным опытом страданий и радостей, отстраняет научно-философскую логику и, взамен ее, порождает собственную, кровно и духовно неопровержимую высшую последовательность, всегда совпадающую с тайной закономерностью существования, с ее динамикой, с ее взрывчатой сущностью. В этой динамике, решающей судьбы вселенной, а, следовательно, и человека, не может быть места мертвенной случайности, потому что всё живет в напряженных поисках самоопределения и соборного воссоединения. Хотя и невольно, но совсем не случайно оброненный убийцей футляр с серьгами подберет не случайно красильщик Миколка и попадет в круговорот жизненных сцеплений и энергий, взвихренных ищущей, преступно дерзающей волей своего антипода — Раскольникова. Вещи, по Достоевскому, живут и пропускают через себя многообразные токи, идущие от человека. Вещи — это звенья, связующие людей, находящихся, неизвестно для самих себя, в непрестанном общении с духами света и тьмы. Крайности соприкасаются: внутренняя воля Миколки, жаждущего смирения и личной жертвенности, не могла не встретиться в жизни с ненасытной порывней Раскольникова, жертвующей во имя самоутверждения не собой, но другими.

Я уже говорил, что нет в творениях Достоевского второстепенных персонажей. Где всё воистину дышит, раскрывая свою духовную сущность, там все одинаково важно, там средоточие повсюду, окружность нигде. Достоевскому, в силу основного замысла, нужно было поставить в центр своего повествования Раскольникова и тем обязать нас исходить от этого символа, прослеживая нити, связующие его со всеми остальными мыслями-героями, живущими и действующими в романе-мистерии. Но мог бы Достоевский, расположив свой замысел на иной лад, пойти, скажем, хотя бы от Коха или Миколки-малыра и придти неминуемо к Раскольникову.

Если Кох роковым образом столкнулся с убийцей ростовщицы в качестве проводника ее мистических намерений, то еще мистически глубже и бытийственней появление Миколки на путях Раскольникова, убившего безответную Лизавету. Миколка — это прежде всего мужественное преломление того, что руководило всеми поступками бессознательной Лизаветы, женственно пассивно воспринявшей и воплотившей в жизни идею самоотдачи и самопожертвования. Эта идея, мужественно преломленная человеком, тотчас включает в себя высшее духовное сознание круговой поруки вины: «всяк за всех виноват». А когда так, то, приняв на себя чужую лишь по виду вину, я порву порочный круг и приобщусь непосредственно к искуплению мирового зла. Именно так чувствовал и думал Миколка, и потому, если Соня Мармеладова — крестовая сестра злодейски умерщвленной Лизаветы, то Миколка — названный брат умученной праведницы, узревшей Бога. Это при ее невидимом содействии обронил Раскольников футляр с серьгами, который и подберет Миколка, действительно включаясь тем самым в развитие жизненной материи, в религиозный процесс бытия.

Миколка, подобно Соне, проводник спасительных излучений, направленных к Раскольникову от мученически погибшей Лизаветы. Миколка всем сердцем, всю душою хочет угодить Богу. Имена даются не случайно, и он при крещении назван именем святого Угодника, особенно чтимого русским народом. Но Достоевский никогда не мыслил прямолинейно, и нет в его творчестве коротких замы-

каний. Его живая мысль, неизменно развиваемая до конца, вызывает к жизни свое противоположение. Он помнит, что человек ежеминутно может изменить своему святому. Оттого у Миколки-красильщика есть антипод, такой же, как и он, деревенский парень — Миколка, пьяный и дикий, насмерть забивающий несчастную лошадь. Поразительно по бездонной глубине положение, творимое Достоевским: Раскольникову, уже порешившему в себе стать убийцей, снится именно этот антипод Миколки-красильщика — беспощадный Миколка, терзающий невинную тварь, божественную основу земного существования. Преступный Миколка связан с Раскольниковым круговой порукой преха. Они — родные братья по преступности, и обоим им одинаково противопоставлен не себе несущий свое имя красильщик, жаждущий возложить на себя мировую вину и страдание.

Тут я еще раз настойчиво отмечаю: мысль Достоевского — враг каких бы то ни было отвлеченностей, она прелепна, огненна, неотделима от подлинной жизни, от глубинных родников бытия, от того, что Ремизов очень удачно называет *первожизнью*. Мысль автора «Преступления и наказания» открывает доступ к сущному, ко всему нерасчленимому, неразложимому, исключаящему всякую абстракцию.

Миколка-красильщик в романе-мистерии — основной символ всечеловеческой совести, уязвимой, терзаемой чувством первородного преха, совести падшего Адама, не померкающей в душах лучших людей, верующих во Всевышнего. Изойдя от Миколки, от безвестного красильщика, деревенского тяжелодума, возжелавшего принять на себя чужую вину и судебную ответственность за зло, совершенное идейным злодеем, совесть мира навестит Раскольника, отпавшего от солнца живых. Она предстанет перед убийцей сначала наяву, приняв совсем не призрачный облик пригородного мещанина, «одетого в чем-то вроде халата, в жилетке, издали очень похожего на бабу» и, вслед затем, явится ему в сновидении, под видом все того же мещанина, «с дряблым морщинистым лицом, с заплаканными глазками, глядящими упрямое, строго, с неудовольствием», и поведет преступника к месту преступления — в квартиру ростовщицы, хотя на время быть может, но все же восторжествовавшей над своим палачом. Там душе спящего Раскольника раскроется неумолимая потусторонняя реальность: бывшее жилище умерщвленной процентщицы окажется преобразенным в немыслимый, невероятный для рассудка, неизъяснимо жуткий бесовский притон, озаренный не то опрощенным круглым, медно-красным месяцем, глядящим прямо в окно, не то кровавым, явно inferнальным заревом. Этот неслыханный притон и был на самом деле какой-то страшной разновидностью той мистарственной области, куда так внезапно отправил Раскольников старуху с ее неутоленной на земле паучьей алчностью. Когда приходил он к ростовщице еще только на пробу, — о, как давно! может быть, миллионы лет прошли с той поры, так успело измениться все и здесь и в его сердце, — но эта самая комната была ярко освещена заходящим солнцем. Раскольников навсегда запомнил, как в уме его, будто «невзначай мелькнуло»: «И тогда, стало быть, так же будет солнце светить». Он не ошибся — в день убийства солнце освещало сквозь закрытые окна и его, и топор, и старуху. Но теперь...

Однако подробная речь о сновидении Раскольникова, о Миколке, старой ведьме и мещанине, похожем на бабу, ожидает нас впереди. Пока же все мои упоминания о них — лишь флюиды, предварительно выпускаемые футляром с золотыми серьгами, оброненным убийцей. С вещами шутить нельзя. Хорошо,

в связи с Гоголем, сказано о них у Ремизова: «Вещи жгут и в своем огне распадаются, погасая в пепел». Говоря о творчестве Достоевского, к этому следовало бы добавить, что вещи испепеляются, но сущность их, пребывая в памяти человека, продолжает по-прежнему влиять и действовать.

Раскольникову, по-воровски, на цыпочках, вышедшему из пустой квартиры, где только что работали красильщики, неожиданно сбжавшие вниз, надо было никем не замеченным проскользнуть по лестнице, шмыгнуть из подворотни на улицу и там замешаться в толпе. И вот, если в нужную минуту «не рассудок, так бес» подсунил ему в руки топор, то и тут из совершенно, казалось бы, безвыходного положения выручил его едва ли не тот же дух, называемый откровенно и прямо чёртом «научно непросвещенными» людьми.

Чудеса на свете происходят разные и не столь редко, как мы обыкновенно думаем по свойственным всем слепоте и поразительному невниманию к текущей жизни. Чудеса творит не только Небо, о них — на погибель человеку — заботится и преисподняя. Ведь в собственном спасении Раскольников не принимал никакого действительного участия. Он в полном отчаянии шел на «будь, что будет!» «Остановят — все пропало; пропустят — тоже все пропало: запомнят». Его подлое подкрадывание на цыпочках само по себе ничему не помогало. Наши кажущиеся нам хитроумными уловки почти никогда не соответствуют непрестанно надвигающимся, изменяющимся сцеплениям и пересечениям жизненных обстоятельств. Приемы преступника, заматающего собственные следы, немногим целесообразнее петлистых прыжков по снегу, продельваемых зайцем с намерением укрыть от собак и охотников свое присутствие в логове. Нет, ближайшей и отдаленной судьбой преступника заведует и распоряжается, во всяком случае, не беспомощный человеческий рассудок.

Дом, из которого Раскольникову предстояло выбраться, как уже говорилось, был большой. «Входящие и выходящие жильцы, обычно, так и шныряли под обоими воротами и на обоих дворах». Когда Раскольников шел убивать старуху, его «как нарочно», заслонил в подворотне опромный воз сена, въезжавший во двор. Теперь снова это «как нарочно» пришло убийце на выручку: «Никого на лестнице, под воротами тоже! Быстро прошел он подворотню и повернул налево по улице». С ним повторилось то, что принято определять как «счастливый случай» или называть словом «повезло». Но, по Достоевскому, всё имеет мистическую первооснову, и именно потому его романы мистериальны. Кажущееся, по закону вероятия, совершенно немислимым, происходит с нами очень часто. Недаром для Достоевского «действительность фантастичнее всякой фантастики». Правда невероятна, и, чтобы сделать ее правдоподобной, необходимо прибавить к ней долю лжи. Почему это так? — Потому, отвечает Достоевский всем своим творчеством, что вселенная трехпланна, и в наш трехмерный мир то и дело вторгаются стремления и влияния существ, нам инопланетных, неведомых, однако побуждаемых к действию нашей собственной внутренней волей. Мы сами добровольно становимся посредниками и проводниками нам инопланетных сил, изменяющих, в той или иной степени, размеренный привычный ход земных событий и явлений. Раскольниковым владел «дух глухой и немой». Этот дух и был частично первопричиной совершающегося теперь с Раскольниковым.

«Не в полной памяти прошел он и в ворота своего дома; по крайней мере, он уже прошел на лестницу и тогда только вспомнил о топоре. А между тем, предстояла очень важная задача: положить его обратно и как можно незаметнее... Дверь в дворничью была притворена, но не на замке, стало быть, вероят-

нее всего было, что дворник дома. Но до того уже он потерял способность сообразить что-нибудь, что прямо подошел к дворницкой и растворил ее. Если бы дворник спросил его: «что надо?», он, может быть, так прямо и подал бы ему топор (выделено мною. — Г. М.). Но дворника опять не было, и он успел уложить топор на прежнее место...»

Из поведения Раскольникова вывод ясен: не он владел собою, но кто-то владел им; и не он сознательно, по своей воле, нес топор на прежнее место, но как будто сам топор — и это всего замечательнее — вел его к дворницкой. Я уже говорил о том, что история с топором чрезвычайно сложна и извилиста. Не рассудок, а бес вложил его в руки преступнику. Но необходимо помнить, что через топор должны были врезаться в душу Раскольникова и осуществиться грозные библейские слова: «Страшно впасть в руки Бога живого».

Лезвием и обухом указавший Раскольникову его судьбу, исполнивший двойную миссию, сколдованный бесом и отмеченный Богом топор скромно вернулся восвояси, лег, по-прежнему, как ни в чем не бывало под лавку в дворницкой. А Раскольников, ни единой души не встретив на лестнице, добрался до своей комнаты.

«Войдя к себе, он бросился на диван, так, как был. Он не спал, но был в забытьи. Если бы кто вошел тогда в его комнату, он бы тотчас же вскочил и закричал. Клочки и отрывки каких-то мыслей так и кишели в его голове; но он ни одной не мог схватить, ни на одной не мог остановиться, несмотря даже на усилия...»

На диване лежал воистину расколотый человек, прехом раздробленный Адам.

Читатели и писатели: «... И мое мнение!» (А. П. Чехов)

Борис Филиппов

Разговор по поводу и без повода . . .

Исключительно трагический характер современной эпохи, неслыханное обилие в ней зла и слепоты, расшатанность всех обычных норм и жизненных устоев предъявляют к человеческой душе такие непомерно-тяжкие требования, с которыми она часто не в силах справиться. Душа подвергается сильнейшему соблазну либо отречься от всякой святыни и предаться пустоте и призрачной свободе цинического неверия, либо с угрюмым упорством вцепиться в обломки гибнущего старого здания жизни и с холодной ненавистью отвернуться от всего мира и замкнуться в себе. Все старые — или, вернее, недавние прежние — устои и формы бытия гибнут, жизнь беспощадно отменяет их, изобличая если не их ложность, то их относительность; и отныне нельзя уже построить своей жизни на отношении к ним. Кто ориентируется только на них, рискует, если он хочет продолжать верить в них, потерять разумное и живое отношение к жизни, духовно сузиться и окостенеть, — а если он ограничивается их отрицанием, — духовно развратиться и быть унесенным мутным потоком всеобщей подлости и бесчестности. Время таково, что умные и живые люди склонны подлечь и отречься от всякого духовного содержания, а честные и духовно глубокие натуры склонны глупеть и терять живое отношение к действительности.

С. Л. Франк. Крушение кумиров

Передо мной интересная статья не пожелавшего объявить свое имя советского литератора: «Социалистический реализм и Цель». В ней затронуто столько вопросов, и вопросов самых коренных, что оппелсти страстную декламацию советского анонима обычным сейчас, ставшим уже банальным указанием на автономность эстетических ценностей, пожалуй, было бы просто глуповато, ибо, как хорошо говаривал еще Блок, — «Знаменательно, что передовые художники в наши дни уже не удовлетворяются вопросами «как» и «что». Сожжены какие-то твердыни классицизма и романтизма, и за вопросами о форме и содержании — с тупой болью и последним отчаянием — вырастает «проклятый» вопрос, посещающий людей в черные дни: «К чему?» и «Зачем?». Вопрос пьяницы в час тяже-

лого пробуждения»... Предоставим неосмердяковщине предпочитать «Лолиту» «Доктору Живаго» и, поплывывая направо и налево (читателей все равно ничем не удивишь, ибо читателей и нет), бороться с ветряными мельницами «социологизма», «морализма» и дилетантизма в оценке литературных явлений. Увы, вопрос «Для чего?» и «К чему?» — в литературе и искусстве — вопрос, пожалуй, более трудный, чем вопросы «что» и «как».

А этот вопрос стоит сейчас, пожалуй, еще шире: не только об искусстве (для большинства людей сравнительно безразличном: к чему живопись, раз есть художественная цветная фотография?), не только о литературе, а и о науке, и о технике, и о всей современной культуре. Недаром не только мудрый, а и остроумный мыслитель недоумевал:

«Не радует нас больше и прогресс науки и связанное с ним развитие техники. Путешествия по воздуху, этот птичий полет, о котором человечество мечтало веками, стали уже почти будничным, обычным способом передвижения. Но для чего это нужно, если не знаешь, куда и зачем лететь, если на всем свете царит та же скука, безысходная духовная слабость и бессодержательность?» (С. Франк).

Поэтому указание анонимного автора на то, что литература, Цель которой — *вне и выше* самого процесса эстетического смакования литературы, — выше и цельнее литературы самодовлеющей, «искусства для искусства», — неоспоримо по существу. И это утверждение всецело в плане всего течения большой русской литературы, всегда мучительно ставившей себе вопрос — о нравственном оправдании искусства. Другой вопрос — оценка самой *цели*, самого нравственного назначения искусства, ибо бездуховный и безблагодатный коммунизм-материализм — это как раз торжество той самой беспросветной пустоты и скуки, от которой начнешь читать даже романы Саган или пресловутую «Лолиту»...

Так вот от этой-то *цели* и болтали наши собеседники из нынешних (да и всегдашних) «разговоров по поводу и без повода»...



... Разговор был в полном разгаре:

— Мы покажем, Федор Яковлевич, нашу истинную, духовную культуру: нашу литературу, нашу музыку, нашу смиренную, всепримиряющую философию, — не нынешнюю, конечно, а исконную, поддонную, кондовую:

«Единство, — возвестил оракул наших дней, —
Быть может спаяно железом лишь и кровью»...
А мы попробуем спаять любовью,
А там посмотрим, что прочней...

Федор Яковлевич даже рассердился:

— Ну, да, начнется теперь цитирование, протитутующее непонятую тютчевскую мысль его строк: «Умом Россию не понять» и «Эти бедные селенья»!.. Так ведь Тютчев, Гоголь и Достоевский любили Россию не *благодаря*, а *несмотря* на ее нищету! Неужели вы думаете, что картины довольства и органического устройства — неудавшиеся, конечно, в художественном отношении, — помещиком Костанжогло его крестьян — для Гоголя не программа? А читали вы «Выбранные места из переписки с друзьями»? А вздумывались ли вы в перво-зданный рай Обломовки?

— Да что вы городите, Федор Яковлевич?

— А то, что меня глубоко возмущает это воспевание русских завалюх и грязных разбитых проселков в качестве какой-то панацеи для «прогнившего Запада»! Ведь нам и реально есть чем гордиться, господа, а не тем, в чем нам у «прогнивших» поучиться надо! Колоритно? Да! Да ведь жизнь — не музей, в ней жить и строить надо, следовательно, и ломать хотя бы и историческое, колоритное... А главное, почему это вы, господа, так за нищету и грязные избы и разбитые дороги стоите? Ведь сами-то, небось, со стороны созерцать хотите? Оно интересно, — старый город с улицами в метр шириной поглядеть, а жить там, в этих домах XV века вы согласились бы? Нет, вы живете в презираемом вами за безвкусицу конструктивном доме-коробке — с ванной, газовой плитой и большими окнами на солнце! А для других — не смей сковырнуть древнюю живописную завалюху, сырую и в переулке-щели! Это, господа, всё эстетика-с, следовательно, — зло и прех!

— Вы, Федор Яковлевич, всегда со своими парадоксами.

— Никаких тут нет парадоксов, извольте прослушать маленькую лекцию...

— Слушайте. Всякая деятельность может быть разделена на работу и игру. *Работа* — деятельность заинтересованная, корыстная, ибо цель ее лежит за пределами самой деятельности; эта деятельность нередко мучительна и тягостна. *Игра* — бескорыстна, так сказать, самоцельна, ибо основное назначение ее — наслаждение самим процессом деятельности; смысл игры — в самой игре. Как появилась на свет эта деятельность? Когда какой-либо орган лишен возможности нормального — трудового, заинтересованного в результате самой деятельности, а не самой деятельностью, — нормального управления своих функций, — энергия, накопившаяся в нем, требует разрядки.

Вот вы сейчас потянулись и расправили свои члены, Семен Никандрович. Это — тоже разрядка, так как энергия, накопившаяся в ваших членах во время нашего спора, требует выхода.

Детские игры — не игра, а работа: это педагогизм, где девочки со своими куклами приучаются быть матерями и хозяйками, а мальчишки — солдатами, механиками, железнодорожниками, художниками. Заметили ли вы, например, что из мальчишек, не ломающих свои игрушки, выходят, как правило, идиоты?

Я отвлекся. Поясню свою мысль примером.

На берегу, скажем, Волги сидит с удочкой, положим, народный артист Союза ССР Александр Пиротов. И удит рыбу. Любитель он большой рыбной ловли. Так поэтично посидеть и посумерничать, мечтательно пуская тонкие колечки дыма дорогой папиросы. Вдали — древний вал и остатки городской стены когда-то великокняжеской резиденции. Купола, башни, изъеденные временем зубцы кирпичных стен, зеленые склоны вала, поросшие ромашкой, опрокинулись в воду, а по Волге плывут красавицы-беляны. Это сплавляют к Каспию лес. Где-то далеко-далеко слышится песня, широкая как сама Волга-матушка! Хорошо! Хорошо не думать о надвешей Москве и вечной работе в опере — работа артиста каторжная! — хорошо забыть всё и только следить, как из перистых и кучевых облаков над головой, освещаемых последними золотыми лучами солнца, образуется то верблюд, то рояль, то толстая старуха — жена директора Большого Театра.

— Кажется, клонуло? Сорвалось? А, чёрт с ней! Поймаю я или не поймаю — какая разница? Были бы денюжки, — в матазинах рыбы сколько уютно!

А на другом берегу сидит с удочкой Павел Мосейч Птаха. Сети у него нет, бредня тоже, да и страшно иметь их: обложил бы его тогда колхоз или сельсовет (кто их там разберет — кто?) твердым заданием — доказывай после, что ты не верблюд... Оно, конечно, с удочкой много не наловишь, да зато никто и не стукнет, что имеется, мол, побочный приработок... А тут, гляди, на ушицу и словишь рыбешки. Хлебушка хоть и нету — на трудодень достались слезы, — но всё горячей ушицей и он сам, и Матрена, и ребята брюхо облакают. Правда, устатно после рабочего дня еще часа два-три с удочкой высидживать, и брюхо подводит, — да жрать-то надо... Эх, ловилась бы только лучше! И нет ему дела ни до красот волжских, ни до тучек, а вот что скоро наступит тьма, закатится солнце, а рыбок наловил всего пять — и малехоньких — это важно!

Дроворуб-профессионал, живущий этим трудом, заинтересован не в процессе работы — скорее в максимальном уменьшении трудовых затрат, усилий, — и никогда не поймет геморроидального профессора, рубящего дрова, чтобы по-размяться.

Игра принимает и более сложные и утонченные формы. И тем не менее, она остается той же игрой, себедовлеющей, самодовлеющей деятельностью — ради самой деятельности.

И чем больше высвобождается человек от неизбежной борьбы за существование, тем более времени, сил душевных и телесных и средств уходит на игру. Подсчитайте, например, сколько у современного человека сил уходит на искусство, шахматы, особенно спорт!

Искусство родилось в качестве работы. Ни культовые, военные, охотничьи или брачные танцы-хороводы; ни военные марши и церковные песнопения и мистерии не преследовали эстетических целей. Не было деления на исполнителей и публику — все активно участвовало в действе. А цель искусства была вне самой деятельности, внеположной ей. Такова природа и современного религиозного и агитационного искусства.

Вы помните, конечно, знаменитый исторический анекдот об аттическом поэте Тиртее. Спартанцы вели тогда с кем-то войну в союзе с Афинами и просили афинян о присылке сикурсу — подкрепления. Афинский ареопаг подумал, подумал, — да и прислал в Спарту одного разьединственного хромого сельского учителя. Но то был Тиртей, героический пилит. Выдрутались было сторяча спартанцы: — Ну, и жулики же наши союзники! — и чуть было не сбросили в сердцах Тиртея со скалы в море, — но певец запел, и так разжег песнями своими воинственный и патриотический пыл у спартанцев, что те в два счета расколошматили своих врагов.

А попробуйте идти походом в полной амуниции без мундира или формы, без марша или песни!

Но искусство быстро и весьма успешно высвобождается от опеки практических целей — религиозных, трудовых, военных, агитационных, брачных. «Работают» теперь в нем одни творцы и исполнители: драматурги, поэты, художники, актеры, режиссеры, композиторы, музыканты, писатели. А потребитель — публика, читатели, зрители, слушатели — преданы чистой игре, ибо искусство вызывает в них только эстетические наслаждения. Природа же эстетических переживаний такова, что они постепенно атрофируют нашу активность, чрезмерно развивая задерживающие центры.

Посмотрите, ведь основной мотивацией нашего поведения являются двусторонние переживания активно-пассивного характера, — эмоции. Вы одно-

временно испытываете голод — и стремление его удовлетворить; страдание — и стремление от него избавиться, устранить его. И каждая эмоция заключается присутствующей ей внутренней акцией, действием, неразрывно с данной эмоцией связанным. Эстетическое же воспитание приводит к юмизации деятельности: мы только переживаем ради самих переживаний.

В Калькутте или в Бомбее шел «Отелло». Было это, помнится, в начале нашего века. На часах в театре стоял сипай — в почетном карауле у ложи вице-короля. И когда на сцене *цветной* Отелло начал душить *белую* Дездемону, сипай сделал то, что приказывал ему его долг человека, рыцаря, солдата: застрелил Отелло... Такова естественная реакция на убийство. Реакция, от которой мы отвыкли, развращенные чистым искусством и прочими видами блуда. А вот Нерон любовался живыми факелами — осмоленными и привязанными к высоким столбам христианами и христианками, сгоравшими на его глазах. А мы любимся на голодных немецких канатоходцев, без сетки шествующих по проволоке на высоте семи-восьми этажей, а среди них есть и пятилетние дети! А мы глядим в кино на *натурную* съемку расстрелов, повешений, съедаемых типрами негров! И мы к самой жизни начинаем относиться эстетически, т.е. принципиально-аморально!

А спорт? Развивает он тело для работы и войны? Чепуха! Он специализирован, и все физическое развитие уходит на него же. А умственный онанизм шахмат, весьма большого количества наук — ибо и умственная игра привлекает утонченные умы!

А какие средства бросаются на это! Сколько сил, жизней, стараний! И какие убийственные результаты — расслабленное, хлипкое, неврастеническое человечество развратников, лунеедцев и хлюпиков — с одной стороны, — и зверей, обесмысленных и озленных — с другой. Жизненные импульсы утрачены. Жить надо, а не читать — ради процесса чтения, не слушать — ради самого слушания.

А Молоху-государству и партийным заправилам этого только и надобно: спортсмен не может уже мыслить — атрофирован умишко за ненужностью, эстет — бездеятельная мокрица — и все в порядке!

Боже, кому нужны все эти многочисленные «науки» типа сфразистики, да и половина современных дисциплин о методологии подхода к изучению выведенного яйца коноплянки! Блуд, блуд, блуд! И отрыв от жизни и подлинного ее строительства, уход в засиженную учеными мухами академическую мастурбацию или в театр, ныне все больше оминиатюривающийся, ибо все мы мельчаем и мельчаем...

Кто говорит, — и яд нужен — вся фармакология на ядах построена, — но всё в меру и вовремя... Да и осторожно надо с ними, искусством и наукой-то... Вспомните, чем стали Дориан Грей, Райский гончаровского «Обрыва» и ряд других эстетов!

О, у искусства и у науки могут быть не только практические, в грубо материальном смысле, цели! Не забудьте, что из *культы* родилось не только *слово* «Культура», но и сама культура!

— Что же, Федор Яковлевич! Только работать? Только в труде спасение? Тогда оправданы и коллективные хозяйства и социальный заказ.

— Не передергивайте! Спасение, конечно, в большом творческом труде с огромной зажимающей целью, но об этом потом... А сейчас хочу еще сказать, что разговоры о спасительности всякого труда надо тоже принимать на веру с большой осторожностью... Утверждение, что труд и только труд — основа нравст-

венности и прогресса (буде таковой существует не только в виде протрессивного паралича) — безусловно утверждение дурацкое, ибо попруженному всецело в работу человеку некогда и подумать-то о нравственности, о себе, об усовершенствовании своей собственной личности. Некогда подумать даже об усовершенствовании самой своей работы...

— Опять парадокс! Значит, праздность — начало развития и нравственности? Как это примирить с вашими же взглядами на работу и игру?

— Очень просто. Творческая работа — не однородный труд робота, а многообразное раскрытие человека — в семье, на работе, в общественной, в культурной жизни. А не будь досуга, и подумать нельзя было бы ни о чем... Ведь творцы-то обычно, с обывательской точки зрения, — все лодыри... Поэтому выражение: «всякий труд облагораживает человека» — принимайте с опаской: трудятся и филер, и шпион, и вор, и палач... А иногда и «праздность» творческой бывает: дело в переустройстве душ человеческих и в общем для них грандиозном задании. Но об этом после, надоели вам рассуждения-то, перерываем их сказочкой.

... Проснулся я сегодня поздно — первый день отпуска, на службу в трест идти не нужно. Чем же заполнить день? Читать не хочется: вчера читал Лотце и Ясперса и немного устал. Собственно говоря, математика и философия меня интересуют нисколько не больше шахмат: такая же игра ума...

Что сегодня в театрах и в филармонии? «Аида»? Ну, без Преображенской — не пойду! «Свадьба Кречинского» — просмотрено и пересмотрено! «Кремлевские куранты» — не хочется что-то... В филармонии концерт Софроницкого... Верно, Скрябин? Ну, так и есть: идти некуда.

Ну, что же, день пустой... Пошатаюсь по городу, авось убью тоску. Как тяжела и пуста незаполненная пучина дня! Идти в гости — нестерпимо: нужно интересоваться (или делать вид, что интересуешься) семейными и служебными делишками знакомых, входить в их интересы, ахать, слушать о флюсе у двоюродной сестры хозяйского тестя и скрывать улыбкой судорожную зевоту челюстей. Пойду, поброжу по городу — это тот же театр!

Звонок. Кто бы это мог быть?

— Здравствуй, Сережа! А у меня к тебе большущая просьба...

И, поглядев на меня, он остановился: — Что с тобой?

— Ничего. Не обращай внимания. Очень рад, — выдавил я через силу.

— Ты знаешь Женю? Я ведь женился на ней... Прелестная женщина! Ее первый муж пропал — где-то на Кольме, без права переписки... Я прошу тебя быть моим шафером...

— С чего бы это?

— Ну, вообще, знаешь...

— Я очень болен, Николай... Рад бы, но не смогу...

Скоро он ушел, оставив меня одного с моей тоской. Взяв шляпу, я отправился на Елагин остров.

Странные люди! Ну, какое мне дело до их радостей и горя, до их свадеб и похорон! Хлопотать, подносить букеты, говорить тосты, — Боже мой, какая скука! Ведь я легко могу пережить это — и гораздо интересней и глубже, но в тысячу раз спокойнее, прочитав Диккенса или Толстого, Чехова или Достоевского. Ведь свадьба князя Мышкина куда интереснее Николаевой свадьбы, и уж наверное Настасья Филипповна обаятельнее его Жени.

Ночью я вышел разогнать хандру и пошататься по Александровскому парку,

Исаакиевской площади, Конногвардейскому бульвару. Я люблю эти безлюдные часы, особенно когда белые ночи идут на убыль и полумгла обнимает колонны, деревья жидкого бульвара и старые фонари самовариком, не везде еще замененные наглыми белыми двойными шарами.

— Товарищ, дайте прикурить!

Так и есть. Квадратные профессионально-накрашенные губы, большие нагло-прустные глаза на бледном лице уличной проститутки. А, вместе с тем, что-то знакомое, далекое-далекое... Лет тридцать назад... Не может быть!

— Шура, неужели это ты?

Да, это была Шура, Шурочка, Шурёнок, хорошенькая первокурсница, в которую все мы, оптом и в розницу, были влюблены. Это было давно, да, не меньше четверти века назад...

— Сережа!

Подбородок Шуры некрасиво задрожал, плаксиво дернулись губы. Неужели же она разольется сейчас слезами и банальными рассказами, известными мне из многих десятков книг, фильмов, пьес; неужели она пристанет ко мне? Нет, лучше я сам дорисую ее историю, может быть, более интересно и своеобразно, чем сделает это она, запрубелая от нелегальной проституции на бульварах. Дело известное: исключение из института, служба телефонисткой и так далее... Но не все ли мне равно?

... «Мне все равно, страдать или наслаждаться»...

— Проклятый громкоговоритель! —

... «Все равно буржуазные пережитки должны быть с корнем вырваны из железной когорты передового отряда мировой революции — коммунистической партии»...

— Партии лучшей ему не нашли — Женя, конечно, не девушка, но и Николай ведь не первой молодости, а она создаст ему условия...

А какое мне дело до Николая и его условий?

Я люблю бродить по городу, останавливаясь у всех витрин — «По случаю переучета магазин закрыт» — «Товар с витрины не продается» — и круглых столбов с афишами театров, люблю рассматривать рекламы кинотеатров и витрины фотоаппаратов.

Но больше всего люблю я дорисовывать жизнь проходящих мимо; наблюдать безразлично или с каким-то хищным интересом — маленькие уличные трагедии. Я давно уже болен этим, давно уже люди интересуют меня только как живой калейдоскоп, если они не нужны мне лично.

Помню, в самом начале нэпа, шел я ночью по Надеждинской. Запоздалый пожилой рабочий, несший буханку ситника, приставал к красивой, но истощенной девушке: — Сколько?

— Буханку и полтинник...

— Больно жирно! Полбуханки...

Согласились — именно согласились, а не сторговались, на буханке с четвертаком, и пошли вместе... И долго я наблюдал черный платочек девушки и самодовольно-чинный, но вертлявый зад рабочего.

А на Невском, у Гостиного двора, где все кишело народом и яркие витрины дразнили целой выставкой вкусного, теплого и яркого, много лет подряд стояла полнопрудая пожилая дама с картонным сердечком на груди: «помогите бывшей певице и ее детям». Дама низким контральто напевала «Пару пнедых» и «Под душистою веткой сирени», но немногие подавали ей...

Я любил представлять себе ее комнату, комнату благородной нищей, все еще заваленную пыльной рухлядью давних успехов и поклонников, завсегдаев «Буффа» и «Аркадии»: «Несравненной Агриппине Флорие от обожающего ее поручика Иваницкого» и «Браво! Пьем за здоровье Невской Венеры»... «Вечно Ваш — Николай Купчинкин». Фотографии, реликвии, альбомы, все, что не могло быть продано... И грязь опустившихся людей, которым уже все равно...

А я могу созерцать — даже не читая, не думая, — все эти человеческие трагедии, романы, крушения, взлеты — мнимые и действительные, — и мне все это ничего не стоит, я ни одной капли крови, ни одного душевного движения не затрачиваю на это волнующее многообразие жизни.

Чудак Николай! Ну, зачем он женится?! Хлопоты, заботы, потеря собственного я... Ах, как я понимаю Подколесина! Одна уже мука выбора чего стоит! Одна мука принятия решения. Решиться: прыгнуть — не в окно, а в неизвестность брака... Боже Правый, во имя чего?! Не лучше ли пострадать за несколько рублей с прелестной Виолеттой на «Травяте», или за полсотни купить Виолетту на бульваре?..

А, плавное, вы ни с кем не делитесь душой своей, пусть пустой, пусть тусклой, но своей, своей, своей!

О, как я понимаю древнего мудреца Кратила: сидеть и в знак эфемерности всего и вся, бессмысленности всякой мысли и всякой деятельности — лишь по-кивать пальцем. Даже не говоря... А мир волнуется перед тобою, ты творишь его в воображении своем любим, по своему желанию, но творишь неторопливо, лениво, пальцем о палец не ударяя...

Кончили, правда, времена всяких рантье и приходится служить, работать, но что за беда? Отмаявшись как-либо свои восемь часов, остальное-то время жить от театра до концерта и от концерта до выставки в Эрмитаже или — на худой конец — в Русском музее, иногда гурмански посмаковать хорошую книгу или просто чужую житейскую драму — и убивать время, разнообразя запахи порока... Порока? О, да! Я не понимаю ни мысли, ни любви, ни жизни без порока! Это ведь так понятно и... приятно!

Попробуйте состряпать любую стройную, красивую и законченную (а иначе то она и стройной не будет) философскую, скажем, систему, — не допустив порока мысли, ошибки логической, искусственности, хотя бы? Чёрта с два составите! Только тогда и постройте систему — и это в любой науке! — когда сознательно или бессознательно вгоните многообразие жизни, ее неисчерпаемое богатство, в прокрустово ложе фальшивого и искусственного единообразия.

Вот, хотя бы наш сегодняшний разговор, господа, — прервал чтение Федор Яковлевич, — начали с Якова, а перешли на всякого, — совсем по поговорке: так ведь и вся жизнь, как и все наши разговоры, строится: — «А к нам солдат пришел!» — «А у нас блины пекли!»...

... Попробуйте-ка любить без порока. Заметили ли вы, что абсолютно красивые лица, фигуры — не нравятся? «Изымinka», «Поди сюда» — всегда отклонение от канона чистой красоты. А у Нинон де Ланкло одна грудь была меньше другой, Лавальер хромала... Не косила ли Фрина? Думаю, что какой-нибудь изъянец у нее был непременно... Ну, это в сторону... А вот в жизни с пороком как-то сладче и теплее, уютнее и интереснее...

Худо, что это вроде поцелуев или соленой воды, только все больше раздражает, а не утоляет жажду... Особенно, когда, скажем, сам в пороке активно не

участвуешь. Ну, да в этом все и дело. Жгучее наслаждение, например, я испытал, оказавшись невольным свидетелем одного убийства...

... Здесь записки нашего чудака обрываются.

— Что за галimatия вы прочитали нам, Федор Яковлевич?

— Не узнаете? Наш коллективный или, если хотите, собирательный, типовой портрет.

— Глупости! Так что же делать? Где выход?

— Боюсь, что автор произведения будет на нас в претензии: ни статья, ни рассказ, действия никакого, единства темы и мысли в помине нет, а мы и так прорвали ткань его очерка, что ли, непристойными в пристойном произведении разговорами...

— Тем хуже для него! Борис Андреевич, вы на нас не в претензии?

Автор сконфуженно — и неуверенно — качает головой:

— Нет, конечно. Да к тому же — автор волен, пожалуй, только в самом начале своего произведения, а там уж герои или их силуэты, мысли и полотно жизни живут своею собственной, независимой от автора жизнью...

Собеседники обрадовались: — Ну, и отлично! Плевать нам на каноны старых повестей и очерков, рассказов и статей, будем болтать дальше, пока не исчерпается бумага и терпение автора! Читателей же все равно теперь нет — все только пишут!

«Ты скажи, сделал ли ты из своих стихов или пытался сделать оружие класса, оружие революции? И если даже ты скапустился на этом деле, то это гораздо сильнее, почетнее, чем хорошо повторять: «Душа моя полна тоски, а ночь такая лунная».

Такая лунная, что, ей-Богу, не хочется спать. Я сижу за столом, и мои перои насаждают на меня с цитатами из Маяковского:

В наше время
тот поэт,
тот писатель, кто полезен.
Уберите этот торт!
Стих даешь —
хлебов подвозу.
В наши дни
писатель тот,
кто напишет
марш и лозунг!

— Милые, да ведь я-то не умею писать ни маршей, ни лозунгов! Что же я-то? Торт, что-ли?

— Торт! Торт! Тот —

— авторитарные режимы создали особый тип людей-автоматов, готовых голосовать за любое постановление, хотя бы научное, ибо не только страх, но и отсутствие какой-нибудь личности...

Тоталитарные режимы? А чем лучше авторитарные демократии? Тирания так называемого общественного мнения? —

— Ну, если хотите, я расскажу вам тогда, в чем заключается, по-моему, наша русская идея, наш выход из пупика, в который зашел мир, — начал снова Федор Яковлевич.

— В восьмидесятых и девяностых годах прошлого столетия служил в Москве, в Румянцевском музее, странный человек. Был он младшим библиотекарем музея. Ходил в ошарпанном пиджаке, с обшитыми тесемочкой бортами и обшлагами, в аккуратно подшитукованных брюках, не имел даже пальто. Все свое небольшое жалованье распределял он на три неравные части: на содержание очередного подающего надежды бедняка-студента Московского университета, на нищих и на себя. На себя оставалось не то что в обрез, но только на оплату угла у просвири, да на щи и хлеб от нее же. И так из года в год. А вместе с тем Достоевский, Лев Толстой и Владимир Соловьев считали Федорова величайшим человеком эпохи. А вместе с тем, многие ученые, философы, агрономы, писатели, инженеры обращались за необходимыми справками именно к Николаю Федоровичу Федорову. Федоров знал все, и в очень многих областях знания был подлинным творцом, а не ученым знатоком только чужих мыслей и не библиографом, как все мы... Он мало писал. Не было ни времени, ни даже денег на бумагу. После его смерти, учениками его Кожевниковым и Петерсоном были собраны оставшиеся после него записки, заметки, проекты, наскоро набросанные карандашом на оберточной бумаге. Ученики систематизировали эти обрывки и издали в глухом Верном первый, а затем второй том «Философии общего дела» — так называл Николай Федорович Федоров изложение своих взглядов. Первый том был издан в четырехстах экземплярах, не для продажи, был разослан Кожевниковым по библиотекам, и был немедленно забыт. Немного напомнили о Федорове русские мыслители группы, объединившейся вокруг издательства «Путь»: Евгений Трубецкой, Булгаков, Франк, о. Павел Флоренский, Бердяев. Но кроме них и еще считанных людей — кто теперь помнит о выдающемся мыслителе нашего народа?

Попробую — через пестроту двадцати мятежных лет, разделивших меня с книгой Федорова, передать не букву ее, а самую суть, как она была воспринята тогда мною.

Это — совсем не философия в европейском школярском наряде. Федоров — в принципе не философ, а естествоиспытатель, инженер, строитель, практик.

Замутилились источники жизни. Смерть все больше и больше сокращает время наших земных странствий. Труд обезображен и обесмыслен, не облагораживает, а развращает.

Вы хотите лечить человечество трудовым устройством его? Но не знаете ли вы, что этот неблагословенный свыше труд — проклятие, а не благо? Разве забыли вы, что книга Бытия наказывает человека за нарушение райского запрета *именно трудом*: «проклята земля за тебя; со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей... В поте лица твоего будешь есть хлеб твой, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят»... Человек наказан неизбежностью труда и утратой первозданного бессмертия. Вы заботитесь о трудовом устройстве, а знаете ли вы, что плавнейшая забота человека — именно высвободиться как можно больше от этого *обязательного, внешне-навязанного* труда?

Знаете ли вы, что труд сейчас потерял всякий смысл? Старый ремесленник горячо любил вещи, целиком выходявшие из его мастерской: он видел, как из бесформенного куска дерева выходил прекрасный буфет, и он, ремесленник, украшал этот буфет, любовно его сглаживал и с грустью расставался, отдавая заказчику.

Философ Яков Бёме и поэт Ганс Закс были сапожниками. Как говорят, обувь свою они любили не меньше своих духовных творений. Мастер был художником, труд которого плодоносящ. Ну, а можно ли быть увлеченным лавровой нарезкой

винта для неведомого агрегата? Работой на конвейере, с восьми- или десяти-часовой единообразной пляской св. Витта бессмысленных движений? Когда вещь производится даже не на одной фабрике, а на заводах, разбросанных по целой стране, можно ли требовать наполнения нашего дня трудом и пафосом этого труда?

Мне вспоминается старый анекдот о старом мастере одного немецкого завода, якобы производящего детские колясочки. Мастер этот стал отцом. Марта родила ему маленького, красного, властно вопящего о своем праве на жизнь, Фрица. Мастер решил: «Я тридцать лет работаю на заводе. Я имею право на детскую коляску». И день за днем, две недели таскал с завода деталь за деталью. И когда их собрал дома — получился великолепный пулемет.

Нет, господа, заботьтесь не о труде, а о его максимальном облегчении и осмыслении!

Ну, а как с досугом? Спорт, кино, газета, театр? Так ведь это яд паразитический, труднее труда будет!

Нужна огромная творческая напряженность и великая идея, способная зажечь мир и бросить его в едином порыве на единое великое, культовое делание.

Воскрешение нами самими мертвецов наших, преждеуспавших, и наше бессмертие — вот это идея.

Конечно, Господь Бог по благодати Своей воскресит нас в дни Суда Своего, но Он ждет от нас самих — не воскресения свыше, а воскресения снизу. Ждет великого подвига творческой любви и всечеловеческого служения.

Вы скажете, что если воскресить всех — со всеми их грехами и немощами, — то это будет плохая услуга миру? Не вам судить, господа! И кто знает, на какой подвиг просветления способны Нероны и Атиллы? Вы скажете, что и так безработица призет мир, что мы и рожать-то перестали, ибо, как говорит русская поэтесса — «ведь в жизни, давно узнала я, мало свободных мест, твое же местечко малое в сердце моем, как крест». Рассуждение наивное! Ибо, если великая цель будет поставлена, то не хватит для нее и всех возросших и умноженных сил человеческого. Мало и так места на земле, а если воскресить всех усопших — до первочеловека включительно, — то земной планетарный жилищный и земельный кризис станет гибельным? Но помимо незаселенных мест на земле, есть и другие планеты, и вполне реальна их колонизация: и Николай Федорович, еще задолго до Кибальчича и Циолковского, разрабатывает проект межпланетных сообщений и приходит к мысли о ракетном двигателе. Да и как бесконечно можно повысить производительность земли! Стоит только немного подумать не об убийстве и блуде, не о Карузо и Мэрилин Монро, а о жизни и о ее нуждах.

Так, для борьбы с засухой, в середине семидесятых годов Федоров предложил использовать артиллерию. Он заметил первое влияние артиллерийских боев на количество выпадающих осадков. И он приходит к мысли о зенитных орудиях.

Вы скажете, что все это фантастично, сказочно, нереально? Глупости! Сейчас ум человеческий полностью сосредоточен на средствах уничтожения, истребления. Но будем рассуждать прямо-таки материалистически. Ведь смерть наступает, когда организм отказывается восстанавливать живые клетки, когда отмирание идет быстрее, чем восстановительная работа организма, когда клетка устает жить, теряет волю к жизни. А попробуйте-ка заняться этим вопросом, попробуйте все силы человечества направить на вопросы бессмертия и воскрешения, восстановления жизни, — и сколь много сможет достигнуть мысль человеческая! Попробуйте

представить себе, что все умы направляются на изучение вопроса об истреблении коховской палочки. Что ж? Не будет ли уничтожен в самое короткое время туберкулез?

И почему вы думаете, что разложить атом — легко, а убить влияние бледных спирокет или уничтожить тиф и туберкулез — невозможно? Неужели смерть и дьявол сильнее в человеке, чем Бог и жизнь?

А какая грандиозная задача для человечества! Ведь сейчас время и пространство — начала злые, разъединяющие, умерщвляющие. Они разделяют нас от близких наших, и мы даже цепляемся за них же, за начала не жизни, а смерти, в частности, цепляясь не за общечеловеческое в национальности, в национальной идее, не за *всечеловечество*, а, я бы сказал, за петушково-балабачную особность и выделенность наших маленьких человеческих муравейников. А тогда мы будем рассматривать и временность и пространственность, как письма, материализацию вечности, и будем жить в радости непрерывных встреч с родными и близкими нашими, с величайшими святыми и тенями человечества...

И это — не новая вавилонская башня, ибо не на гордой отъединенности, не на самости человеческого возмущившегося «я» основана, и даже не на стадном «мы», а на «я» каждого из нас — у кого нет усопших близких? — и на целокупном Я — на Всечеловечестве... И всечеловечестве не отъединяющемся от Бога, а устремляющемся к Нему, как к Всецелой Полноте бытия...

И поэтому основой делания нашего должны стать кладбища, любовно охраняемые пантеоны, подготавливаемые к великому восстанию в вечную жизнь, а не нынешние забытые, часто бездомные и бессыновние скудельницы...

— Ну, я опять отвлек ваше внимание, господа! Простите. Кажется, сейчас что-то хочет сказать сам наш неудачный автор... Он морщится, сердито смотрит на меня, качает укоризненно головой...

— Послушайте, Федор Яковлевич! Это несомненно! — автор, Борис Андреевич Филиппов, даже покраснел от гнева и обиды: — Я выдумал всех вас вовсе не для того, чтобы вы так распускали свой язык! Да и что скажут читатели?! Они ждут занимательного рассказа или статьи позабавней (так писались статейки в отделе «Смесь» газет и журналов), а вы потчуете их дилетантскими умствованиями! А ваши промахи еще, того и жди, припишут мне... И притом изложением зерна федоровских взглядов вы мне испортили рассказ, который я уже давно обдумал и из которого должен теперь вырвать всю серединку, а для автора это все-таки обидно!

— Вы все преувеличиваете, Борис Андреевич! Во-первых, не вы выдумали меня, а я существовал реально и еще вдобавок был мужем вашей собственной тетки, а во-вторых...

Перо автора вдруг скрипнуло, и множество клякс усеяло рукопись: — Хватит! Хватит болтовни! К делу! Где же рассказ? Где действие? — зашипели голоса. Из клякс поднимались головки и головизны разгневанных читателей: — мы ждем рассказа или статьи, а не антимионий! Надули!

— Некогда сейчас-то беллетристикой заниматься, время не такое, — пробовал возражать автор.

— Вот не лезли бы в повествование поминутно, дали бы лучше и полнее нам воплотиться, на вас не было бы и нападения *оттуда*, — наступали на беднягу-автора его рассвирепевшие герои-заговорщики: — А то, подумаешь, герои, — не только действовать, но и поговорить-то всласть не дали нам!

— Да где они, герои-то, вполне воплотившиеся личности, наконец, в жизни? Даже разговаривающих героев нет сейчас... — защищался автор.

— Довольно! — раздался властный голос типографского станка: Жалейте шрифт! К делу!

Автор поправил сбившиеся набок очки, утер общлагом рот, и начал свой рассказ, написанный в дурном вкусе романов будущего...

Конгресс великих ученых мира, созданный Комитетом Объединенных Наций, заседал в специально построенном лучшими зодчими Дворце Науки. Легкий, весь из стекла и алюминия, с огромными террасами из драгоценных сортов пальмового и эбенового дерева, из мрамора и порфира, дворец можно было упрекнуть лишь в стилевом разнбое. Великолепная китайская резьба по дереву — рядом с итальянской мозаикой; французские бронзы — и исконно-русский широкий конструктивизм; острые копыа железобетонной псевдототики Нью-Йорка — и плавные линии воскрешенного староанглийского классицизма — все это не слилось — и не могло слиться — в один величайший мировой архитектурный стиль, и кричащая роскошь декорации коробила аристократический вкус немногих сохранившихся ценителей искусства.

Зал заседаний, рассчитанный на три тысячи человек — ученых было немногим более ста, но почетные гости, представители мировой прессы и правительственные комиссары превысили вместимость зала, — зал был украшен тысячами мраморных бюстов реформаторов науки и техники, золотыми буквами афоризмов на всех языках цивилизованного мира. К залу примыкали великолепные лаборатории, целые анфилады комнат специального назначения, окончатальной отделки и устройства коих не знали сами строители. С другой стороны дворец был соединен изящной галереей с прекрасным комплексом зданий: гостиницами, театром, концертным залом; величественным как храм рестораном с огромной сценической площадью.

Оркестр из трехсот первоклассных артистов под управлением самого Герберта Бамберга, двести совершенно обнаженных, медицински освидетельствованных юных балерин, лучшие спортивные команды, гейши, баядерки и даже — в последнюю минуту вспомнили и о них — храмы всех вероисповеданий с модернизированными органами и учеными служителями культа.

Маленький коралловый островок в Океании, необитаемый дотоле, преобразился в один из культурных центров мира. Соединенная эскадра могущественнейших морских держав патрулировала берега. Сотни сверхмощных разведчиков и истребителей несли воздушный караул, а над ними контролировали атмосферу искусственные спутники земли — летающие пикеты.

Председательствовал на съезде президент Комитета мирового контроля мысли сэр Патрик Гордон, седовласый декан Игуанодонского университета. В почетный президиум съезда вошли: глава Объединенных Коммун Континентальной Евразии, суровый старик, неуступчивый и настойчивый во всех своих притязаниях; сенатор Генри О'Кюннелль, глава ряда интернациональных банков и король циклотронной промышленности; маршалы Объединенных Коммун Иван Сидоров, Чжан-Су и фон-Дервиз; великий адмирал Британии лорд Винчертер; глава Американского концерна нефти мистер Рок-Крик и французский модный философ Де-Монолатр.

Сотни телеграфисток, усовершенствованные аппараты звукозаписи, репортеры, кинооператоры, художники-портретисты, журналисты с мировыми имена-

ми — все они заполняли столы технического секретариата, галереи и променуары зала заседаний.

После краткой торжественной части, деловое заседание открыл сэр Патрик Гордон.

— Дistinguished лэди и джентльмены! Мы собрались сюда в дни величайших мировых потрясений. Нам не столь горько то — всем хорошо известно — обстоятельство, что вся старая Европа, да и весь культурный мир лежит в развалинах. Современные скоростные методы строительства и индустрия современных строительных машин легко смогут восстановить физическое здоровье европейского и мирового хозяйственного организма. Но кто может восстановить невосстановимое — импульс к жизни, стремление к здоровью, волю к социальному миру?! Машина съела нас. Мы перестаем рожать, мы разучились работать и радоваться. Преизбыточествует продукция во всех отраслях хозяйства — в то время как только 45 процентов рабочей силы занято в промышленности и в сельском хозяйстве. Около 10 процентов составляют такие отводные каналы, как постоянная армия, полицейская служба, публичные дома, тюрьмы, пресса и культурные учреждения. Остальные 45 процентов — около половины всего трудоспособного населения планеты — огромный резервуар готовых на всё безработных, ншцих, бандитов — и, тем самым, коммунистов. Достоуважаемый глава Объединенных Коммун не должен обижаться на мои слова: коммунизм континентальной Евразии — прекрасная полицейская система, не имеющая ничего общего, кроме имени и кое-каких связей, о которых здесь не время и не место распространяться, — с нашими коммунистами резервной армии хозяйства... Мир стоит перед дилеммой: мировая война, могущая атомными бомбами совершенно расщепить нашу планету; или — мировая социальная революция, вызванная бесперспективностью жизни для половины человеческих континентов. К чему приведет подобная революция — не время и не место говорить, господа. Я кончил, distinguished лэди и джентльмены. Вашему высокому собранию предстоит огромная работа: разобраться в создавшемся положении и попытаться найти из него выход.

После тягостного молчания, на кафедру поднялся убежденный сединами мировой ученый, профессор Альберштейн:

— Господа, я могу предложить вашему вниманию новый сверхмощный истребитель и атомную бомбу, разрушительная сила которой в 1.462 раза больше последней водородной бомбы, радиус действия в 17 раз больше, а величина немногим больше яблока. Но спасет ли это мир? Ведь через несколько месяцев такое же — или еще большей силы — оружие будут иметь Объединенные Коммуны Евразии... Ну, а после войны? Пусть она даже окончится хорошо, и до трети людей уцелеет на нашей несчастной планете. Что будут делать и чем будут жить они, разъединенные тоской, пустотой, ненавистью, рабством, безработицей?! Правда, христианско-демократические организации успели, выбросив обветшалые заклинания и фигуры, заполнить гуманизмом и спортом человеческие умы, но все это — только жалкий паллиатив...

— Здесь у меня, — обиженно протянул автор, Борис Филиппов, — должен был выступить профессор Тюбингенского университета, православный священник немец д-р Герман Гейнemann с изложением системы забытого гения — Николая Федорова, которого он, Гейнemann, привел в систему и, так сказать, *германизировал*, — но мне испортил дело, перебил и опередил меня мой же собственный персонаж...

— Не персонаж, а дядя, — скрипнул зубами Федор Яковлевич.

... Гейнеману не дали кончить: — «Довольно! — кричали возмущенные ученые: — это ведь не камлание, не арена для шаманских и христианских упражнений, а кафедра Мирового конгресса ученых!» Кто-то свистнул, кто-то крикнул: — «Шарлатан! В сумасшедший дом!» При общем возмущении д-р Герман Гейнеман покинул кафедру.

Председатель Интерконфессионального совета морали и высших ценностей, д-р Плезиозаврского университета Джордж Пэн занял место д-ра Гейнемана при бурных аплодисментах всего собрания:

— Я недолго займу ваше внимание, братья и сестры! Вы уже достойно осудили религиозный материализм, практицизм, фанатизм и безумие новых строителей Вавилонской башни. Как! Подменять нам нами самими, слабыми и прешеньми, Абсолют?!.. Я буду говорить только о мерах обуздания неразумных, о методах нашей работы по обработке сознания подлежащих сугубой опеке малых сил...

И оратор увлекательно развил свой план работы, — но мало кого устроил этот план из практических инженеров и политиков мира: дошло до горячего...

— Я прошу слова!

Спикер посмотрел на говорящего: седящий, крепко сколоченный, властный облик организатора и дельца.

— Слово предоставляется главному инженеру Мировой конторы особых проектных заданий, профессору Ивану Спиридоновичу Александрову!

— Но уже поздно... Мы опоздаем на балет! — шипели недовольные затянувшимся заседанием.

И речь профессора Александрова была отложена на следующее заседание.

— Но я прошу всего только несколько минут. Я про...

— Продолжение? — Едва ли я напишу его когда-нибудь, — поставил точку автор.

Несимметричная механика

« — В результате многолетних исследований строения космических тел я пришел к выводу, что в природе существуют особые, ранее неизвестные силы. Источником этих сил является ход времени. Время в каком-то смысле эквивалентно энергии. Ход времени может быть преобразован в силы, действующие на космические тела».

Так в Ленинграде с трибуны большого зала Географического общества Союза ССР заговорил однажды стройный сухощавый человек с глазами синими, как летнее небо, большим лбом и проседью в волосах. И если бы этот человек не был всемирно известным ученым, профессором и доктором физико-математических наук Николаем Александровичем Козыревым, после его слов можно было бы подумать, что на трибуне — сумасшедший. Но многочисленная аудитория, состоящая из студентов и различных специалистов — физиков, астрофизиков, механиков, философов, математиков, — слушала оратора, затаив дыхание, и профессор Козырев, чуть картавя, но ровным и спокойным голосом продолжал рассказывать о своей новой теории.

« — В настоящее время, — говорил он, — в ядерной физике обнаружены явления, показывающие неравноценность Мира и его зеркального отображения... Астрономические данные указывают на то, что упомянутая несимметрия Мира существует благодаря несимметричности времени, то есть благодаря объективному отличию будущего от прошедшего. Этим свойством времени, которое может быть названо направленностью, или ходом, устанавливается отличие причин от следствий. Поэтому механику, в которой учитывается ход времени, естественно называть несимметричной, или причинной, механикой. Все явления природы протекают во времени. Поэтому невозможно представить себе отрасль науки, изучающую Мир, в котором свойства времени не играли бы роли. Если ход времени действительно создает неравноценность Мира и его зеркального отображения, то явления асимметрии в биологии и микромире должны иметь то же объяснение направленностью времени... »

Теория профессора Козырева, получившего в последние годы всемирную известность своими астрономическими открытиями — действующего вулкана на Луне и полярных сияний на Венере, к сожалению, еще мало известна широким кругам любителей естествознания и даже философам и специалистам-физикам. Его книга — «Причинная или несимметричная механика в линейном приближе-

нии», в которой изложены принципы новой механики, была издана в Пулковской Академии наук СССР в 1958 году тиражом всего в 200 экземпляров. И тем не менее смелые мысли ленинградского ученого стали все чаще звучать в печати и по радио, причем явное большинство комментаторов становилось на точку зрения Козырева.

Козырев родился на Васильевском острове в сентябре 1908 года. Будучи еще студентом, не достигшим двадцатилетнего возраста, он начал писать статьи в научных журналах, а когда ему исполнилось 25 лет, его научный авторитет был признан даже в одном из центров теоретической астрофизики в Англии. В двадцативосьмилетнем возрасте Николай Александрович Козырев совмещал в Советском Союзе следующие должности: он был старшим научным сотрудником Пулковской обсерватории, ассистентом на кафедре математики в Автодорожном институте, доцентом математики в Ленинградском институте инженеров путей сообщения, преподавателем мореходной астрономии в военно-морском училище имени Фрунзе, профессором астрономии в Педагогическом институте имени Покровского и старшим научным сотрудником в университетской обсерватории. А потом, в самый разгар «ежовщины», Козырев бесследно исчез. По всей вероятности его обвинили в том, что он — английский или индийский шпион, поскольку он сохранял свои личные связи с крупнейшими английскими и индийскими астрономами. Так или иначе, какой-то срок какого-то «наказания» за какое-то «преступление» Козырев где-то отбывал и появился вновь на свободе лишь с окончанием Второй мировой войны.

В разгар «ждановщины» Козырев защищал докторскую диссертацию на тему: «Источники звездной энергии и теория внутреннего строения звезд». Тогда, в 1948 году, Жданов чуть было не навесил на него ярлык «безродного космополита». Но Козырев не боялся никаких ярлыков и настойчиво продолжал свою научную работу. В 1950 году, например, в своем автореферате, представленном Академии наук СССР, он смело заявил:

«Если существование асимметрии планет подтвердится дальнейшими, более точными исследованиями, то мы будем иметь прямое доказательство недостаточной строгости основных принципов теоретической механики».

С тех пор прошло почти десять лет. В своей книге — «Причинная или несимметричная механика в линейном приближении» — профессор Козырев как бы подвел некоторые итоги своей научной работы и пришел к выводу, что сам ход времени способен производить механическую работу. Эта его теория и данные, на которых она построена, естественно, изучаются и проверяются учеными всего мира, причем многие из них целиком становятся на его сторону. Так, например, лауреат Нобелевской премии, американский ученый доктор Юрий (в газете «Нью-Йорк-таймс» от 28 апреля 1959 года) полностью согласился с гипотезой Козырева, что ядро Луны находится в расплавленном состоянии. Но теория Козырева, в какой-то мере вытекающая из теории Эйнштейна об эквивалентности массы и энергии, кажется в сравнении с теорией Эйнштейна такой же сложной, какой теория Эйнштейна кажется в сравнении ее с алгеброй. Поэтому особенно интересны последние высказывания самого Николая Александровича Козырева о его теории, сделанные популярным языком в его интервью со специальным корреспондентом журнала «Техника — молодежи» (№ 8 за 1959 год). Козырев рассказывал инженеру Вл. Келеру:

«До сих пор теоретическая физика и механика пользовались только одним свойством времени, а именно: возможностью измерять длительность событий

или длину временных промежутков. Эти измерения осуществляются часами. Однако из повседневной жизни мы знаем, что этим не исчерпываются свойства времени. Действительно, последовательность событий упорядочена во времени: причины всегда наступают раньше следствий. Мы убеждены, что существует принципиальное отличие причин от следствий, а следовательно, будущего от прошедшего. Это различие показывает, что у времени есть еще одно свойство, которое не использовалось точными науками и которое может быть названо *направленностью* или *ходом*.

Теоретическое изучение аксиом механики показало, что ход времени должен быть величиной, имеющей размерность скорости и одинаковой для всего Мира...

Вводя ход времени S_2 (обозначаемый так в отличие от S_1 , равняющегося тремстам тысячам километров в секунду, то есть, скорости света в пустоте) мы можем продолжить опыт, который позволит установить, какая же сила является причиной, а какая следствием. *Этот опыт связан с вращением тела.*

Профессор Козырев рассуждает, примерно, так.

Различные точки волчка или планеты движутся с различными окружными скоростями. Это значит, что за один и тот же промежуток времени, скажем за одну секунду, точка на экваторе проделает путь больший, чем любая точка на каком-нибудь градусе северной или южной широты. Поскольку же размерность хода времени и окружной скорости одинаковы, Козырев говорит:

«Естественно считать, что эти величины будут складываться между собой. А это значит, что для вращающегося тела ход времени будет другой... А так как величина сил определяется как изменение количества движения в единицу времени, то при другом ходе времени силы изменяются. Поэтому при вращении планеты или волчка получают дополнительные силы — напряжения. Эти силы всегда парные, действующие в противоположные стороны. Благодаря последнему изменению хода времени сдвинуть центр тяжести системы нельзя, но можно изменить полную энергию тела. Таким образом, ход времени может быть источником энергии, подобно энергии движущейся воды... Производя измерения этих дополнительных сил, которые получают при относительном вращении тел и которые всегда действуют по оси вращения, можно было установить величину и знак S_2 . Оказалось, что его примерное значение — 700 километров в секунду, положительное в левой системе координат... Силу причины, то есть активную силу, можно отличить от пассивной реакции, наблюдая, какая из этих сил увеличивается при данном направлении вращения, а какая уменьшается».

«До сих пор,— улыбаясь говорит профессор Козырев,— я не выступал нигде с популярным изложением основ «несимметричной» механики. Но сейчас самое «страшное» позади. Перейдем к практическим выводам, о которых говорить много легче».

Важнейшим из таких выводов профессор Козырев считает тот факт, что вращающиеся небесные тела имеют форму не сплюснутых тел, а форму сердца.

«Ведь во вращающихся планетах, — говорит он, — в частности в Земле, взаимно притягиваются точки, вращающиеся с различными скоростями. Отсюда, как в волчках на опоре, появляются силы, действующие по оси планеты. Из того обстоятельства, что ход времени положителен в левой системе координат, а тяжесть является причиной давлений внутри планеты, следует, что в тропиках и умеренных широтах обоих полушарий эти силы направлены по оси Земли к северу. Эти силы не могут сдвинуть центр тяжести Земли. Поэтому вблизи обоих полюсов должны действовать уравновешивающие силы, направленные к югу.

В результате наша планета приобретает форму кардиоиды. Она продавлена с севера и вытянута к югу... Расчет показывает, что Северный полюс должен быть ближе к центру Земли примерно на 100 метров, сравнительно со средним радиусом планеты, а Южный — соответственно на 100 метров дальше. Иначе говоря, разность фактических полуосей составляет всего 200 метров. Но прямым измерением можно обнаружить и такую деформацию».

Профессор Козырев добавляет:

«Работу в этом направлении в отношении Земли нельзя еще считать законченной. Проще было провести фотографические измерения фигур быстро вращающихся планет Юпитера и Сатурна... И я это сделал. Результаты подтвердили теоретические расчеты... У Юпитера, например, при диаметре планеты в 140 тысяч километров разница между полуосями составляет примерно 420 километров... На Земле удалось довольно точно доказать опытным путем существование асимметричных сил, вызванных разностью хода времени. Они не так уж незначительны, чтобы их нельзя было обнаружить с помощью приборов. Так, на экваторе они равны примерно одной десяти тысячной силы тяжести».

«С помощью специально созданных очень точных приборов, — продолжает рассказывать профессор Козырев, — я провел измерения асимметрических сил в Крыму, в Пулково и в разных точках за Полярным кругом — говоря точнее от 45 до 85 градусов северной широты. И при этом были получены данные, подтверждающие существование сил, изменяющихся вместе с географической широтой. В обоих полушариях есть параллели, где асимметричные силы меняют знаки, то есть их значения равны нулю. В точном соответствии с теорией, в северном полушарии такая параллель пришлась на 73 градус 05 минут».

Теория профессора Козырева кажется весьма убедительной, чему в большой степени содействует его бесспорный авторитет серьезного ученого, его наблюдения, расчеты и богатейший опыт. Она не может не поражать воображения каждого образованного человека, ибо сулит кардинальный переворот в науке. Казалось бы именно поэтому ее надо всячески популяризировать, осмысливать, проверять, оспаривать. Сам Козырев, как мы уже видели, подобно Рентгену, не стремится запатентовать свое открытие, а хочет сделать его всеобщим достоянием. Но... вряд ли мы услышим что-либо о его теории в ближайшее время. А поводом для столь пессимистического вывода служит то обстоятельство, что ЦК КПСС наложило на теорию профессора Козырева своеобразное «табу», причем сделало это хитроумным «двухступенчатым» способом.

21 ноября 1959 года на последней странице газеты «Правда» появилось сообщение о специальном постановлении президиума Академии наук СССР, направленном против нездоровых сенсаций в освещении научных проблем. Конкретно, речь шла только о «чуде в Бабыгородском переулке», где находится московский завод «Сантехника», на котором якобы был сконструирован прибор, дающий коэффициент полезного действия больше единицы. Но очень сомнительное «чудо в Бабыгородском переулке» оказалось лишь первой ступенью «ракеты», направленной в Козырева. И это стало ясным уже на следующий день, 22 ноября 1959 года, когда в той же газете «Правда» появилась большая статья — «О легкомысленной погоне за научными сенсациями».

Статья эта, явно инспирированная какими-то влиятельными партийными деятелями, была подписана известными советскими академиками — Л. Арцимовичем, П. Капицей и И. Таммом — и в ней на первое место был поставлен вопрос

о теории Козырева, а «чудо в Бабыгородском переулке» отодвинулось на второй план.

Ограничимся анализом критики теории Козырева.

Три названных академика оппонировать Козыреву чрезвычайно осторожно. Так, например, они пишут:

«Тот факт, что закон сохранения энергии строго выполняется во всех процессах, протекающих в масштабе нашей планеты, не дает основания категорически отрицать возможность того, что явления космических масштабов подчиняются каким-то иным законам. В современной космологии широко обсуждаются смелые гипотезы такого рода. Мы не против смелых гипотез, но только в том случае, если они убедительно обоснованы. Этого в книге Н. Козырева нет».

И далее:

«Из того факта, что опыты Козырева совершенно не убедительны и не удовлетворительны в методическом отношении, мы отнюдь не хотим делать вывод, что их не следует проверить и проанализировать. Мы считаем совершенно правильным, что тщательная проверка такого рода уже предпринята Пулковской обсерваторией».

Иными словами, попытка подорвать авторитет Козырева и похоронить его теорию в стенах Пулковской обсерватории все же налицо. Но если первое делается голословными заявлениями, что, дескать, рассуждения и опыты Козырева «не убедительны и не удовлетворительны в методическом отношении», то второе объясняется тем, что «в лучшем случае еще не проверенные опыты и сомнительные гипотезы» популяризируются в советской печати «некомпетентными лицами», легкомысленно гоняющимися за научными сенсациями.

Кто же они — эти «некомпетентные лица»?

Судя по тому, что рассказывал сам профессор Козырев инженеру Келеру, такими «некомпетентными лицами» являются прежде всего они оба. Однако в статье в газете «Правда» они не упоминаются, а достается известной советской писательнице Мариэтте Шагинян, посвятившей теории профессора Козырева большую и восторженную статью в «Литературной газете» от 3 ноября 1959 года.

Но компетентное или некомпетентное лицо в вопросах науки и техники писательница Мариэтта Шагинян?

Вот некоторые данные из ее биографии.

Мариэтта Сергеевна Шагинян родилась в 1888 году и является высокоинтеллектуальной и всесторонне образованной женщиной. Она — доктор филологических наук и член-корреспондент Армянской Академии наук, автор знаменитого романа «Гидроцентральный». В начале тридцатых годов Шагинян собиралась написать роман о втором законе термодинамики, но так его и не закончила, признавшись теперь, что «нельзя было писать роман об энтропии, когда победу на поле научной битвы, по всей видимости, одерживал римский папа». Побывав в Пулковской обсерватории и познакомившись с Козыревым и его теорией, она заявила в «Литературной газете»:

«Козырев, как после него Ли и Ян (Ли Цзун-дао и Ян Чжень-нин — китайские ученые, проживающие в Америке и получившие Нобелевскую премию за опровержение «принципа четности» в квантовой механике. — Н. И.), поставил под удар законы, считавшиеся незыблемыми... По-разному можно расценивать теорию «хода времени» Н. А. Козырева. Одни сомневаются в ней, другие (и я в том числе) верят в нее абсолютно».

Авторы статьи в газете «Правда» не комментируют высказываний Мариэтты Шагинян, а фокусническим приемом создавая у читателей впечатление, что она, мол, даже не читала книги Козырева, заявляют:

Вряд ли стоит подробно анализировать ее статью, стиль и характер которой больше подошли бы к утверждению нового вероучения».

Но вот в этих-то словах, видимо, и кроется секрет истории с теорией профессора Козырева.

«Утверждение нового вероучения». Это, — иными словами, подрыв марксистско-ленинского мировоззрения. А что может быть страшнее такой опасности для партийных бюрократов и догматиков?..

Ссылка в статье газеты «Правда» на некомпетентных комментаторов в освещении научных проблем, как мы видели, явно притянута за уши. Тем более, что подлинно новое в науке и технике могут постигать и предвидеть не только ученые-специалисты, но и талантливые мастера искусства. Трезвый разум математика не всегда опережает фантазию и предчувствия вдохновенного художника. «Новые идеи порождаются не расчетливым умом, а творческой художественной фантазией», — писал Макс Планк. И в доказательство можно привести интереснейший случай с поэтом В. В. Маяковским.

Весной 1922 года Маяковский впервые услышал о теории относительности Эйнштейна. Он глубоко задумался, а потом, по свидетельству писателя Льва Кассиля, воскликнул:

«А вдруг так будет завоевано бессмертие?! Вдруг смерти не будет? А я совершенно убежден, что будут воскрешать мертвых. Я найду физика, который мне по пунктам растолкует книгу Эйнштейна. Я этому физику академический паек платить буду...»

Тут же Маяковский составил телеграмму Эйнштейну:

«От искусства будущего — науке будущего».

А вскоре, в стихотворении «Кемп «Нит гедайге», появились такие строчки:

Прямо
 перед мордой
 пролетает вечность —
бесконечный распустила хвост.
Были б все одеты,
 и в белье, конечно,
если б время
 ткало
 не часы,
 а холст.
Впрямь бы это
 время
 в приводной бы ремень,
спустят
 с холостого —
 и чеши и сыпь!
Чтобы
 не часы показывали время,
а чтоб время
 честно
 двигало часы.

На фоне теории Козырева и знаменитый лозунг Маяковского «Время, вперед!» уже не кажется полной бессмыслицей или «диким» поэтическим образом. Кстати сказать, и великий немецкий поэт Гете на вопрос: что такое время? — ответил: «Время само есть элемент». Но вернемся к опасности «утверждения нового вероучения», вспомнив слова Фридриха Энгельса, что «Естествознание есть пробный камень диалектики»...

Естествознание переживает сейчас катастрофический кризис. С помощью новейшей техники ученые во всем мире накопили такое множество научных данных, что осмыслить и хоть как-то систематизировать их не представляется возможным в короткий промежуток времени жизни одного человека. Наибольшие надежды здесь приходится возлагать на философов, теоретиков и, может быть, даже на духовных прорицателей. А в этом отношении советские ученые находятся в чрезвычайно стесненном положении.

На IX международной конференции по физике высоких энергий, состоявшейся в Киеве в июле 1959 года, знаменитый советский ученый — член-корреспондент Академии наук СССР Д. И. Блохинцев — в своем докладе «Некоторые вопросы современной физики», позднее опубликованном в журнале «Вопросы философии» (№ 10 за 1959 год), заявил, например:

Прогресс советской философской мысли «был бы гораздо большим, если бы не спотыкались в течение многих лет на очень простых вещах. Достаточно было кому-то заметить, что тот или иной факт или теория могут быть связаны или истолкованы в духе идеализма или позитивизма, как полностью отвергалось все содержание, связанное с этим фактом или теорией».

Что и кого имел в виду Блохинцев, произнося эти слова, догадаться не трудно. Это, прежде всего, теория относительности Эйнштейна и те партийные невежды и псевдоученые, которые до сего времени не прекращают попыток отрицать теорию Эйнштейна только на том основании, что он принадлежал к философам идеалистического, а не материалистического толка.

В первом номере журнала «Вопросы философии» за 1949 год советский философ Митин называл высказывания Эйнштейна и Инфельда в их книге «Эволюция физики» — «чудовищными». В первом номере того же журнала за 1952 год академик Курсанов квалифицировал учение Эйнштейна как лженаучное, а самого его назвал «дипломированным лакеем поповщины». 13 июня 1952 года в газете «Красный флот» появилась статья А. А. Максимова под заглавием «Против реакционного эйнштейнизма в физике». В третьем номере журнала «Вопросы философии» за 1955 год, в статье «О соотношении пространства, времени и материи» можно прочесть такие строчки:

«Эйнштейн распространяет свои выводы за пределы их применимости, абсолютизирует одну из черт познания мира, сводит к ней всю сложность Вселенной и, естественно, не дает правильного решения вопроса».

В следующем номере того же журнала академик Фок заявил:

«В общей теории относительности нет никакой относительности... Здесь сыграла роль... философская позиция Эйнштейна, всю свою жизнь находившегося под влиянием идей Маха».

Из последнего издания Большой Советской Энциклопедии можно узнать, что «общий принцип относительности неверен и вообще не может иметь места»; что «развитие общей теории относительности... было связано с попытками построения так называемой единой теории поля... Эти попытки окончились неудачей»; что философия Эйнштейна является «идеалистической, буржуазной и чуждой пролетариату».

Действительно Эйнштейн прямо говорил:

«В основе всякого научного изыскания лежит вера, аналогичная религиозному чувству, что мир создан разумом, и потому может быть познан».

При этом профессор Эйнштейн добавлял:

«Наука без религии неполноценна, а религия без науки слепа».

А что показала жизнь?

Жизнь показала, что все нападавшие на Эйнштейна были либо действительно мракобесами, либо сознательно кривили душой в угоду партийной догме, теория же Эйнштейна блестяще оправдала себя на практике и теперь является общепризнанной даже в Советском Союзе. Единственная «поправка» к ней, для увязки ее с партийной идеологией, была сделана членом-корреспондентом Академии наук СССР А. Д. Александровым на подготавливавшемся почти два года и состоявшемся в Москве в конце 1958 года Всесоюзном совещании по философским вопросам естествознания. Начав рассуждать об «ошибочном понимании Эйнштейном его собственной теории», Александров заявил:

«Таким образом, хотя речь идет о той же теории Эйнштейна, тем не менее все ее построения, так же, как и понимание ее сущности, должны быть, в известном смысле, прямо противоположны эйнштейновским».

Сейчас, когда благодаря идеям Эйнштейна, призвавшего человечество перед своей смертью «учиться мыслить по-новому», человек овладел энергией атома и готовится к полетам в межпланетное пространство, а профессору Вернеру Гейзенбергу удалось вплотную подойти к разрешению «неудачной» проблемы единой теории поля, то есть, наметить формулу, с помощью которой может быть объяснена вся структура материи, вышеприведенное заявление Александрова кажется просто детской забавой. К сожалению, история, происшедшая в Советском Союзе с теорией Эйнштейна, не является случайной. Аналогичные истории произошли и с квантовой теорией, и с кибернетикой. Истина, однако, всегда брала верх и все честные советские ученые этому смело способствовали и способствуют. Академик С. Соболев, например, прямо заявил в журнале «Вопросы философии» (№ 5 за 1958 год):

«Никакой порочной философской концепции в основе научного содержания кибернетики нет... Весьма печальным обстоятельством является отсутствие у нас достаточной научной литературы в области кибернетики. Особенно досадно то, что подавляющее большинство наших философов было до самого последнего времени незнакомо с кибернетикой»...

Еще раньше на совещании в Киеве, советский физик К. Б. Толпыго жаловался, что «до сего времени философы требуют (речь идет, конечно, о философах-материалистах. — Н. И.), чтобы физики изменили законы квантовой механики... Но это невозможно». И обращаясь к собравшимся, он воскликнул: «Вас призывают, товарищи философы, обращаться к фактам и уважать твердо установленные экспериментальные факты, а вы часто делаете утверждения, идущие вразрез фактам».

В качестве примера партийного философа-невежды Толпыго привел профессора А. А. Максимова, который, «несмотря на свою многолетнюю практику в критике физических теорий, не удосужился изучить теорию относительности и опыты, на которых она базируется»... («Философские вопросы современной физики», Киев, 1956).

Мы не беремся судить об истинности или ошибочности теории профессора Козырева. Мы помним французскую поговорку "Comparaison n'est pas raison", то есть, что сравнение не есть доказательство. Но удар по профессору Козыреву

со стороны Центрального Органа ЦК КПСС невольно заставляет вспомнить те скандальные истории, которые произошли в СССР с теорией относительности Альберта Эйнштейна, квантовой теорией Макса Планка и кибернетикой Норберта Винера. При этом нельзя не отметить три весьма странных обстоятельства.

Во-первых, удар по Козыреву в газете «Правда» от 22 ноября 1959 года был нанесен совершенно неожиданно, поскольку в газете «Нью-Йорк таймс» от 20 ноября 1959 года была напечатана восторженная статья о теории профессора Козырева, переданная накануне московской радиостанцией на английском языке.

Во-вторых, статья в газете «Правда» косвенным образом бьет по члену-корреспонденту Академии наук СССР Д. И. Блохинцеву, который в своем докладе на IX международной конференции по физике высоких энергий, состоявшейся в Киеве в июле 1959 года, жаловался на косность партийного руководства и отсутствие фантазии у современных ученых. Блохинцев сказал тогда:

«Нужен серьезный, фундаментальный шаг вперед, который бы радикально изменил наши представления о частицах в пространстве. Здесь нужно, может быть, только одно: идея должна быть какой-то совершенно «сумасшедшей» по сравнению с установившимися на сегодняшний день в физике понятиями».

В таком «сумасшествии» Козыреву, так же, как это было в свое время с Лобачевским и Эйнштейном, никто отказать не может.

А, в-третьих, мысль Козырева о том, что мифологическая река времен Лета, в какой-то мере, аналогична реальной реке с ее разливами, водоворотами, непрерывным течением и даже стоячими омутами, вряд ли относится к разряду чистой мистики.

«Что такое время и какова природа его — нам неизвестно», — заявил когда-то Аристотель. И, к сожалению, его слова не потеряли своей силы до наших дней, ибо все попытки определить сущность времени, сделанные как философами идеалистами, так и философами материалистами полны противоречий.

Пространство и время неразрывны между собой и пространство-время является лишь одной из форм существования материи, утверждают философы материалисты, однако, и такое утверждение заводит их в тупик. Это ясно видно из статьи Новика в журнале «Вопросы философии» (№ 3 за 1955 год), в которой он пишет, что ошибочно думать, «что материя будто существовала до пространства и времени».

«При этом не учитывается, — пишет он, — что категории причины и следствия применимы к рассмотрению связи конкретных вещей и явлений, но они неприменимы к миру в целом; поэтому нельзя говорить о «причине мира» или «следствии мира в целом», если не желать дойти до порочных воззрений о «конечной первопричине».

Даже Ленин на странице 48 своих «Философских тетрадей» пришел к выводу, что «Время вне временных вещей — Бог». А философы идеалисты бросаются в другую крайность.

Убеденный последователь учения австрийского физика Эрнста Маха — английский ученый Карл Пирсон, которого Ленин назвал «добросовестным и честным врагом материализма», писал, например:

«Пространство и время суть не реальности мира явлений, а способы, которыми мы воспринимаем вещи. Они не являются ни бесконечными, ни бесконечно делимыми».

А сам Эрнст Мах в своей книге «Механика», изданной в 1897 году, категорически утверждал:

«В природе нет ни причины, ни следствия».

Из сказанного совершенно очевидно, что теория профессора Козырева плохо согласуется и с чистым материализмом, и с чистым идеализмом. Поэтому фраза о попытке «утверждения нового вероучения» попала на страницы газеты «Правда», конечно, не случайно. С «Несимметричной механикой» Козырева, по всей видимости, проделывается какая-то особая, партийная «механика»...

Так или иначе, «ход времени» приведет нас к ответу на вопрос: прав или неправ профессор Николай Александрович Козырев?

Буддизм и христианство

Статья моя есть, главным образом, изложение труда В. А. Кожевникова «Буддизм в сравнении с христианством»¹⁾, а также труда «Проблемы буддийской философии»²⁾ О. О. Розенберга, талантливого русского ученого, погибшего от сыпного тифа во время гражданской войны.

Кожевников в своей книге задается целью изложить учения буддизма в той форме, как они были выработаны самим Буддой. Систему мыслей Будды знают буддийские ученые монахи, а не народ, вроде того, как и христиане, не занимающиеся богословием, плохо знают сущность христианства.

Несмотря на то, что оба труда были изданы уже более сорока лет назад, изложение сущности первоначального буддизма сделано в них точно.



Религия есть высшая, наиболее ценная функция человеческого духа. Всё ценное, подвергаясь искажению, может дать отрицательные явления. При этом искажение наивысших проявлений духа дает наиболее тяжелые формы зла. Этому закону подпадает и религиозная жизнь человека. Поэтому, сталкиваясь с отрицательными явлениями религиозной жизни, многие люди бывают как бы ушиблены религией, в особенности христианством, и, не умея отличить идеальную Божественную сторону религии от воплощения ее в земной жизни и от искажений ее людьми, начинают отвергать тот или иной вид религии, или даже всякую религию, и ненавидеть ее.

В настоящее время появилось особенно много людей, возненавидевших христианство, борющихся с ним и в этой борьбе противопоставляющих христианству какую-либо другую религию или суррогат религии. Между прочим, к числу таких восхваляемых за счет христианства религий принадлежит буддизм.

«Предрасположение к буддизму на Западе, — говорит Кожевников, — создалось в значительной степени благодаря философскому учению Шопенгауэра и Гартманна, учению, от которого, несомненно, веет холодом буддийского песси-

¹⁾ 2 тома, 1.400 стр. Санкт-Петербург, 1916.

²⁾ Изд. факультета Восточных языков СПб университета, 1918.

мизма»³⁾. Теософическое общество также не мало содействовало возрождению сочувствия к буддизму в Индии и успеху буддизма в Европе. Особенно потрудился на пользу буддизма полковник Олькотт, основавший вместе с Блавацкой Теософическое общество. В своем «Буддийском катехизисе» Олькотт следующим образом рекомендует проповедуемый им необуддизм: «Из всех религий он один учит наивысшему благу без Бога, продолжению бытия без души, блаженству без неба, святости без Спасителя, искуплению одними собственными силами, без обрядов, молитв и покаяния, без посредства святых и духовенства: он учит, наконец, совершенству, осуществимому уже в земной жизни»⁴⁾.

Ученый японец Сузуки в своей книге «Очерки махаянского буддизма» говорит: «Если буддизм назовут религиею без Бога и без души или просто атеизмом, последователи его не станут возражать против такого определения», так как «понятие о высшем существе, стоящем выше своих созданий и произвольно вмешивающемся в человеческие дела, представляется крайне оскорбительным для буддистов»⁵⁾.

Имея в виду порделивые притязания буддистов, полезно отдать себе отчет в том, какова сущность буддийского благовестия, и сравнить ее с идеалами христианства. Работу эту выполнил Кожевников в своем обширном труде, но при этом он имел в виду не необуддизм и не народную религию буддизма в ее различных видоизменениях, а, насколько это возможно, первоначальное учение, которое можно с большим или меньшим вероятием приписать самому основателю буддизма (т. I, стр. 38), получившему при рождении имя *Сиддхартхи*. Сам он усвоил себе, когда стал аскетом, имя Готамо, но наиболее известен он под именем Будды («пробужденный, осветленный, познающий»), которое означает всякое существо, достигшее высшей ступени духовного развития (т. I, стр. 339).

Время рождения Готамо-Будды точно неизвестно: между 624 и 459 годами до Р. Х. Согласно учению некоторых буддистов, Готамо — двадцать восьмой Будда, явившийся на землю в последнем периоде ее развития (т. I, 235).

Изложению книги Кожевникова я предположу краткую схему метафизики буддизма, пользуясь для этого трудом «Проблемы буддийской философии» О. О. Розенберга. В своей книге Розенберг дает «схему основных буддийских учений», более или менее общую «для буддистов всех направлений», пользуясь такими памятниками и источниками (кроме индусских, китайскими и японскими), которые в его время еще мало изучались европейскими учеными.

Все буддисты думают, что мир состоит только из событий, возникающих и исчезающих во времени⁶⁾. Ничего вечного, сверхвременного и, следовательно, устойчивого, не исчезающего буддисты не признают. Вечной, бессмертной души у человека нет. Человеческая личность состоит только из возникающих и исчезающих во времени чувств, желаний, восприятий, поступков. Учение о переселении душ, встречающееся у многих народов и у многих индусских философов, точно говоря, не существует в философии буддизма. Согласно этому учению бессмерт-

³⁾ В. А. Кожевников, т. I, стр. 4. В дальнейшем цитаты, обозначенные кавычками, без указания, из какой книги они заимствованы, взяты из книги Кожевникова.

⁵⁾ Suzuki. Outlines of Mahayana Buddhism, стр. 31, Лондон 1907.

⁵⁾ Suzuki. Outlines of Mahayana Buddhism, стр. 31, Лондон 1907.

⁶⁾ В философии словом «событие» называется все, что возникает и исчезает во времени, всякий процесс, например, движение руки, берущей чашку чая.

ной души нет; поэтому нельзя говорить, что после смерти одна и та же душа переходит из одного тела в другое. Но учение, похожее на мысль о переселении души, у всех буддистов существует. Они думают, что после смерти какой-либо личности, например, Петра, события, из которых состояла его жизнь, служат причиной возникновения нового ряда событий другой личности, например, Павла, и т. д. Характер жизни Павла, более или менее хороший, зависит от того, как жил его предшественник Петр. Такую зависимость жизни личности от жизни предшествующей ей личности индусы называют термином «карма».

Всякое событие, согласно буддизму, есть нечто несовершенное, связанное со страданием, заслуживающее исчезновения, т. е. отпадения в область прошлого. Возникновение мировых событий они считают следствием «волнения», «суеты» или «помраченности» Высшего начала, обозначаемого словом «Нирвана». Абсолютное начало, Нирвана, стоит выше всякого бытия; о нем нельзя сказать ни того, что оно есть, ни того, что оно не есть, так как оно выше всякого понимания и выразить его словами невозможно (Розенберг, стр. 262). «Волнение», вследствие которого возникает бытие событий, есть нечто *не должное*; ему неизбежно сопутствует страдание. «Познавший истину, что бытие не должно быть, ибо оно противоречит сущности абсолютного начала, вступает на путь к успокоению, к Нирване, к окончательному покою. Путем подавления страстей и всего того, что его удерживает в вихре бытия, ему удастся «срезать», т. е. приостанавливать проявление все большего и большего количества элементов, пока, наконец, не наступит полная тишина, не будет никакого иллюзорного бытия: останется только абсолютная сущность в состоянии полного спокойствия» (Розенберг, стр. 77).

Когда в потоке сознания живого существа появляется чистая «мудрость», «прозрение», именно постижение бессмысленности бытия, с этого момента спасение данного существа обеспечено: оно может, правда, еще пережить колебания и падения, но рано или поздно оно наверное достигнет Нирваны (Розенберг, стр. 235). «Достижение Нирваны не есть — говорит Розенберг — возвращение к какому-то первоначальному состоянию невзволнованности. По учению буддизма, *волнение безначально*; оно, следовательно, не есть результат грехопадения, оно не грех, который нужно искупить, а первобытное страдание, которое должно быть приостановлено» (стр. 257). «Понятие прекращения бытия-страдания существенно отличается от идеи спасения в других системах тем, что возможность его обеспечена именно его безначальностью. Только безначально волнующееся может достигнуть вечного покоя, ибо начавшееся волнение *предполагало бы нарушенный покой*. Если бы бытие имело начало, если бы оно было создано Творцом или Брахмой, оно, разумеется, тоже могло бы иметь конец, но — оно могло бы тогда начаться вновь» (стр. 260).

Буддийская философия, таким образом, решительно борется против идеи Бога как Творца мира и не признает учения о спасении мира Богом. В каждом живом существе, выходящем из круговорота бытия, достигает спасения само абсолютное начало. «Спасение существ, таким образом, есть самоспасение истинно-сущего. Будда, спасая существа, спасает себя; существа, спасая себя, спасают Будду; совершенство каждого есть совершенство всех, и спасение каждого есть частичное спасение истинно-сущего» (Розенберг, стр. 261).

В этом учении о спасении нужно различать древнейший буддизм, *хинаяну*, и более позднее учение, *махаяну*, возникшее в начале нашей эры (Розенберг, стр. 37). Согласно учению *хинаяны*, каждое живое существо есть замкнутый вихрь, не способный повлиять на другие существа; поэтому каждая личность

может спасать только себя самое. Сторонники махаяны, наоборот, «утверждают связь между отдельными личностями, они внесли идею бодисатвы, т. е. такой личности, которая, дойдя до последнего момента, когда она могла бы погрузиться в вечный покой, отказывается от этого и продолжает быть, помогает другим личностям достигнуть конечной цели» (Розенберг, стр. 78).

Подойдем теперь к нашей основной цели, к рассмотрению буддизма в сравнении его с христианством и вернемся к книге Кожевникова. Христианин утверждает, что мир сотворен Всемогущим и Всевластным Богом, который есть само Добро, сама Красота и Истина. Чертами добра, красоты и истины запечатлена также и первоизданная сущность мира. Человеческая личность, индивидуальное «я» создано по образу Божию с задачей осуществить путем правильного поведения подобие Божие. Индивидуальное «я», т. е. душа, есть существо сверхвременное и сверхпространственное. Свои чувства, желания и поступки, т. е. свою жизнь, всякое «я» творит во времени; они возникают и опадают в прошлое, но само индивидуальное «я» стоит выше времени, оно есть существо, обладающее индивидуальным личным бессмертием.

Сверхвременное существо, творящее свои проявления во времени и пространстве, называется в философии субстанцией, или, лучше, чтобы подчеркнуть его активность, можно назвать его словами «субстанциальный деятель». Итак, каждое индивидуальное «я» есть субстанциальный деятель. Согласно христианскому учению, каждая личность, исполняющая в совершенстве заповеди Христа: «люби Бога больше себя и ближнего как себя», удостоивается обожения по благодати и вечной жизни в Царстве Божием с сохранением индивидуального своеобразия. Их жизнь, свободная от эгоизма, посвящена творению абсолютных ценностей красоты, нравственного добра, открытию и усвоению истины. Это возможно потому, что у них нет материального тела и, следовательно, нет физиологических процессов: их тело преобразенное, состоящее из прекрасного света, звуков, ароматов и т. п. В Царстве Божием каждая личность достигает совершенной полноты жизни и высших ступеней творчества, индивидуально своеобразного, но в то же время гармонически согласованного с творчеством всех других членов Царства Божия, откуда получается целое, обладающее совершенной красотой и совершенным добром во всех смыслах этого слова. Поэтому каждое индивидуальное «я» имеет абсолютную ценность.

Согласно метафизике такого направления, которое можно назвать персонализмом, Бог сотворил мир так, что он весь состоит из личностей, действительных, как, например, человек, или, по крайней мере, потенциальных, т. е. способных развиться и стать действительными личностями. Бог есть совершенное добро и, будучи Всевластным, он хочет, чтобы добро было как можно шире распространено. Он творит мир из личностей потому, что личность, правильно использующая свою свободную волю, способна творить жизнь, полную совершенного добра.

Абсолютное неприятие мира, желание разрушить мир было бы хулой на Духа Святого и бунтом против Бога. Христианин отвергает в мире только зло, но он полагает, что зло не есть неизбежная принадлежность бытия: оно внесено в мир самой тварью, неправильно пользующейся свободой своей воли. Личности, стремящиеся к полноте жизни преимущественно для себя и равнодушные к жизни огромного большинства других личностей, т. е. вступившие на путь эгоизма, творят природу нашего царства бытия, полную несовершенства. Само наше материальное тело есть следствие нашего преховного эгоизма: желая захватить некоторый объем пространства в свое исключительное пользование, мы произво-

дим акты отталкивания, создающие относительно непроницаемый объем нашего тела. Абсолютному осуждению подлежит только нравственное зло, эгоизм, а зло душевных и физических страданий есть следствие нравственного зла, имеющее глубокий целительный смысл. Таким образом, мир, не только в его положительных, но и в его отрицательных свойствах, есть нечто проникнутое высоким смыслом⁷⁾.

Буддизм, в противоположность христианству, проповедует абсолютное неприятие мира: его идеал — совершенное уничтожение мира и особенно уничтожение личного бытия, самоуничтожение. Мир для него есть результат бессмысленного «волнения», «суеты», поднимающейся непостижимым образом из глубин Абсолютного. Отрицая субстанциональное вечное бытие духа, буддист считает всю жизнь личности состоящей из событий, не имеющих подлинной ценности и ведущих к страданию. Первоначальные основания этого пессимизма, согласно легенде, таковы: царевич Сиддхартхи (будущий Будда), окруженный восточной роскошью, изведавший всевозможные чувственные наслаждения, резко меняет свою жизнь под влиянием встреч, открывших ему глаза на тщету жизни и указавших путь к спасению; это была встреча с дряхлым стариком, затем с больным проказою, вид мертвеца и, наконец, беседа с аскетом, который, «убоявшись рождения и смерти», поставил себе целью «избавиться от мира, подвластного разрушению» (т. I, стр. 385—406).

Замечательно то, что согласно легенде, разочарование жизнью вызвано в душе Будды зрелищем старости, болезни и смерти, т. е. физического зла, а не наблюдением нравственного зла — гордыни, высокомерия, честолюбия, властолюбия, лживости, предательства и т. п. Испугавшись телесной смерти, Будда ищет спасения в смерти абсолютной, в совершенном уничтожении бытия.

Не будем однако руководствоваться легендой. В философии буддизма дано гораздо более глубокое обоснование пессимизма, именно учение о временности, преходящем характере всякого бытия. Но и это обоснование не выдерживает критики. Временный аспект бытия возможен не иначе, как на основе более глубокой сверхвременной стороны того же самого бытия. Христианская религия, с ее возвышенною идеей Бога и высокими формами культа, воспитывает в человеке способность мистического приобщения к абсолютной ценности Божественного сверхвременного бытия и Царства Божия. Далее, обращаясь к нашему несовершенному земному бытию, христианская религия все силы и средства направляет на воспитание любви к Богу и всякой твари, на развитие видения всевозможных видов добра в природе и нашей жизни и отталкивание от нравственного зла. Сосредоточение внимания на добре выводит душу из суеты преходящего бытия, заслуживающего уничтожения, направляет ее на абсолютные идеальные ценности и воспитывает способность понимания сверхвременной субстанциальности духа, а вместе с тем и возможности вечных благ. Старость, болезнь и смерть оказываются преходящим, сравнительно второстепенным злом: они устранимы при условии совершенного преодоления эгоизма, и ужас их меркнет перед красотой и блаженством жизни в Царстве Божием. Поэтому мотивы и цели поведения христианина не столько отрицательные — боязнь смерти, страданий и т. п., сколько положительные — любовь к Богу и тварям Божиим, любовь к добру, истине, красоте, свободе, любовь к творчеству,

⁷⁾ См. мои книги «Бог и мировое зло (основы теодицеи)»; «Условия абсолютного добра».

воплощающему эти абсолютные ценности, любовь к личному индивидуальному бытию как высшей абсолютной ценности, вмещающей в себе все остальные блага бытия. Наоборот, буддизм, отрицая вечность и абсолютную ценность личности, выдвинул на первый план отрицательные цели — страшную цель уничтожения личного индивидуального бытия и мира вообще. В личном бытии буддист находит не источник любви к абсолютным ценностям, не центр бескорыстного творчества, а *только себялюбие*. Достигая просветления, всякий Будда возглашает в «Гимне торжества»:

Я странствовал долго, я долго блуждал,
Прикован к цепям бытия;
Рождение рожденьем я часто сменял,
И тщетно разведывал я:
Откуда в нас жизнь и сознание?
Откуда страдание?
К чему это бремя повторных рождений
Для новых смертей и для новых мучений?
Но вскрылась мне тайна, в нее я проник:
Сознание личного я
И жажда его бытия —
Вот жизни начало, вот смерти родник!
Внемли ж Себялюбье, последнее слово:
Ты впредь не создашь мне обители новой!
Твоя уничтожена в корне основа;
Померкли соблазны твоих обольщений;
Достигнуты цели заветных стремлений;
Из области смерти и новых рождений
В иные мой дух устремляется страны,
В края неизменной Нирваны.

Главным средством для достижения этой заветной цели служит *знание и созерцание*. «В море рождений и смерти — говорит Готамо — знание — вот спасительная ладья! Знание — вот светильник, озаряющий мрачный, темный мир! Знание — вот благоприятное врачевание от всех недугов жизни! Знание — вот секира, способная снести прочь все непроницаемые заросли страдания! Знание — вот мост, перекинутый через стремительный поток неведения и похоти!» (т. I, стр. 150).

На вопрос «Кем правится мир, чьей власти подчинен он, с чьим бытием связан он?» Будда отвечал: «Сознанием правится мир; с сознанием связана судьба мира, могуществу сознания подчинен мир». Поэтому и «пять высших сил борьбы», Буддой признаваемых, — всецело силы интеллектуальные: «доверие (к учению, основанному на *ясном сознании*), энергия мышления, созерцательная сосредоточенность и прозорливость».

«Ясно сознательно входит и уходит мудрец; ясно сознательно взирает и отворачивается он; ясно сознательно движется; ясно сознательно носит рясу и чашу; ясно сознательно ест и пьет, жует и смакует, ясно сознательно опорожняется; ясно сознательно ходит, стоит, сидит, спит и бодрствует, говорит и молчит он». Этим путем «очищаются шлаки духа, причиняющие хромоту его» (т. I, стр. 245). «Ясно сознательно достигает мудрец бескорытного и безрадостного состояния,

достигает постоянной в настроении, одинаково на все смотрящей, совершенной чистоты и освящения, даруемого созерцанием». «Ни любовь, ни вражда», говорит он, «мне неведомы; ни радость, ни горе не потревожат моего духа» (т. I, стр. 153).

Согласно учению Иисуса Христа, совершенство — в полноте любви, а согласно учению Будды — в полноте знания (т. I, стр. 150). И не удивительно: цель буддиста состоит в том, чтобы усмотреть отчетливо, что нет ничего абсолютно ценного и достойного любви, что всякое бытие должно быть уничтожено радикально путем самоуничтожения личности (т. I, стр. 606). Для достижения этой цели, по самому существу ее, высшее средство есть не любовь, — любить в этом мире нечего, — а знание, именно постижение ничтожности всего сущего. Кто согласился с этим учением, тот не находит Существа, к которому можно обратиться с молитвою, не находит Существа, которое заслуживало бы такого культа, как богослужение. Однако религиозная потребность преклоняться перед высшим началом у человека неистребима. Чтобы удовлетворить ее, Будда предлагает суррогат, именно благоговейное размышление и созерцание, медитацию или контемплацию. Первая ступень духовного роста, достигаемого этими упражнениями, есть нравственная дисциплина, далее — мыслительная дисциплина и, наконец, высшая ступень — дисциплина «высшей мудрости» (т. II, стр. 227, 235—240). Нравственная тренировка есть первое условие духовного роста, но высшее значение принадлежит не ей в этой системе, ставящей целью уничтожение личности. Поэтому о значении и характере нравственной деятельности будет сказано позже, а теперь познакомимся с интеллектуальной тренировкой. Первая задача ее есть «усвоение способности и привычки к сосредоточению внимания на теме, избранной для обдумывания и созерцания» (т. II, стр. 253). Для этой цели рекомендуется упражнение в так называемых «касинах» (т. II, стр. 253). Производятся эти упражнения с целью создать своеобразное психическое состояние, которое можно определить как благоговейное настроение, отданное думам о важнейших священных истинах, созерцанию их и мистическому слиянию с ними (т. II, стр. 239).

Одна из «касин», называемая «земляною», состоит в следующем. Нужно выбрать почву определенной окраски, заключить ее в раму, смочить землю водою, чтобы поверхность ее стала совершенно гладкою и т. п. Затем упражняющийся должен вымести место, выкупаться и усесться на прочно сделанное сиденье на определенном расстоянии от круга касины, так как эти условия обеспечивают правильное созерцание ее при минимально утомительной позе. Усевшись, упражняющийся должен прежде всего думать о ничтожестве чувственных удовольствий, мысленно повторяя такие фразы, как: «Чувственные удовольствия лишены вкуса» и т. п. Достигнув таким образом равнодушия к ним, чтобы избавиться от них и обрести средства перейти за пределы страдания, он должен затем возбуждать в себе радость размышлениями о Будде, об учении буддизма и буддийской общине. Исполнившись величайшим почтением к этому процессу, употребившемуся всеми буддами и благородными учениками их для овладения равнодушием к чувственным удовольствиям, он должен оделать над собой устойчивое усилие и молвить: «воистину этим способом я стану участником в сладостной благодати обособления». Действуя так, он должен созерцать круг, многократно повторяя какое-нибудь название или какой-либо эпитет земли; лучше всего повторять слово «широкая, широкая» тысячи раз и более (т. II, стр. 256).

Упражнения, подобные «земляной касине», имеют существенное значение для душевной жизни человека. Они ведут к тому, что человек научается сосредоточивать все силы своего внимания непоколебимо на одном каком-либо пред-

мете, вопросе или желании. Могучая сила внимания сопутствуется силой воли, преодолевающей препятствия для достижения целей, к которым стремится человек. Индусские и другие дальневосточные мудрецы выработали несколько видов «Йога», т. е. систем упражнения, воспитывающих духовную силу человека. «Йогин», т. е. человек, занимающийся такими упражнениями, приобретает чудесные способности, ставящие его выше обыкновенных людей. Надобно однако заметить, что упражнения их имеют характер искусственной психотехники. Поэтому вступление на такой путь воспитания духовных сил опасно. Мы, люди, — существа прешные, и потому можем использовать силу духа для эгоистических целей, например, для подчинения себе других людей. У христианина есть иные средства для воспитания силы духа. Главное из них — молитва. Все мы знаем, как плохо мы управляем своим вниманием: уста наши произносят слова молитвы, а мысль направляется на житейские интересы наши. Вместо «земляных касин» и тому подобных упражнений будем воспитывать в себе непоколебимую силу внимания к Богу и Божественному добру. Такая молитва сопутствуется необыкновенным возрастанием духовных сил не потому, что я ставлю себе какую-либо земную цель, а потому, что сам Господь Бог воспитывает наш дух, и при достижении святости человек приобретает необыкновенные способности — проявляет прозорливость, творит чудеса.

Буддисты особенно дорожат медитациями, освобождающими человека от привязанности к телу. Вот один из образцов такого созерцания: «Тело, связанное костями, обложенное надкостницей и мясом и прикрытое кожей, с виду кажется не тем, что оно есть. Внутри его помещаются кишки, желудок, печень, селезенка, вместе со слизью, слюною, потом, лимфою, кровью, подставною жидкостью, желчью и жиром. Девятью путями непрестанно вытекают нечистоты из тела: выделения глазные — из глаз, ушные — из уха, слизь — из носа, мокрота и желчь — изо рта, а пот и прызь — через все тело... И вот безумец, водимый невежеством, мнит, будто составленное из всего этого есть нечто прекрасное. Когда же это тело лежит перед ним мертвое, вздутым и побледневшим, когда уносят его на кладбище, тогда даже ближние не дорожат им».

Кроме презрения к телу, эти медитации имеют целью осознать несамостоятельность тела, выработать убеждение в том, что оно есть сочетание стихий, образующихся и вновь распадающихся. Для наглядного живого усвоения этой мысли мудрец «созерцает тело, стараясь представить его себе в том виде, какой оно имеет через день, два или три после смерти, вздутым, с синеющими трупными пятнами, в процессе начавшегося разложения» и отсюда выводит заключение: «мое тело так же организовано», и переходит к созерцанию тела, разодранного псами и шакалами, и повторяет: «и мое тело такое же», и возбуждает он далее в себе образ того же трупа в виде ободранного окровавленного скелета... потом уже распадающегося на отдельные кости, разбросанные там и сям; и опять повторяет: «и мое тело таково же; и я не исключение из общей участи». И настолько глубоко и прочно проникается он этим сознанием, что начинает уже жить без привязанности к своему телу и к чему бы то ни было в мире» (т. II, стр. 280).

«Некоторые до того приобрели навык в подобном превращении соблазнительного в претящее, что и в живом существе им постоянно чудится мертвец. Типичный ответ в этом смысле дал отшельник Магатисса мужу одной красавицы-щеголики на вопрос, не встречал ли он такой женщины на пути: «Мужчину, жен-

щину ль я встретил на пути, — не знаю; одно тебе могу сказать я: скелет здесь точно встретился со мной» (т. II, стр. 517).

Освобождение от тела и овладение им, пожалуй, еще в большей степени достигается путем контроля над дыханием и выдыханием. Эти упражнения связаны с тренировкою «праны». Словом «прана» обозначается утонченная материя, находящаяся в основе нашего грубого тела. По учению Будды, эта дисциплина есть надежное средство, во-первых, противодействия «непроизвольно возвращающимся дурным, недостойным помыслам и образам алчности, ненависти и ослепления», которые должно «подавлять, стибать, принижать мучением духа» посредством тренировки дыхания «при сжатых зубах и приподнятом к небу языке». Во-вторых, это — средство подъема в области утонченного сознания. Для успешного упражнения в этой дисциплине Будда рекомендует удалиться в глубь леса или в пустую келью, усесться со скрещенными ногами, выпрямивши стан, и предаться созерцанию. Сознательно надо вдыхать и выдыхать, проникаясь следующими мыслями: «вот я вздохну глубоко, а вот — коротко; вот стану вдыхать и выдыхать с ощущением этого процесса всем телом; а вот стану делать это, ослабляя ощущение связи частей тела друг с другом». И таким образом потружается он в процесс дозора внутреннего тела над внешним; снаружи и изнутри бдит он над телом; наблюдает, как возникает и как проходит оно; и осознает факт: «вот что оно такое, это тело!» И это прозрение становится ему опорой (в дальнейшем духовном росте), ибо оно образумляет и научает жить независимо (от гнета всего материального) и не желать ничего в мире. А далее, — «ощущая блаженство, буду дышать я; ощущая связь мыслей, буду вдыхать и выдыхать я; восприимая изменчивость и непривлекательность; восприимая и осознавая устройство (соединение) и отчуждение (распадение), буду вдыхать и выдыхать я» (т. II, стр. 259).

Тренировка праны сопутствуется, как видно уже из этих слов Будды, медитациями, имеющими целью внедрить в ум мудреца, путем личного переживания, убеждение в ничтожности всего сущего. Первая пруппа медитаций, подробно описанная выше, направлена на тело и задается целью развенчать его и воспитать презрение к нему; далее, медитация направляется, с целью такого же развенчания, на душевную жизнь человека — на чувства, затем на мысли и вообще сознание; наконец, четвертая пруппа медитаций посвящена развенчанию всех явлений вообще (т. II, стр. 633—636). Здесь на личном опыте мудрец приходит к убеждению, что «все это мимолетно, эфемерно, несущественно»; «ничего субстанционального, самосущего, довлеющего, удовлетворяющего! Только одни мимобегающие тени!» (т. II, стр. 281).

Освободившись таким образом от влечения к бытию, мудрец вступает далее на «благородный восьмеричный путь» созерцаний, связанных с экстазом и переживанием блаженства. Радость, испытываемая в этих экстазах, не есть чувственное удовольствие; она «возникает из восприятия не ощущений, а идей; по восприятию же проникает собою весь организм, но в виде не чувственного, а духовного восторга, испытываемого однако и всюю физическою стороною организма» (т. II, стр. 243).

Сначала мудрец проходит четыре ступени погружения в область *форм* без влечения к ним, откуда возникает переживание блаженства; далее он вступает уже в область *сверхрассудочного экстаза*, именно осуществляет четыре погружения в мир *бесформенности*. В трактате Ангуттара-никая даны следующие пояснения смысла этих четырех высших ступеней экстаза: «вследствие полного самоподъема над (иллюзорными) восприятиями телесных форм; вследствие

(должного) устройства реальных восприятий и в силу того, что созерцатель уже не имеет в себе в настоящей (окружающей его) действительности восприятий множественности вещей, он в процессе усвоения положения «пространство безгранично» достигает и сам безграничной области пространства. Возвысившись же и над этой областью, он в представлении «безгранично сознание» подымается в неограниченную область сознания; в силу же полного самоподъема над нею он, в итоге этого процесса (выражающегося положением «нет ничего»), вступает в область небытия; поднявшись же над нею, достигает области тождества восприятия и невосприятия или же безразличия сущего и не-сущего, что и составляет «глубочайшее утлупление» (т. II, стр. 264).

Освободившись от всех форм, субъект стоит на границе полного освобождения также и от своего личного индивидуального бытия. «Этот нигилистический итог», говорит Кожевников, есть девятая степень экстаза: наблюдаемая со стороны она «представляется в виде каталептического бессознательного состояния, подобного глубокому сну, длящемуся иногда до семи дней, с прекращением всех телесных и духовных отправлений и с приближением к смерти, от которой это состояние отличается сохранением некоторой внутренней теплоты и возможностью возврата к обычному функционированию организма» (т. II, стр. 266).

Факиры иногда приводят себя в такое состояние на сорок дней; их кладут в гроб, погребают и по прошествии указанного ими времени выкапывают и возвращают к жизни.

Усилия буддийского мудреца, говорит Кожевников, «все время направлены не к обнаружению положительной основы фактов и явлений жизненного процесса, а к разоблачению их отрицательных качеств. Это не рост духа, составляющий цель христианской аскетики и мистики: это, выражаясь подлинными словами буддизма, «прекращение духа». «Достижение полагается здесь не в умножении данного уже жизнью, а в утрате его; задача, — опять в полную противоположность христианству, — здесь не в очищении и обожении чувств, желаний и мыслей, а в полном «уташении» их. Сообразно с этой основной тенденцией буддийского экстаза от него веет леденящим холодом, настоящим дыханием смерти. Здесь нет пылкости католической мистики, столь склонной к сентиментальному млению и граничащей нередко с чувственностью. Нет здесь и здоровой теплоты того «умного света», что озаряет горные выси аскетики восточно-православной. Это не парение духа, окрыляемого любовью; это хладнокровный самоанализ духа, безжалостная вивисекция его, напряженная работа «ясного сознания» вплоть до самоумерщвления даже и сознания. И во всех этих рассуждениях, выдумываниях, «утлуплениях» и «достижениях» ни разу ни единого воспоминания, ни единого слова о любви. Но зато сколько забот, дум, грез об «уташении», о «прекращении»... Одолеть роковую карму единственным возможным путем — уходом из мертвой петли причиняемых ею перевоплощений — вот конечная цель экстатических переживаний» (т. II, стр. 267—270).

Мудрец, овладевший с помощью описанных упражнений всеми функциями своего тела и духа, приобретает магические, оккультные способности. Однако «Будда, веря в возможность и действительность магических сил, ценил их не очень высоко и не поощрял необдуманного и бестактного применения их» (т. II, стр. 288). Единственная и последняя цель, к которой он стремится, — уничтожение мира и личного бытия. «Иссякла, побеждена жизнь, закончена святость, свершен подвиг: мир этот более не существует!» Такова, восклицает Будда в

одной из главных своих речей, «очевидная награда подвижничества! Иной вышшей и желательной награды нет!» (т. I, стр. 154).

Предвкушение вечной смерти наполняет душу буддийских аскетов непонятным нам восторгом:

Сгорела я; истлела я;
Угасла я; остыла я,
И навсегда, и навсегда.
И не воскресну никогда.
Мир вечных смен, — разрушен он,
И к бытию нет возвращенья.
Все бытие истреблено
И вытравлено все оно.
Жизнь выжжена вплоть до корней
И не вернутся снова к ней.

Учение о перевоплощении, казалось бы, требует признания субстанциальности «я». Мы видели однако выше, что буддизм, отрицая существование души, признает не перевоплощение, а перегруппировку элементов в новое живое существо под влиянием кармы, которая связывает предыдущий индивидуальный поток событий с последующим, причем сама эта карма есть безличное начало.

В таком мире человек, ищущий спасения от зла, не может найти благодатной помощи свыше; в борьбе за добро он предоставлен одним своим собственным силам и прежде всего своей способности постигнуть истину ничтожности бытия. «Никто, братия, говорит Будда, не поведал мне благородной истины о скорбях, но сам я постиг ее»; и ученикам своим он советует: «не ищите опоры ни в чем, кроме как в самих себе; сами светите себе, не опираясь ни на что, кроме как на самих себя..., не прибегая ни к какому внешнему убежищу, ... достигайте высочайшей вершины» (т. I, стр. 175).

Слова Апостола Павла «знание надмевает, а любовь назидает» (1-е Кор., VIII, 1) прекрасно характеризуют противоположность между христианским и буддийским учением. Будда хвастался своим разрывом с прошлым: «мною самим познана истина; мною самим достигнуто освобождение; мною самим все сделано; мною самим все закончено» (т. II, стр. 21). Наоборот, Христос, говорит Кожевников, «не выдает возвещаемого Им учения за исключительное Свое и всецело новое. Это — учение Отца Его, это истина вечная, только полнее в новом свете Им вскрываемая. Он пришел не разрушить, а исполнить Закон, углубивши, расширивши, восполнивши его. Он не разрывает связи с прошлым, ссылаясь на Своих провозвестников, на «утоволявших путь Его» (т. II, стр. 211).

В христианском сознании все ищущие совершенства Отца своего Небесного мыслятся как единое целое, как органы единого целого Церкви, как ветви на лозе: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода», говорит Христос (Евангелие от Иоанна, XV, 5). В учении Будды, наоборот, все живые существа мыслятся обособленными и предоставленными сами себе. Не только здесь нет учения о мистическом единстве Церкви, но и учение о единении с Богом решительно отвергается. «Верить в общение и единение с Верховным Брахманом, незримым и непостижимым, о котором неизвестно, где он, откуда взялся он и куда девается, значит верить в возможность для низших существ познавать несуществующее в действительности». Не ясно ли, семь раз подряд повторяет Будда, что «самые речи о ложном и правильном, спаси-

тельном пути к Божеству и о состоянии единения с Брамой, которого никто никогда лицом к лицу не видел, суть речи глупые, дурацкие речи!» «Сравнивая эти шутки, говорит Кожевников, с величавыми выражениями в Упанишадах стремлений древне-индусской мысли к неведомому и неопределимому Божеству, нельзя не удивляться духовной неспособности творца буддизма к мистическому восприятию религиозного начала» (т. II, стр. 199). Неудивительно, продолжает Кожевников, что «такое настроение у большинства не могло продержаться долго; с ранних пор среди учеников того, «кто совершенно освободился от стремления к миру Богов», пробудилась реакция в эту отвергнутую им сторону и стал тотчас же зарождаться культ нового Божественного существа, самого Будды. Воспоминания о нем, почтительное отношение к его речам и деяниям, к местам, связанным с важными событиями его жизни, к мощам его и изображениям, а затем молитвенные обращения к нему, хвалебного, благодарственного и просительного свойства, и, наконец, принесение ему «невинных» жертв, цветов, плодов, риса, благовоний, — все вместе взятое постепенно сформировалось в настоящий культ Будды и умножило обряды, празднества и торжества в духовном быту его последователей».

«Области, примкнувшие к системе Махаяны, были затронуты склонностью к ритуализму значительно сильнее, чем страны южные, оставшиеся более верными первоначальной простоте обряда» (т. I, стр. 219). Но именно потому, что южный буддизм принципиально не отозвался на потребность религиозизировать учение Будды, он после временного расцвета не смог выдержать борьбы с браманизмом, джайнизмом и исламом и вымер в Индии (кроме Цейлона, Сиам и Бирмы). Зато буддизм северный, по выражению Рис-Дэвидса, отдался «неудержимой и ненасытной жажде сердец создавать богов, чтобы заселять ими области опустевшего индусского пантеона» (т. II, стр. 44). «Учение, призывающее к спасению *всех*, но без веры в Бога, а силою одного человеческого рассуждения и одной человеческой воли, не только не может быть принято всеми, но именно по своей иррелигиозности отвергается в своем подлинном виде *большинством* и замещается, за отсутствием веры в единого Бога, суевериями грубого язычества. Не будет парадоксом сказать, что буддизм оказался популярным и живучим лишь благодаря искажениям своего подлинного учения, лишь вследствие сознательной или несознательной измены своему идеалу и замены его иным» (т. II, стр. 744).

Вернемся опять к учению первоначального буддизма и познакомимся с *нравственной* стороной его. Буддийская литература богата высокими учениями и трогательными поэтическими повестями о любви, самопожертвовании, жалости ко всему живому, непротивлении злу злом. «Любовь к злему, даже к порочному превращает несчастье в счастье — вот что разрывает цепи зла», читаем мы в одной из повестей о прежних воплощениях Будды.

В повести «О выборе наилучшего» рассказана история бодисатвы, царя бенаресского, который, подвергшись нападению бунтовщика-министра, соединившегося с шайкой разбойников, приказывает открыть перед своим врагом ворота столицы и не сопротивляться ему. Ввергнутый своим врагом в тюрьму, он вызвал «в сердце своем новые чувства любви к злодею и достиг экстаза любви». И чистый пламень этот объял, наконец, закоптелую душу: полный раскаяния преступник спешит к миролюбию, молит о прощении: «бери назад свое царство; твои враги отныне — мои враги». Бесчисленны в буддийской литературе рассказы о жалости людей к животным и даже животных друг к другу. Бодисатва-отшельник отдает себя на съедение голодной тигрице, собиравшейся растерзать своих

новорожденных детенышей. Царь Шиви отдает сосать свою кровь болотной мышке. «Мудрый заяц Шаша», встретив голодного браминта (бога Сакка в виде брамина) и не имея, чем угостить его, решает накормить гостя своим мясом: но зная, что брамин не откажется сам убить его, он просит развести костер и, предварительно отряхнувшись, «чтобы — не ровен час — не погубить мелкую тварь в шерсти своей, прыгает в огонь, приглашая гостя изжарить его и съесть» (т. I, стр. 217).

Вспомним однако, что согласно буддизму никакое бытие не имеет цены, и конечная цель есть уничтожение личности. Отсюда следует, что добродетель не есть абсолютная ценность; она только средство для достижения конечной цели — освобождения от жизни. «Храните добродетель, монахи, говорит Будда, храните чистоту в делах и поведении, и от заботы о малейшем проступке шествуйте дальше, шаг за шагом: от выполнения совершенной добродетели переходите к борьбе за обладание внутренним покоем духа, к созерцанию, к всепроникающему прозрению, к уединению в пустых кельях, к переживанию святых освобождений, к возвышению над миром форм, к достижению магических сил и, наконец, к полному освобождению».

«Невозможно переплыть реку (избавления) при поведении нечестивом; но и чистого поведения не достаточно для этого. Конечная цель достигается только чистым знанием» (т. II, стр. 302). Поэтому, хотя «безнравственность позорна и является пятном и в этом мире, и в ином», тем не менее «есть пятно еще худшее из всех — неведение; вот тягчайшее из пятен» (т. II, стр. 296).

Когда Будда возвестил своим ученикам близость кончины своей, один из них, Ананда, умолял его воспользоваться способностью всякого будды продлить свою жизнь «ради блага и счастья великого множества людей, из жалости к миру, на благо, пользу и благополучие людей и богов». Но Будда наотрез отверг такую просьбу, указавши, что он уже «развил, выполнил и переполнил до крайних высот четыре пути святости» и вменил ученику, знавшему это, в вину просьбу продолжать вращаться в области добродетей и благодеяний; такой призыв вернуться к «делам» он обозвал, «если не прямо неверием, то все же маловерием» (т. II, стр. 306). «Рождение, скорбь и старость превозмог я», говорит мудрец, достигший высших ступеней, «к чему теперь мне добрых дел свершение? Возвышенный! Отныне возвещай мне только знание» (т. II, стр. 212). И в самом деле, если конечная цель есть избавление от перевоплощений и совершенное уничтожение личного бытия, то добродетель низводится на степень лишь подготовительного средства, которое на известной ступени совершенства *грозит стать помехою на пути к цели*. Действительно, дела, совершенные в настоящей жизни, необходимо приводят к новому перевоплощению. Дурные дела невыгодны: они приведут к новому воплощению с увеличенными страданиями. Но и добрые дела приводят к новому воплощению; правда, они обеспечивают «небесные радости», но Будда назвал эти радости «презренными», потому что они не вечны и не избавляют от возрождений.

Беседуя с купцом Судантою, прозванным за дела милосердия «опорою сирот и нищих», Будда хвалит его за добрые дела, говорит, что они «способны возвести на небо и дать участие во всех его блаженствах». Но все же, продолжает он, «стремиться к этому блаженству есть *великое зло*, ибо всякое пожелание, возрастая, приносит скорбь. Итак, упражняйся в искусстве *отречения от пошлов* чего бы то ни было, ибо отречение от всякого желания и есть счастье полного покоя. Не желай же ничего: ни жизни, ни ее противоположности... Мы должны

достичь *пассивного состояния, немышления, конечной пристани, нирваны, покоя*. Ибо все пусто: «Нет ни личного Я (души), ни места для него. Весь мир подобен грезе».

«Деятельное человеколюбие принесено в буддизме в жертву личному освобождению от ита бытия» (т. II стр. 25). «Как бы велики ни были нужды и потребности других, никто не должен ради них жертвовать своим собственным спасением», находим мы в Дхаммападе, в своде буддийской морали. «Нет ничего дороже самого себя», и только потому, что свое Я одинаково дорого каждому, из любви к своему собственному дорогому Я не обижайте никого. «В противоположность к Христу, сводящему весь нравственный закон на любовь, вопреки Апостолу, возвещающему, что «любовь не знает страха», Дхаммапада внушает: «От любви рождается печаль, от любви рождается страх; для того, кто вполне освободился от любви, не существует печали, ни тем более страха... Не любите же ничего!». В это «ничего» по смыслу учения и по его подлинным выражениям, как мы сейчас увидим, включено и «никого». «Мудрец не зависит от добродетели и святых дел; он не руководствуется ими»; «чистота основана не на добродетели и не на святых делах... отложивши их в сторону и не обращаясь ни к чему другому, надо пребыть спокойным и независимым, не желая вообще какого бы то ни было существования» (т. II, стр. 25).

Отрицательный характер буддийского идеала, именно отрицание ценности всякого бытия и проповедь уничтожения личности, понижает ценность также и всех нравственных понятий, вырабатываемых буддизмом. Симпатия ко всему живому приобретает характер не положительной любви к положительному, цепному содержанию живого существа, а *только жалости к чужому страданию* и стремления избавить все живое от страдания. Поэтому прав Вартеlemi Сент-Илер, утверждающий, что «буддизм есть милосердие без любви» (т. II, стр. 466).

Отсутствие положительной цели придает нередко самим актам самопожертвования уродливый характер непропорционального соотношения ценностей. «Жалостливый царь уступает простому поденщику полцарства, чтобы избавить его только от труда в знойный полдень» (т. II, стр. 466). Царевич Вишвантара уступает демону двух сыновей и «радостно смотрит, как тот пожирает их, точно пучок овощей».

Для буддизма характерно, говорит Кожевников, «настойчивое внушение жалости к животным, доходящее иногда в буквальном смысле слова до оценивания комара (напомним рассказ о попавшем на кол за насаживание комара на иголку), и в то же время непереносимое равнодушие к страданиям людей, выразившееся если не в полном отсутствии помощи, то во всяком случае в очень малых и редких проявлениях этой помощи» (т. II, стр. 436; см. другие подтверждения этой мысли: т. II стр. 403; стр. 430).

Отрицательным характером идеала объясняется также и отсутствие связи с умершими и проповедь какого-то нечеловечески бесчувственного отношения к ним, а иногда и отвратительные приемы «отучения от скорби» по ним. Так, например, бодисатва отрывает царя Ашоку, неуспешного в потере красавицы-жены, тем, что показывает ему, как его бывшая подруга, перевоплотившись в червя, предпочитает своего нового друга, товарища по навозной куче, прежнему, самому Ашоке, славному повелителю мира (т. I, стр. 213; т. II, стр. 373; т. II, стр. 568).

Женщина, носительница новой жизни, ненавистна буддизму, стремящемуся уничтожить жизнь. «Ни одна религия, говорит Кожевников, не отнеслась к ней

столь враждебно и отрицательно, как буддизм. Для него женщина не только не равноправна с мужчиной в мире духовном, как в христианстве; она даже не низшее существо сравнительно с мужским, как в магометанстве; она, независимо от сравнения с мужчиной, по самой природе своей, с буддийской точки зрения, существо низкое, умственно и нравственно глубоко несовершенное и, что хуже всего, неисправимое, безнадежное для достижения законченной мудрости и полной святости, а следовательно не способное к спасению до тех пор, пока сохраняет свою отличительную черту «женственность», т.е. пока не перевоплотится в мужчину. «Во многих религиях и во всякой аскептике женщина считалась за источник соблазна, но в других религиях, в христианской в особенности, она не обречена неизбежно и навсегда оставаться таковою; из соблазнительницы она может стать подвижницей и даже помощницей и руководительницей спасения других. Буддизм же отрицает за нею все это; женщина как женщина, поскольку она женщина, стоит вне области спасения; она не сотрудник и не соучастник его, а враг, естественный, могущественный и неисправимый. Отсюда и отношение буддизма к женщине не просто равнодушное или безучастное, не только пренебрежительное, а действительно враждебное (т. II, стр. 501). Вот священные тексты: «Женщина — очаг страстей, претящий и презренный», «самое нечистое, самое чудовищное из всех существ», «подлинный ад для живых существ». «Ненасытна в половом акте и в рождении; до самой смерти не чувствует она отвращения к ним и пресыщения ими». Этот приговор, приписываемый самому «Всеведущему», буддийская словесность не устает повторять, разрабатывая мотивы его во множестве повестей, изображающих гнусность женщины (т. II, стр. 510).

Красота в положительном смысле не существует для Будды: он не видит в ней отражение божественного совершенства, не понимает ее художественной ценности и еще менее ее гармонию с нравственной чистотой и с здоровым духом. Она для него всецело заманчивое марево чувственности, влекущее не в бездну греха, к чему довольно равнодушен Будда, а в омут привязанности к жизни. Вот почему взывает он: «Отбросьте объекты пяти чувств; отбросьте прекрасное чарующее; избегайте образов, кажущихся прекрасными, ибо их сопровождает страсть». Не только губительна красота, но и лжива, потому что призрачна: под прекрасным таится безобразное, претящее. «Одни безумцы обманываются видом красоты; мудрец же прозревает тщету всех этих воображаемых прелестей, взирает на них, как на сон, как на марево, как на грезу фантазии» (т. II, стр. 501-568).

Отрицательный идеал буддизма, уничтожение мира, естественно связан с пренебрежительным отношением к жизненному труду, тогда как христианство, наоборот, высоко ценит труд, начиная с его простейших физических форм. Особенно отрицательно относится буддизм к земледелию: «ничто так не гибельно для насекомых, как земледелие»; поэтому «Великий Мудрец воспретил монахам заниматься земледелием»; но «монахи дозволяют другим беспрепятственно обрабатывать свои обложенные податями (монастырские) земли и получают некоторую часть продуктов с них. Таким образом они ведут образ жизни праведный, избегая мирских дел и оставаясь чистыми от вины уничтожения живых существ пахотой и орошением полей» (т. I, стр. 291; т. II, стр. 322—340; об отношении христианства к труду (т. II, стр. 341—372).

Как в вопросе о труде, так и в отношении к другим задачам социального строительства и усовершенствования социальных отношений, буддизм оказывается или безразличным или даже вредным, воспитывая в своих последователях безучастие к историческому процессу.

Как и все великие духовные течения, буддизм обладает значительной приспособляемостью. Однако стать подлинным светочем жизни он не может до тех пор, пока идеалом его остается уничтожение мира и индивидуального личного бытия. Современный ученый Taiye Kaneko утверждает, что в составе буддизма есть идея «замещающего страдания», она связана с учением о бодисатве. Такое частичное приближение буддизма к христианству существует, и все же основным недостатком буддизма остается в силе: отрицая ценность личного бытия, буддизм Махаяны, как Хинаяны, имеет целью не преобразование жизни, а только уничтожение ее и потому не обладает положительной мерой для правильного учения о степенях достоинства положительных ценностей.

Сопоставляя буддизм с христианством, поставим его в наиболее благоприятное положение. Поймем Нирвану не как Абсолютное Ничто, т.е. совершенную пустоту, а как Сверхчто, т.е. как начало, обозначаемое термином Ничто лишь ввиду несоизмеримости его со всяким мировым бытием, со всяким мировым «что». Иными словами, поймем Нирвану так, как понимают Бога христианские богословы и философы, развивая «отрицательное богословие», систематическое начало которому дал в своих трудах христианский мистик Дионисий Ареопагит. И при этом условии останется однако непроходимая пропасть между христианством и буддизмом и сохранятся отрицательные черты буддизма или обнаружатся новые недостатки его. Христианство есть теизм: Бог есть Творец, а мировое индивидуальное личное бытие есть тварь. Перводанное тварное бытие абсолютно ценно и не подлежит уничтожению; даже и приобщаясь к Божественному бытию в царстве Божиим, человеческое «Я» остается индивидуальным «Я»⁶). Наоборот, буддизм, если понять Нирвану как Сверхчто в духе христианского «отрицательного богословия», можно назвать пантеизмом (термин этот неудачен этимологически, потому что Нирвану буддисты не называют словом Бог). Проповедуя уничтожение личности и мирового бытия, буддизм остается, с точки зрения личного и мирового бытия, чисто отрицательным учением: погашенная личность становится чистым ничто и, следовательно, не участвует в положительном Сверхчто Нирваны.

Можно однако попытаться утверждать, что уничтожение личной жизни есть положительное приобщение личности к Нирване. Когда один из учеников Будды, Малункапутта, добивался у него разрешения недоумения: «существует ли Совершенный после смерти или нет?», Будда ответил: «Нельзя сказать, что он существует, но нельзя сказать, что он и не существует; нельзя, наконец, сказать, что он и существует и не существует после смерти». Здесь мы, очевидно, попадаем в область, стоящую выше закона противоречия и исключенного третьего, в область сверхлогического. Но в таком случае совершенствующаяся личность есть в каком-то смысле само Абсолютное, и уничтожение личной формы бытия есть какое-то самоосвобождение Абсолютного, выражающееся в пордельных заявлениях Будды о самоспасении.

Здесь перед нами вскрываются кощунственные с религиозной точки зрения и философски непоследовательные стороны пантеизма, — чрезмерное сближение мирового бытия с Абсолютным и внесение недостатков, именно «суеты», «волнения», в само Абсолютное.

Нам остается в заключение познакомиться с сопоставлением буддизма и

⁶) См. Н. Лосский, «Общедоступное введение в философию», изд. «Посев», 1957, Франкфурт на Майне.

христианства, завершающим ценный труд Кожевникова. «Ни до буддизма, говорит Кожевников, ни после него никто не отважился на столь решительный шаг в сторону полной безнадежности. Один буддизм осмелился совершить этот шаг, и в этом — трагическое величие и воспитательная ценность его подвига, не превзойденного в своем роде в истории. Не в этом ли, падаем мы, и его провиденциальная миссия в ходе развития религиозного опыта человечества».

«Глубже и живее кого-либо буддизм познал правдивость трагического вопля страждущего человека: «неможен есмь» и в этом всемирно-историческая заслуга буддизма, в воспитательном, показательном смысле не изжитая еще и поныне. Но буддизм совершенно не познал второй истины, немедленно следующей за первой; он не расслышал или не захотел услышать второго клича души человеческой, клича верующего во спасение благодатию Божию: «помилуй мя, Господи, яко не токмо неможен есмь, но и Твое есмь создание» (третья молитва пред святым причащением Симеона Метафраста). В лице буддизма тварь забыла и отригнула своего Творца и Промыслителя, поставивши на Его место бессмысленный круговорот будто бы безначальных, слепых космических сил. Отсюда неутешная, неисцелимая скорбь буддийского пессимизма, этого законченного воплощения «души, не имеющей упования». Упративши веру в Творца, она потеряла ее и в себя, а неверие и лордость помешали ей примкнуть к третьему кличу «души болезнующей, помощи и спасения требующей»: «творение и создание Твое быв, не отчаяваю своего спасения» (вторая молитва перед святым причащением, Василия Великого). «Твой есмь аз: спаси мя!» (Псал. 118, 94).

«Ясно и величаво выступает здесь ободряющая, оздоравливающая духовная сила и нравственная красота христианства. В полную противоположность отрицательному буддийскому взгляду на жизнь, в христианстве высшее благо совпадает с вечной жизнью в Царстве Божием. И если жизнь представляется сравнительно малоценною, то потому лишь, что впереди — сокровище неизмеримо ценнейшее. Не приносящая достоинства даже несовершенной земной жизни, — напротив, сводя небо на землю для свершения воли Отца Небесного здесь, как и там, и тем освящая и само земное, — христианство от несовершенного, бренного, человеческого, природного, тварного обращает взоры к более и выше, чем естественному. Христианское разумение обретает это высшее в Боге как абсолютном вечном бытии и абсолютной любви. Отказавшись от горделивых и противоречивых притязаний на спасение путем самоуничтожения, христианин прибегает к Богу-Любви, который устами Кроткого и Смиренного сердцем зовет нас: «Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные... и найдете покой душам вашим» (Матф. XI, 28—29), покой не нирваны, небытия вечного, а жизни в Боге, жизни вечной» (т. II стр. 754—756).

В дополнение к книге Кожевникова я позволю себе высказать несколько соображений о буддизме. Нирвана буддистов есть высочайшее сверхмировое начало, столь отличное от нашего бытия, что никакое понятие, заимствованное из области мира, не применимо к нему. На всякий вопрос, есть ли Нирвана личность, разум, бытие и т. п., необходимо отвечать: «Нет». Таким образом, Нирвана есть Божественное Ничто в том смысле, что она есть нечто невыразимое в наших понятиях. Религиозный опыт, сосредоточенный только на Несказанном, на Божественном Ничто, легко может привести к безличной пантеистической мистике. Роковым образом приходит к этому результату буддизм, начинающий свои упражнения для погружения в Нирвану под руководством ложных мета-

физических учений и болезненных настроений, которые бесповоротно отвращают от мира и личного бытия.

Христианский мистический опыт тоже усматривает в Боге невыразимость Его в наших понятиях, так что Бог есть Ничто, как этому учит «отрицательное» (апофатическое) богословие, выраженное систематически в творениях Дионисия Ареопагита. Но Дионисий Ареопагит не останавливается на этом отрицательном результате: он поясняет, что Божественное Ничто есть Сверхчто: Бог не есть личность в нашем смысле ограниченного бытия, но это не значит, что Он безличен, Он есть Сверхличное начало; он есть даже не бытие, подобное нашему бытию, Он есть Сверхбытие и т. п.

Отсюда открывается путь к положительному (катафатическому) христианскому богословию. Если Бог сверхличен, то Ему доступно и личное бытие. Мало того, Он, будучи Единым Богом, трехличен; Он есть сверхлично-личное начало. Противоречия между отрицательным и положительным богословием здесь не получается: если Божественное Единое начало выражается в трех Лицах, то это значит, что Его личное бытие глубоко отлично от нашего ограниченного единоличного бытия и термин личности мы применяем к Нему лишь по аналогии, указывая на то, что все ценное, имеющееся в личном бытии, есть в Боге, однако в такой превосходной степени, что все же нет тождества между понятием тварной личности и понятием Лиц божественной Троичности. Их отличие от нас есть «металогическая инаковость», согласно понятию, выработанному С. Л. Франком.

Перед нами встает теперь вопрос первостепенной важности для всего мировоззрения и для всей нашей жизни. Опираясь на свой мистический опыт, одни лица говорят, что Сверхмировое начало есть Сверхлично-личное, а другие говорят, что в нем вовсе нет личного аспекта. Кто прав, — представители сверхлично-личной или безличной мистики? Перед нами два противника: один из них, христианин, видит больше, а другой, буддист, видит меньше, так что спор в главном пункте сводится к тому, что первый принимает утверждение второго и лишь привносит к нему дополнение, между тем как второй отрицает это дополнение. В таком споре чаще всего заблуждение оказывается на стороне отрицающего: очень часто человек чего-нибудь не видит, порою даже прежде ему кажется, что он видит то, чего на самом деле нет.

Рядом с основным неполнотой и вследствие нее в буддизме есть ряд других видов неполноты и, следовательно, отрицаний, которым христианин противопоставляет утверждение положительных начал, более легко усматриваемых, чем область Сверхмирового, так что сравнительно легко доказать ошибочность этих отрицаний. В самом деле, буддизм отрицает субстанциальную сверхвременность индивидуального «я», не видит абсолютных положительных ценностей в мировом бытии, не видит высокого смысла мирового бытия, отрицает абсолютную ценность индивидуального, неповторимого и незаменимого своеобразия каждой личности как момента, необходимого для гармонической полноты мирового бытия, отрицает свободу и потому не понимает значения преха, как источника производных от него несовершенств нашего эгоистического царства бытия, не усматривает того, что индивидуумы, освободившиеся от греха эгоизма, способны к свободному соборному творчеству, осуществляющему совершенное добро Царства Божия, красоту, истину, нравственное добро, любовь, полноту жизни. Премадное количество этих отрицаний и обеднений миропонимания и мирочувствия указывает на то, что буддизм стоит на ложном пути.

Особенно убедительное косвенное доказательство ложности безличной мисти-

ки буддизма заключается в том, что она для объяснения происхождения мира принуждена прибегнуть к явно фантастической конструкции, ничего не объясняющей и только усугубляющей трудности; в самом деле, отвергнув идею Творца и твари и поняв мир как только зло, только недолжное, философия буддизма вносит зло в само Абсолютное, в котором зарождается непонятная «суета», «волнение», порождающее ничтожный мир, заслуживающий лишь уничтожения.

Придя на основании непосредственного свидетельства мистического опыта, а также на основании перечисленных трех групп косвенных доказательств, к убеждению в ложности буддийской безличной мистики, мы ищем основную ошибку ее, побуждающую ко всем дальнейшим заблуждениям, и находим ее в невидении преа нашей воли как источника всех остальных видов зла; отсюда далее возникает невидение своего достоинства (возможность быть грешным есть показатель высокого достоинства человека, именно самостоятельной свободной воли его), невидение абсолютной ценности своего личного индивидуального бытия и, в связи с этим, невнимание к личному аспекту Сверхмирового начала, невидение Бога.

В заключение я сообщу еще из современной литературы содержание статьи "The Gnosis of Buddhahood" в журнале "The Middle Way" (октябрь-январь 1948—49 гг.) американской буддистки Ananda Jennings. Идеал буддизма, согласно ее статье, есть освобождение от временного процесса, от всего относительного, от всех противоположностей (opposites), от всякого дуализма, например, познающего и познаваемого (стр. 58). Человеческую личность она понимает не как сверхвременное бессмертное «Я», а только как временный процесс ("I" process, стр. 59). Прекращение этого процесса, уничтожение всяких противоположностей и дуализмов, всякой множественности ведет к состоянию, в котором нет никаких «Я» (Egoless state, стр. 59) и никаких образов (Imagelessness). Это есть «Вечная реальная подлинная жизнь» (стр. 56).

Как уже сказано было выше, христианская религия понимает Бога в «отрицательном богословии» как сверхвременную жизнь без всякой множественности; и даже в положительном богословии, говоря о трех Лицах Св. Троицы и о Их внуплотной жизни как идеале любви эти понятия высказываются лишь по аналогии с нашей жизнью, т. е. указывая на то, что в Боге существует все ценное, имеющееся в единой любви нескольких личностей, однако в такой сверхмировой форме, которая не тождественна с нашими понятиями. Далее, в своем учении об отношении между Богом и миром христианин может утверждать в определенных и точных понятиях, что Бог творит мир из сверхвременных индивидуальных личностей, наделяя их свободной творческой волею, которая при правильном пользовании ею делает человека достойным стать членом Царства Божия по благодати и творить в блаженном единении с Богом полноту жизни, т. е. совершенную жизнь с бесконечно сложным содержанием.

Чтобы понять христианский идеал полноты жизни, нужно различать два вида противоположностей, — одного из них нужно избегать, а другой, наоборот, необходим для богатства жизни. Нередко два элемента мира не только отличаются друг от друга, но и препятствуют бытию друг друга, взаимно уничтожаются. Таково, например, действие двух сил на один и тот же предмет в противоположных направлениях; такова вражда между двумя лицами и т. п. Такую противоположность можно назвать противоборствующею. Наличие ее понижает число возможных комбинаций и проявлений жизни, обедняет жизнь.

Существуют в мире другие противоположности, не противоборствующие друг

другу. Возьмем, например, такие элементы мира, как желтизна, теплота, аромат резеды, точка, справедливость и т. п. Каждый из этих элементов исключает весь остальной мир: желтизна не есть теплота, не аромат, не точка и т. д. Но это взаимное исключение не есть уничтожение одного бытия другим, не есть сопротивление друг другу. Такие противоположности могут совмещаться в одном и том же пространстве, в одном времени, в одной вещи: одно и то же пространство может быть пропитано голубым светом и ароматом резеды; человеческая душа может быть охвачена одновременно чувством красоты и благоговением и т. п. Эти противоположности ведут к богатству, сложности и разнообразию бытия. Их можно называть дифференцирующими противоположностями.

Лица, любящие, как заповедал Иисус Христос, Бога больше себя и ближнего как себя, следовательно, вполне свободные от эгоизма, суть члены Царства Божия. Они не творят противоборствующих противоположностей; их деятельность посвящена творению дифференцирующих противоположностей, согласимых друг с другом. Любя Бога и друг друга, они единодушно творят гармоническое целое полноты жизни, т. е. жизни, заключающей в себе все согласимые друг с другом содержания бытия. Обладая не материальным, а преображенным телом, которое состоит не из актов отталивания, а из прекрасного света, прекрасных звуков, ароматов и т. п., они творят только абсолютные ценности, — красоту, знание истины, нравственное добро. Время в Царстве Божием имеет иное строение, чем в нашем царстве несовершенного бытия. Все несовершенное не заслуживает сохранения и потому умирает, отпадает в прошлое. В Царстве Божием все, творимое членами его, имеет вполне совершенную абсолютную ценность и потому не отпадает в прошлое, не забывается, постоянно соучаствует в полноте жизни.

В нашем царстве бытия мы, эгоистичные существа, творим жизнь, полную недостатков. Однако даже и у нас в природе и в творениях искусства встречается высокая, хотя и не вполне совершенная, красота, есть ценные, хотя только частичные, истины, есть нравственное добро. Поэтому даже и наше царство бытия должно задаваться целью не уничтожения жизни, а обогащения ее путем развития, ведущим посредством преодоления эгоизма к порогу Царства Божия. Лица, вполне освободившиеся от эгоизма, удостаиваются обожения по благодати и вступления в Царство Божие для блаженной вечной жизни в единении с Господом Богом.

Буддистский идеал, требующий утраченных, подавляющих любовь ко всему, что есть в мире, кроме задачи уничтожения мира и своего «Я», есть нечто крайне неестественное. Широкое распространение буддизма среди народных масс, вероятно сохраняется потому, что полное знание об этом идеале существует только среди ученых буддистских аскетов, а простые люди ведут нормальную жизнь, стараясь лишь, как и добрые христиане, подавлять в себе дурные наклонности корыстолюбия, властолюбия, зависти и т. п. Вероятно, буддисты, как и христиане, любят своих детей не только любовью сострадания, но и любовью, задающейся целью развить содержательность их жизни, обогащать ее, а не вызывать в них отвращение к земному бытию.

Всякое заблуждение возникает вследствие каких-либо односторонних интересов, страстей, вообще каких-либо недостатков субъекта. Открытие психологических основ заблуждения объясняет до конца возникновение его и упрочивает знание о том, в чем состоит истина. Психологическое объяснение недостатков буддизма было бы найдено, если бы удалось открыть, какие мотивы отвлекли внимание царевича Сиддхартхи от преха как первичного зла и чрезмерно при-

ковали внимание его только к последствию преха, к злу физических страданий. Была ли это изнеженность царевича, ведшего, согласно легенде, жизнь, полную чувственных наслаждений, или гордость, мешающая сознать свою греховность и связанную с ней естественность всевозможных страданий, — ответа на этот вопрос нельзя получить вследствие недостатка данных. Почему учение Будды широко распространилось среди азиатских народов, — этот вопрос еще более сложен; он требует специальных и притом весьма разнообразных исследований.

Останавливаться на нем здесь невозможно, но следует отдать себе отчет о некоторых случаях увлечения буддизмом в современной Европе и Америке. У некоторых представителей европейской культуры мотивом увлечения буддизмом является гордыня. Самолюбивому и гордому человеку стыдно и почти невозможно сказать не только священнику на исповеди, но и самому себе: я завистлив, я честолюбив, или я труслив, неискренен, двоедушен. Гораздо легче вместо того, чтобы отвергнуть только эти стороны своего «Я», начать отвергать ценность всего мира и укорять себя за всякое проявление любви к жизни — за стремление к своему здоровью телесному и душевному, за любовь к семье, к науке, к родине и т. п. На этом пути, вместо того, что бы смиренно склониться перед идеальным ликом Христа и просить его помощи, человек отказывается от всякого лика и направляется к безличной Нирване. Возможна еще другая форма сочувствия буддизму. Человек, обладающий стихийными могучими страстями и нравственно осудивший их в себе, начинает энергично бороться с ними, но после многих лет упорного труда над исправлением своего характера замечает, что не может преодолеть своих страстей. Тогда у него может явиться мысль, будто буддизм есть истинная религия, указывающая правильную цель, — не исправление характера при сохранении любви к жизни и расцвету ее, а совершенное уничтожение личной жизни и всего мира.

Зарботная плата в СССР

Для суждения о жизненном уровне трудящихся какой-либо страны, следует сравнивать зарботки с ценами. Это дает нам то, что в экономике называется реальной зарботной платой.

Большинство статистических сборников стран свободного мира содержит зарботные платы, выраженные в денежных единицах данной страны, цены на основные продукты и товары и, наконец, уже вычисленные индексы зарботков и цен. Эти индексы, полученные в результате сложной обработки многочисленных показателей, дают представление о наиболее точном относительном изменении реальной зарботной платы, т. е., в конечном итоге, покупательной способности трудящихся.

Жизненный уровень получающих зарплату, т. е. трудящихся, является лучшим показателем жизненного уровня данной страны, потому что в нем содержится ответ на то, в какой степени народное хозяйство рассматриваемой страны способно обеспечить свое население, насколько хозяйственная система этой страны способна служить интересам трудящихся и может ли она считаться созданной для последних, а не для посторонних целей.

Если мы обратимся к советской статистике, то сразу заметим, что данные о номинальной и реальной зарботной плате ею никогда не публикуются. Даже в узко специальных трудах возможно найти лишь наводящие сведения, уточнение которых никогда не дается. Это умалчивание поневоле наводит на мрачные предположения. Очевидно, советскому правительству не выгодно широко оповещать размер среднего зарботка трудящегося.

Итак, реальную зарботную плату в СССР взять из тех или иных статистических сборников не представляется возможным. Однако имеются косвенные показатели, которые дают все-таки возможность эту зарботную плату вычислить. Отклонение на 5% или 10% в ту или иную сторону никогда не сможет скрыть главного — крайне низкого уровня зарботной платы по сравнению с ценами в Советском Союзе, иначе говоря, крайне низкого уровня жизни.

Целый ряд работ был проделан экономистами, находящимися, разумеется, вне границ Советского Союза. К числу этих работ принадлежат и исследования русского экономиста, специализировавшегося на советской экономике и ныне проживающего в США, — Владимира Гаевича Тремля. Фактический материал, изложенный в данной статье, как раз и является результатом его работ. К нему

добавлен лишь для иллюстрации список официальных цен в СССР (далеко не полный). Конечно, проблема положения трудящихся в СССР не исчерпывается только высотой номинальной или реальной заработной платы. Говоря об этой проблеме в целом, следовало бы сказать также о советском трудящемся на производстве, прежде всего, о сдельщине, о нормах, обо всей потогонной системе советского народного хозяйства. Однако эта тема настолько обширна, что не вмещается в рамки задуманной статьи и заслуживает специального исследования. Кроме того, тема о заработной плате в СССР была освещена мало и поэтому в предлагаемой статье мы сосредоточимся исключительно на этом вопросе.



До Второй мировой войны в СССР публиковались сравнительно полные сведения о заработной плате и даже о ее распределении по разным отраслям промышленности, после войны они почти исчезли со страниц советской печати. Последние сведения о фонде заработной платы относятся к 1948 году. Об этом пишет А. И. Викентьев в труде «Национальный доход СССР в послевоенный период». Поэтому нашей целью является выяснение размеров заработной платы рабочих и служащих в Советском Союзе в период 1950—1958 годов. По советской статистике это понятие включает в себя всех занятых в промышленности, транспорте, связи, здравоохранении, народном просвещении, торговле, совхозах и РТС и исключает из общего числа следующие категории:

1. Военнослужащих.
2. Работников колхозов.
3. Работников артелей промысловой кооперации.
4. Заключенных.

Кстати сказать, четвертая категория может быть исключена лишь с рядом оговорок. Так, до Второй мировой войны имелись данные о том, что при переписи и опросе заключенных их записывали по последнему месту работы и специальности (до ареста). С другой стороны возможно, что часть заключенных внесена в списки лиц, занятых на строительстве.

Среднегодовую заработную плату мы получаем при делении малого фонда заработной платы на общее число рабочих и служащих в народном хозяйстве СССР, в среднем, за год (эти цифры даны в Статистическом справочнике «Народное хозяйство СССР», Москва, 1956 г., стр. 189), потому что в большой фонд заработной платы включаются также деньги, идущие на расходы по командировкам, на непредвиденные расходы, на заработную плату сверх годового плана и прочее. В малый же фонд входят заработные платы рабочих и служащих, работающих в народном хозяйстве и вспомогательных службах этого хозяйства, поскольку эти зарплаты включены в план. Естественно, что такого рода разделение очень сложно.

	1940 г.	1950 г.
	<i>в миллиардах рублей</i>	
Малый фонд	161,0	252,3
Большой фонд	123,7	201,0

Но с первых же шагов по вычислению заработной платы в СССР возникают некоторые затруднения. По ряду последних советских данных мы видим, что оплата отпусков в промышленности и, очевидно, в народном хозяйстве вообще

идет не из фонда заработной платы, а причислена к «льготам и выплатам из государственного бюджета СССР». Таким образом встает вопрос: нужно ли среднегодовую заработную плату делить на 12 или на 11,5, чтобы получить среднемесячную заработную плату? Но ответ на этот вопрос не так и важен, так как разница в получаемых результатах невелика. Поэтому, все последующие расчеты мы будем вести из расчета 12 месяцев.

Итак, у нас имеются данные о малом фонде заработной платы на 1950 год. Для выяснения картины на 1958 год мы должны были бы обладать данными фондов для дальнейших лет. Таких данных нет, а потому приходится вычислять их, исходя из других показателей, которые время от времени дает советская пресса.

Наиболее целесообразным будет остановиться на двух показателях: обороте розничной городской торговой сети и взносах на социальное страхование предприятий и учреждений народного хозяйства СССР. Рассмотрим их по порядку.

1) Советская пресса публикует показатели по товарообороту и дает их в ценах соответствующих лет, а не в «сопоставимых ценах», что очень часто применяется советской статистикой. Конечно, весь оборот городской торговой сети зависит не только от заработных плат. В общем товарообороте отражаются также пенсии, жалования военных, награды, «нетрудовые расходы» всякого рода. Однако нельзя отрицать, что весь оборот торговой сети изменяется в зависимости от изменения заработной платы.

Товарооборот городской сети здесь взят по тому соображению, что большинство занятых в категории «рабочие и служащие народного хозяйства СССР» живет в городах и населенных пунктах городского типа, где они и тратят свои доходы. Но следует при этом учесть, что некое число трудящихся, занятое в совхозах и РТС, тратит свои доходы преимущественно в сельской торговой сети (например, в 1955 году это число равнялось 6 миллионам человек). Остановимся пока условно на росте городского товарооборота, поскольку разница в этом случае не может принципиально изменить размеров заработной платы.

2) Второй фактор — взносы учреждений и предприятий на социальное страхование в государственный бюджет. Они могут служить хорошим показателем роста заработной платы. Согласно советскому трудовому законодательству, все работодатели уплачивают в государственный бюджет строго определенный процент от всей заработной платы как по плану, так и сверх плана. Таким образом, индекс роста взносов на социальное страхование может служить также и индексом заработной платы, в особенности, если принять в соображение, что мы выбрали для нашего анализа малый фонд заработной платы СССР.

Советская пресса публикует материалы о взносах на социальное страхование не охотно. Их можно найти лишь в ряде узко специальных трудов (например, в труде «Финансы и социалистическое строительство») или в газетных материалах, касающихся бюджета СССР. Данные по взносам на социальное страхование нам удалось установить для всех лет, за исключением 1953 и 1954 гг.

Как видно из ниже приведенной таблицы, индексы роста обеих категорий, то есть общего розничного товарооборота и взносов на социальное страхование, принимая уровень 1940 г. за 100, изменяются параллельно. Именно эта закономерная параллельность роста обеих категорий говорит о том, что наш метод подсчета фонда заработной платы принципиально верен. Обе категории являются функциями фонда заработной платы. И если мы не можем установить точное количест-

Таблица индексов роста общего розничного товарооборота и взносов на соц. страхование

	1940	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958
Средняя численность рабочих и служащих в народном хозяйстве СССР (в тысячах человек), за год	31.192	38.895	40.700	42.200	43.700	47.300	48.380	50.537	53.148	
Взносы на социальное страхование от предприятий и учреждений СССР (в миллионах рублей)	8.618	19.591	21.400	21.600	—	—	26.484	27.900	30.500	32.100
В ‰ по отношению к 1940 году	100,0	227,3	248,3	250,6	—	—	307,3	323,7	353,9	372,5
Розничный товароборот городской сети (в миллиардах рублей)	123,5	273,0	285,3	295,9	322,9	355,8	368,7	395,0	452,9	493,5
То же в процентах по отношению к 1940 году	100,0	221,1	231,0	239,6	261,5	288,1	298,5	319,8	366,7	391,5
Средний рост в ‰ (средняя между ростом взносов и ростом товарооборота)	100,0	224,2	239,6	245,1	261,5	288,1	302,6	321,8	360,3	382
Малый фонд заработной платы (в миллионах рублей)	123,7	277,3	296,4	303,2	323,5	356,4	374,3	398,1	445,7	472,5
Средняя годовая заработная плата	3.966	7.129	7.283	7.185	7.403	7.535	7.737	7.877	8.346	
Средняя месячная заработная плата	330	594	607	599	617	628	645	656	699	

венное отношение между фондом заработной платы и оборотом розничной торговли, то их взаимосвязь налицо.

Из этой таблицы видно также, что процент роста обеих категорий для каждого года иной, поэтому можно взять любой процент. В то время как каждая отдельная категория может подвергаться колебаниям, причины которых нам не всегда ясны, индекс роста заработной платы подвергается наименьшим изменениям.

Таким образом, согласно нашим вычислениям, средняя заработная плата рабочих и служащих с 1955 по 1956 год выросла на 20%. Между тем, в «Правде» за 31 января 1957 года в сообщении о выполнении плана за 1956 год ЦСУ при Госплане СССР было указано, что средняя заработная плата рабочих и служащих народного хозяйства СССР увеличилась на 30%.

Полученные нами данные нуждаются еще в дополнительных пояснениях.

Во-первых, резкий скачок между 1953 и 1954 годами в отношении общего числа занятых в народном хозяйстве объясняется тем, что в октябре 1953 года приблизительно 3 миллиона колхозников «решением партии и правительства» переведены в состав МТС.

Во-вторых, данные за 1958 год получить еще трудно, у нас нет количественного показателя общей занятости. В своих тезисах на XXI съезде партии Хрущев назвал число 54.600.000 человек, но не было дано уточнений, является ли это число средним за год или оно относится к ноябрю 1958 года.

В-третьих, с 1956 года розничный товарооборот в СССР дается с включением в него торгового оборота Центросоюза. Так как данные за 1940 и 1950—1955 годы товарооборота Центросоюз не включает, то нам представилось более рациональным исключить их из данных за 1956, 1957 и 1958 годы.

Наконец, все данные за 1957 и 1958 годы нужно считать временными. В Советском Союзе, как правило, все данные по взносам на социальное страхование пересматриваются еще в течение нескольких лет.

Примененный здесь метод вычисления заработной платы выгоден тем, что фонд заработной платы, а следовательно и месячную заработную плату, можно вычислить в конце каждого года. Плановые цифры взносов на социальное страхование обычно публикуются при обсуждении Верховным Советом СССР бюджета на текущий год (обычно в феврале-марте), а цифры общей занятости и общего товарооборота становятся известными в начале следующего года в данных выполнения годового плана, публикуемых ЦСУ Госплана СССР.



Приведенные здесь данные можно также подвергнуть проверке. Мы можем привести три способа проверки.

Во-первых, журнал «Плановое хозяйство» (№ 2, 1957 год, стр. 42) сообщил, что в 1955 году «заработная плата составляет 19,50% всей себестоимости, а отчисления в соцстрах составляют 1,40% всей себестоимости продукции». Зная величину взносов на социальное обеспечение и страхование в 1955 году — 26.484 млн. рублей, мы можем вычислить и общий фонд заработной платы: он составит 368,9 миллиардов рублей. Между тем, наши предварительные вычисления дают 374,3 миллиарда рублей.

Во-вторых, мы можем привести следующие данные. В номере от 31 января 1954 года «Правда» дает сводку ЦСУ Госплана СССР «Об итогах выполнения государственного плана развития народного хозяйства СССР в 1953 году». В числе

прочего в этом сообщении говорится: «Фонд заработной платы рабочих и служащих в 1953 году вырос по сравнению с 1952 годом на 5%, а среднемесячная заработная плата на 2%».

Проведенные нами вычисления дают следующее: фонд заработной платы вырос на 6,7%, а среднемесячная заработная плата на 3%. То есть расхождение обеих категорий цифр — не такое значительное, и оно может быть объяснено при проведении более глубокого анализа расхождения.

В-третьих, приведем следующие данные. В труде «Государственный банк СССР» под редакцией В. Ф. Попова (Госфиниздат, Москва 1957 г.) на стр. 154 имеются данные о выдаче наличных денег на зарплату (1950—1956 годы). Сравним эти данные с нашим анализом.

Годы	Рост выдачи	Средний рост
	наличных денег на заработную плату (все данные в %/%)	заработной платы (наш анализ)
1950	100	100
1951	104	106
1952	110	109
1953	120	117
1954	129	129
1955	131	135
1956	137	144

Таким образом, мы видим небольшое расхождение. Однако, оно не является чем-то, что могло бы поставить под сомнение наш анализ. При этом, оказывается, мы высчитали заработную плату в более оптимистических тонах, чем это дано в вышеприведенном труде. Увеличение расхождений в 1955 и 1956 годах также можно объяснить и тем, что взятые нами цифры по социальному страхованию не совсем точны, и здесь оказалось расхождение между планом и реальными итогами.

Для дополнения анализа заработной платы в СССР коснемся нескольких частных случаев.

Заработная плата учителей и иных работников просвещения.

По данным уже упомянутого нами сборника «Народное хозяйство СССР» (стр. 210) фонд заработной платы с начислениями для всех работников просвещения составил: в 1950 году — 28.263 млн. рублей, а в 1956 году — 36.198 млн. рублей. По данным статистического сборника «Народное хозяйство СССР» и «СССР в цифрах» работников просвещения было: в 1950 году — 3.752 тыс. человек, в 1956 году — 4.776 тыс. Среднегодовая заработная плата одного работника была равна, таким образом, в 1950 году — 7.533 рублям, а в 1956 году — 7.579 рублям.

Заработная плата медицинского персонала (все занятые в здравоохранении) по тем же источникам:

	1950 г.	1956 г.
Занято	2.051.000 человек	2.736.000 человек
Фонд зарплаты	10.075.000 рублей	18.007.000 рублей
Средняя годовая	4.912 рублей	6.582 рублей

Наконец коснемся вопроса заработной платы низкооплачиваемых рабочих и служащих.

В упомянутом труде «Финансы и социалистическое строительство» (Госфиниздат, Москва 1957 г., стр. 230) мы читаем: «На основании решения XX съезда КПСС с 1 января повышена заработная плата низкооплачиваемых рабочих и служащих. Для рабочих и служащих, занятых непосредственно на промышленных предприятиях, стройках, предприятиях транспорта и связи, заработная плата устанавливается в размере не менее 300—350 рублей в месяц, для остальных рабочих и служащих, а также младшего обслуживающего персонала и работников охраны в городах и рабочих поселках — не менее 300 рублей в месяц, а в сельских местностях не менее 270 рублей в месяц. В среднем для этой группы рабочих и служащих заработная плата повышена на 33%, что потребовало в бюджете на 1957 год около 6 миллиардов рублей».

Анализ этих цифр дает следующую картину.

Зарботная плата		
После реформы	До реформы	Разница
300	225	75
350	265	85
300	225	75
270	205	65

В среднем

75 рублей в месяц
или 900 рублей в год

Таким образом, очень условно можно взять эту цифру и разделить на нее 6 миллиардов. Мы получим 6.666 тысяч человек низкооплачиваемых рабочих и служащих. Если же взять труд «Советская социалистическая экономика» (издание 1959 года), то там на стр. 598 приводится тот же, упомянутый нами, коэффициент повышения заработной платы — 33%, но говорится, что повышение заработной плат стоило государственному бюджету не 6, а 8 миллиардов рублей. Очевидно, эта разность объясняется пропагандными соображениями.

Кстати, на XXI съезде КПСС Хрущев заявил, что заработные платы низкооплачиваемых рабочих и служащих будут повышены с 270—350 до 500—600 рублей в месяц в 1965 году.

✱

В завершение нашего обзора, для создания некой картины покупательной способности рубля, приведем цены на некоторые промтовары. Эти цены даны в номере от 3 июля 1959 года газета «Советская Латвия» (в рублях):

Велосипед женский «Рига»	750	Отрез материи «Люкс» на жен-	
Шкаф книжный	874	ское платье	333
Фотоаппарат ФЭД-2	700	Кровать деревянная с матрасом	600
Радиоприемник «Даугава»	765	Отрез шерстяной материи на	
Мотоцикл М-1-М	3000	женское платье (Дробе)	1020
Мотоцикл К-175	4100	Радиола «Люкс»	2300
Пылесос «Чайка»	425	Шкаф платяной	1111
Велосипед мужской «Рига»	700	Буфет	959

Стулья полумягкие (6 шт.)	636	Фотоаппарат «Смена»	140
Отрез ткани «Глория» на муж- ской костюм	1053	Чемодан	28
Безопасная бритва «Алмаз»	23	Холодильник «Саратов»	1500
Часы наручные «Москва», в зо- лотом корпусе	1300	Аккордеон	1470
Часы «Победа» или «Звезда» в металлическом корпусе	342	Мотороллер Т-200	5000
Стиральная машина «Рига»	900	Стол обеденный, круглый	580
Мотороллер «Вятка 150»	3900	Автомашина «Москвич»	25000
Отрез (полущерстяной) на жен- ское платье	654	Пианино модель «Рига»	6200
Ручная швейная машина	583	Стол письменный, двухтумбовый	800
Отрез драпа «Майга»		Мясорубка	45
3 метра на мужское пальто	1419	Телевизор «Знамя»	2600
Авторучка	25	Мотоцикл ИЖ-56 с коляской	7700
		Часы наручные «Заря» в золотом корпусе	850
		Телевизор «Рекорд»	1750

*

Достаточно сопоставить то, что на свою заработную плату может купить советский трудящийся, с тем, что может купить трудящийся свободных стран, чтобы понять, до какой степени эксплуатации трудящихся масс дошла советская власть, имеющая еще наглость называть себя рабоче-крестьянской, народной и т. д. Нам могут возразить, что выведенные нами данные могут быть не точны, что средняя заработная плата в СССР может быть на 50/0, 100/0, даже 200/0 выше. Неточности могут быть всегда, но, во-первых, они едва достигают 200/0. А во-вторых, покупательная способность советского рубля, по сравнению с передовыми странами свободного мира, столь низка, что даже «ошибка» на 500/0 не могла бы исправить положения.

Жизненный уровень в Западной Европе

Советские вожди, и прежде всего сам Хрущев, любят говорить, что приближается время, когда Советский Союз перегонит США в отношении как общего производства товаров широкого потребления, так и при их пересчете на душу населения. На это любой, достаточно осведомленный человек может ответить, что для подавляющего большинства товаров и продуктов не предвидится превосходства СССР ни в 1960, ни в 1965 году. Успеху в немногих областях будет соответствовать провал в большинстве других. Это можно увидеть не из каких-либо сложных и спорных вычислений, но просто из сравнения советских плановых заданий с данными американской статистики.

Гораздо реже встречаются высказывания вождей о том, что СССР перегнал или не сегодня-завтра перегонит страны свободной Европы в отношении производства товаров широкого потребления. Этот вопрос — не без расчета — обходится молчанием, и слушающий победные реляции Хрущева как будто просто приглашается сделать вывод, что главное — перегнать США, а Европа вообще не стоит внимания. Но как раз с точки зрения потребления на душу населения продуктов питания и товаров широкого потребления страны Западной Европы очень интересны. Уступая в целом США, они являют собой пример цветущего благосостояния.

Тут следует подчеркнуть, что сравнение Западной Европы с СССР несколько затруднено. Дело в том, что советская статистика с гордостью говорит о некоторых видах товаров или продуктов питания, — как правило, более простых, — но умалчивает о большинстве названий. И не исключено, что в отношении того или иного товара, в расчете на душу населения, СССР может конкурировать со свободными странами. Однако в отношении большинства продуктов и товаров перевес на стороне свободных стран настолько велик, что следует прямо сказать, что советская система народного хозяйства и снабжения не только не ведет к благополучию, но (кроме высокооплачиваемого меньшинства) не обеспечивает своим гражданам минимума существования, который кажется в большей части мира естественным. Конечно, мы тут говорим о передовых промышленных и промышленно-аграрных странах, а не об отсталых, но СССР всегда претендовал быть именно самой передовой страной, а не полуколониальной и отсталой (естест-

венно, в Советском Союзе люди живут лучше, чем, например, в Индии, Бирме и так далее).

В приводимых нами данных о странах свободной Европы читатель сам сможет разобраться и сделать соответствующий вывод. Чисто теоретически это сделать труднее, ибо советская статистика не дает точного среднего уровня заработных плат. Таким образом, в нашем изложении центр тяжести будет лежать на описании жизни в свободной части Европы.

Французская статистика дает сравнительную таблицу того, сколько часов и минут надо работать, чтобы купить себе те или иные блага. Эти данные действительны для сентября 1957 года (Tableaux de l'économie française, 1958, I. N. S. E. E.).

	Часов	Минут
Газета		04
Молоко (литр)		10
Вино (литр)		22
Сахар (1 кг)		25
Рис (1 кг)		37
Растительное масло (арашид), 1 литр	1	05
1 дюжина яиц	1	18
1 кг баранины	1	33
1 кг шоколада	1	33
1 пара носков (мужских)	1	36
1 кг курицы	2	36
6 носовых платков	3	05
1 кг масла	3	08
1 кг кофе	4	15
1 мужская рубашка (поплин)	6	51
1 пара обуви	18	00
1 непромокаемый плащ	45	00
1 костюм	94	15
1 радиоаппарат (6 ламп)	144	10

Из этой таблицы видно, что средний французский трудящийся может себе позволить многое.

Аналогичное положение мы наблюдаем и в Западной Германии. Так, в конце 1958 г. средняя недельная заработная плата составляла 118,27 марки для мужчин и 70,40 марок для женщин. Эта разница объясняется прежде всего тем, что в наиболее высокооплачиваемых отраслях, как машиностроение, строительная промышленность, судостроение, угольная промышленность и т. д. мало занято женщин. Последние работают в большом количестве в текстильной, бумажной, табачной промышленности, где оплата труда ниже. К тому же в большинстве своем женщины обладают более низкой квалификацией.

В сентябре 1958 года строительный рабочий получал в среднем на севере Германии (Северная Рейн-Вестфалия) — 122,98 марок в неделю. Шахтер в октябре 1958 года получал в среднем 547 марок в месяц.

Служащие (в 1957 году) в среднем получали 603 марки в месяц (мужчины)

и 352 (женщины). Для дальнейшей иллюстрации положения укажем, что с ноября 1950 г. по ноябрь 1958 года повысились:

Стоимость жизни	190%
Зарплаты рабочих-мужчин	740%
Зарплаты рабочих-женщин	820%
Оклады служащих-мужчин	630%
Оклады служащих-женщин	660%

Укажем еще на некоторые частные случаи. Так, в настоящее время учитель народной школы получает: 6.000 марок в год с постепенным повышением и после 17 лет выслуги — 11.340 марок. Чиновник с высшим образованием — 4.680—6.120, после 23 лет службы — 15.480 марок в год. Средний банковский служащий (со средним образованием) — 3.120 марок и через 15 лет службы — 9.600 марок в год. Наконец, работник местного самоуправления (с высшим образованием) — 6.900—15.900 марок в год, в зависимости от выслуги лет или занимаемой должности.

Приведем некоторые цены на продукты питания и товары широкого потребления в марках (декабрь 1957 г., по статистическому ежегоднику ГФР, изд. 1958 г.).

Черный хлеб (1 кг)	0,71	1 средний костюм	125,0
Горох, лучший сорт	1,35	1 среднее дамское платье	26,00—34,80
Сахар (1 кг)	1,20	1 мужская рубашка	13,66
Рыба морская (филе) 1 кг	2,59	1 пара носков	3,49
Воловье мясо (1 кг)	4,68—5,09	1 пара мужской обуви	26,80
Свинина (1 кг)	4,01—5,62	1 пара дамской обуви	31,50
Масло (1 кг)	7,18	1 велосипед (мужской)	167,0
1 метр материи на мужской костюм	27,60	1 электрический утюг	12,31
		Туалетное мыло (200 гр)	0,31

Данные за 1957 год применимы и к 1956 и к 1958—59. Дело в том, что цены на одежду возросли с 1950 по 1957 год всего на 10%. Рост цен на продукты питания с 1957 по 1958 год был почти равен нулю. Рост же цен вообще с 1950 по 1957 год составил всего 220%. Таким образом, цены на продукты питания увеличились сильнее всего, но, с другой стороны, не забудем, что по мере роста благосостояния питание занимает все менее значительное место в бюджете трудящегося. Мы уже видели, что заработные платы и оклады растут гораздо быстрее розничных цен.

Однако, тут можно возразить, что в магазинах в Западной Европе все блага мира могут купить только работающие, а как быть с массой безработных? Для иллюстрации положения в Западной Европе приведем некоторые данные.

В Западной Германии положение рынка труда за последние годы изменилось следующим образом.

Год	Работающие	
	(вне сельского хозяйства)	Безработные
	в тысячах человек	
1950	13.827	1.578
1953	15.583	1.259
1956	18.056	761
1958	18.911	683
1959 (май)	19.089	321
1959 (июнь)	19.600	255

Таким образом, безработица, которая была так значительна в 1950 году, перестала играть роль в общем балансе страны. Более того, в июне 1959 года на приведенную цифру в 255 тысяч безработных приходилось в Западной Германии 319.455 незанятых мест в торговле и промышленности. Таким образом, можно говорить скорее о недостатке рабочей силы. Если взять состав безработных, то в нем преобладают люди пожилые, не вполне трудоспособные, без какой-либо квалификации, беженцы из стран за Железным занавесом, т. е. как правило, люди, которых трудно применить в народном хозяйстве.

Во Франции уже давно безработица стоит на уровне нескольких десятков тысяч человек, т. е. практически почти равна нулю. Безработные, как правило, люди, мало приспособленные для современного народного хозяйства. Более значительна безработица в Англии. Там она увеличилась в силу временного замедления производства, но в данный момент, когда промышленность снова заработала полным ходом, следует считать, что число безработных упадет. В апреле с. г. в Англии было 531.000 безработных. Это составляет 2,4% всей армии труда, против 2,8% в январе 1959 года.

Не следует, кроме того забывать, что во всех странах Западной Европы безработные получают пособия. В частности, в Германии имеется три вида пособий: выплата по безработице, помощь по безработице и доплата к неполному рабочему времени.

Выплаты по безработице получают все, кто могут доказать, что они работали по крайней мере 26 недель или 6 месяцев на протяжении последних двух лет. Величина пособия равняется приблизительно 55% последнего заработка. Кроме того, могут быть еще добавления на жену или детей. Если данные безработного не соответствуют условиям этой категории, то ему дается помощь по безработице. Однако и в этом случае он должен иметь полицейскую прописку и указать, где он работал хотя бы 10 недель до регистрации по безработице.

Доплата к неполному рабочему времени введена в помощь рабочим, чьи предприятия по тем или иным причинам не могут предоставить им работу на полный рабочий день. Тогда разница покрывается государством и выдается при получении им его заработной платы. Предприниматель обязан заботиться о получении этого вида пособия для своих рабочих от властей.

Помощь по безработице меньше, чем выплата по безработице. Однако и она приближается к 100 маркам в месяц, а иногда и больше (в зависимости от семейного положения, стоимости квартиры и т. д.).

Если проанализировать, сколько получает рабочий в Западной Германии и что он может купить на свой заработок и сравнить его положение с положением среднего трудящегося в Советском Союзе, то приходится констатировать, что многие безработные живут здесь лучше, чем у нас на родине — работающие.

Статистическое управление Западной Германии сделало иной подсчет. Так, им были взяты семьи из четырех душ, которые в 1950 году в общей сложности имели доход в 200—350 марок (доход главы семьи плюс доходы ее членов, в некоторых случаях) и было вычислено, как эта «мелкая категория» получателей доходов распределяет свой доход между различными статьями расходов. Далее, следя за положением этой категории людей, статистическое управление высчитывало год за годом, как меняется характер и величина трат. В 1957 году эта категория семей получала уже не 200—350, а до 700 марок в месяц. Результаты этого

исследования были сведены в таблицу, резюме которой мы здесь и даем. („Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik“, 1958).

	1950 г.	1956 г.	1957 г.
	(в марках)		
Весь доход	342,82	599,48	638,70
После вычета налогов и разных отчислений	305,08	528,74	570,83
Расходы семьи были следующие:			
Питание	132,54	201,95	210,78
Квартира	29,85	47,24	50,31
Оборудование квартиры	13,28	39,60	47,01
Табак	7,85	11,93	12,04
Отопление и освещение	15,46	28,05	26,63
Покупка одежды и белья	38,81	71,84	78,59
Культурные развлечения	15,63	32,68	37,64
Все расходы	294,04	511,65	553,73

Таким образом, если даже допустить, что составленная статистиками-специалистами таблица и может претерпеть неточностями в деталях, все же нельзя не заметить сразу ее основную тенденцию: возрастание общего расхода по сравнению с расходом на питание. Это — типичное явление для всех народов, благосостояние которых повышается. Расходы на одежду с 1950 по 1957 год выросли более, чем в два раза, в то время как расходы на питание возросли приблизительно на 60%. Также сильно возрос расход на развлечения разного рода.

Показательно также потребление продуктов на душу населения. Для Западной Германии у нас имеются следующие официальные данные (для всех лет сведения взяты из „Statistisches Jahrbuch BRD“, для 1957—58 годов взяты показатели статистического управления, опубликованные в газете «Индустри-курир»).

	1935—38	1948—49	1955—56	1957—58
	Среднее в килограммах в год			
Мучные изделия	110,5	123,9	92,5	89,5
Картофель	176,0	219,0	155,0	150,0
Сахар	25,5	19,5	27,0	28,0
Овощи	51,9	59,4	47,6	48,9
Фрукты	36,3	21,7	?	28,8
Южные фрукты	5,7	1,4	14,5	18,8
Мясо	52,8	18,1	47,3	52,6
Жиры	21,0	9,5	25,1	25,2
в том числе масло	8,1	4,5	6,9	7,4
Рыба (без костей)	11,8	9,1	7,1	6,9
Сыр	3,5	2,6	4,2	4,3

Общая калорийность пайка превзошла 3.000 калорий и сравнялась с пайком до войны. В приведенной таблице обращает на себя внимание рост потребления мяса, жиров, южных фруктов, сыра и падение потребления картофеля, хлеба и мучных изделий и, даже, местных фруктов. Эта картина наблюдается всегда, когда благосостояние страны растет и население старается заменить более простые и дешевые продукты более дорогими. В частности, животные жиры также частично заменяются растительными, хотя последние приходится ввозить из-за границы и они стоят в среднем дороже, чем животные.

Отметим мимоходом, что сельское хозяйство Западной Германии покрывает все большую долю нужных стране пищевых продуктов, несмотря на рост общего потребления. Так, в среднем в 1952—1955 годах собственная продукция покрывала 70% потребностей, в 1955 — 75% и в 1958 — 78%. Хотя Западная Германия приняла много беженцев из «ГДР» и иных стран «социалистического лагеря» и плотность населения никогда не была в Германии до сих пор столь значительной, процент обеспечения своим производством сейчас выше, чем в императорской или гитлеровской Германии!

Для иллюстрации укажем, что в 1958 году пищевая промышленность СССР поставила рынку всего 3,4 млн. тонн мяса и мясных продуктов. На душу населения это даст примерно 33,3 кг в год, и только на 1965 год запланировано по 60 кг в год.

Приведем таблицу потребления на душу населения (городского) в ряде стран. Эти данные взяты из Статистического сборника ООН за 1958 год.

В килограммах в год						
	Мучные изделия	Картофель	Сахар	Мясо	Жиры	Всего калорий в день
Австрия						
Среднее за						
1934—38 гг.	132	96	24	49	17	2.930
1948—50 гг.	130	108	23	30	15	2.670
1957—58 гг.	114	94	34	49	18	2.920
Дания						
Среднее за						
1934—38 гг.	94	120	50	75	27	3.420
1948—50 гг.	104	142	35	62	18	3.170
1957—58 гг.	87	129	47	73	29	3.500
Франция						
Среднее за						
1934—38 гг.	124	143	24	61	14	2.870
1948—50 гг.	122	133	23	62	14	2.890
1956—57 гг.	106	131	26	70	17	2.920
Югославия						
Среднее за						
1951—53 гг.	187	48	8	20	9	2.650

Высокое потребление продуктов питания имеется также в Голландии, Бельгии, Великобритании и т. д. В связи с этими данными резким контрастом выделяется группа данных для Югославии, бывшей когда-то экспортером сельскохозяйственных продуктов; Югославия сейчас отошла в число стран с весьма слабым пайком. Видно, даже «особый путь» к социализму не прошел даром!

Таким образом, в среднем, пищевой баланс стран Западной Европы стоит на должной высоте, причем в нем замечается то же явление, что и в Западной Германии: рост потребления мяса, жиров и сахара и падение потребления картофеля и хлеба. По мере роста благосостояния, народы отдают предпочтение более дорогим продуктам. Этот процесс аналогичен и тому, что мы наблюдаем в США; при этом видна общая тенденция потребления: потребитель становится все более требовательным.

Интересно провести обследование квартирного вопроса во Франции и в Западной Германии. При этом отметим, что Франция никогда не считалась страной с хорошим решением квартирного вопроса для современного культурного государства. И тем не менее, цифры — весьма внушительные. По переписи 1954 года Франция имела (*“Tableaux de l'économie française”, 1958*):

Всего квартир (в городе и деревне)	13.401.540
В них комнат:	39.583.120
Наличие в квартирах	
Газа из городской сети	4.855.300
„ в бутылках	3.996.920
Электричества	12.458.020
В них проживало (человек)	41.108.460
в том числе собственников квартир	4.760.560

Иначе говоря, во Франции имелось почти столько же комнат, сколько людей. Подавляющее большинство квартир имело электричество.

Возьмем данные для Западной Германии (*„Statistisches Taschenbuch,, BRD, 1958*):

	13. 9. 1950 г.	25. 9. 1956 г.
Всего жилых комнат		
(за исключением помещений менее 6 кв. метров)	38.966.508	48.571.868,

при круглой цифре населения в 51 млн. человек. Каждый год прибавляется более 500.000 квартир, так что принцип «комната на человека» и тут соблюден. Нельзя забывать при этом, что в приведенные цифры населения входят и дети, в том числе грудные.

Однако, благосостояние населения не измеряется лишь количеством потребления продуктов питания, текстиля, обуви и одежды и не исчерпывается и наличием квартир. К благосостоянию принадлежат и такие предметы, как радио, телевизоры, стиральные машины, холодильники, и наконец, легковые автомобили. В февральском номере Бюллетеня статистического института при Оксфордском университете было опубликовано исследование сотрудника университета в Глазго, Нокса (M. F. Knox). Последний подробно проанализировал следующие источники: *“The Motor Industry of Great Britain”, “The World Telephones”, “World Radio Handbook”,* а также частные данные ряда посольств. В результате этого он

составил ряд таблиц; наиболее обобщающую из них мы приводим. По словам Нокса в 1957 году на 100 жителей приходилось:

	Легковых автомашин	Мото- циклов	Теле- фонов	Радио- аппаратов	Холодиль- ников	Стираль- ных машин
Швеция	10,5	4,3	31,5	35,0	18,7	11,9
Англия	7,7	2,6	14,0	28,5	3,7	9,7
Франция	7,7	4,1	7,8	21,6	4,9	5,6
Дания	5,5	2,8	20,5	31,3	5,0	4,0
Зап. Германия	4,0	4,8	8,3	27,5	3,9	4,5
Австрия	2,7	4,7	7,7	26,1	6,5	3,4
Югославия	0,07	0,09	1,0	3,9	?	?
Чехословакия	0,7	2,6	2,9	22,3	1,5	6,3
СССР	0,2	0,4	?	14,8	?	?
США	31,7	0,3	33,7	78,8	26,5	23,5

Таким образом, страны строящегося коммунистического общества, как правило, стоят на самых скромных местах.

Как показывает таблица, оснащение автомашинами очень велико во всех свободных странах, а даже, например, сверхиндустриализированная Чехословакия занимает очень скромное место. И понятно, что никогда ни Хрущев, ни кто другой из вождей коммунизма не посмеет «щеголять» подобными цифрами. В таких случаях они предпочитают хранить пробовое молчание.

Общее количество предметов широкого потребления как машины, холодильники и т. д., является в сильной степени пропорциональным общему благосостоянию населения. На этом сходятся все исследования, кроме чисто коммунистических. Если рассматривать благосостояние стран с этой точки зрения, то напрашивается объективный вывод, что население стран коммунистического блока ведет крайне нищенский образ жизни.

С другой стороны, показателен ведь и процентный рост количества предметов широкого потребления. Может быть, в странах коммунизма сейчас мало этих предметов, но их количество растет быстрее, чем в «капиталистических» странах. Однако данные того же Нокса показывают, что это не так. Если количество различных предметов широкого потребления в 1938 году принять за 100, то на 1957 год получим следующую таблицу:

	Автомобили	Радио	Телефоны
Швеция	476	179	274
Франция	197	183	205
Бельгия	386	169	221
Зап. Германия	250	164	156
Австрия	675	253	183
Италия	300	574	416
Чехословакия	140	319	193
СССР	400	403	?
Югославия	66	433	280

Итак, в отношении пропорций (а не абсолютных чисел) страны «строящегося коммунизма» тоже не идут впереди свободного мира.

Отметим, что в 1957 году во Франции было всего 3.972.000 легковых машин, их число увеличилось к январю 1958 года до 4.413.527, из них 2.208.978 были моложе шести лет. В Западной Германии в 1957 году было 2.637.000 легковых машин, в Англии — 4.205.000. При этом, в ГФР каждый год регистрируется более полумиллиона новых легковых машин (перерегистрация поддержанных сюда не входит).

Но советская пропаганда может ответить, что в СССР приходится временно терпеть ограничения в производстве предметов широкого потребления, ибо идут пока «большие стройки». В частности, продолжает развиваться тяжелая промышленность, ибо она нужна для осуществления больших государственных задач. На это можно возразить следующее. В отношении потребления стали на душу населения СССР не является никаким исключением; его потребление не разнится от потребления передовых стран. Так, для 1957 года статистический сборник ООН дает следующие цифры (в кг):

Австрия	206	Швеция	420
Бельгия-Люксембург	315	Англия	372
Дания	203		
Франция	302	СССР	263
Западная Германия	393	Польша	174
Голландия	261	Югославия	62
		Чехословакия	361

Конечно, выплавка стали в СССР увеличилась с 51,0 млн. тонн в 1957 году до 54,9 млн. тонн в 1958 году. Но такое увеличение меняет количество стали на душу населения всего лишь около 21 кг. Иначе говоря, изменение никак не революционное. И страны социализма, при всей их крикливой пропаганде во славу тяжелой промышленности, при полном забвении интересов потребителя во имя этой промышленности, в результате не могут превзойти те страны, которые развиваются более гармонично и таких усилий на преимущественное развитие тяжелой промышленности не тратят.

И даже оправдание низкого уровня жизни коммунистической пропагандой тем, что в СССР и других странах идет капитальное строительство, не меняет дела: в странах свободного мира производятся не менее грандиозные стройки, но они отнюдь не лишают людей благосостояния. Свободная экономика развивается гармонично.

БИБЛИОГРАФИЯ

«Воздушные пути»

(Альманах к семидесятилетию Б. Л. Пастернака)

В русском зарубежье утвердился широко распространенный на Западе обычай — отмечать юбилеи выдающихся деятелей искусства или науки не адресами и банкетам, а изданием сборников, посвященных или творчеству юбиляра или темам, которые ему близки. При такой традиции чествование юбиляра выражает не только любовь и признательность его друзей и почитателей, но представляет собой также культурное событие, порой очень значительное. Отметить семидесятилетие Б. Л. Пастернака изданием сборника было, к тому же, для зарубежных его друзей единственной возможностью выразить то восхищение, которое вызывают, как сказано во вступительной заметке редактора альманаха Р. Н. Принберга «его опромное дарование, его стойкость и верность себе». Мы, вынужденные жить за границей, были лишены возможности с благодарностью поздравить руку Борису Леонидовичу в день его семидесятилетия. Если составители альманаха и указывают, что его название «Воздушные пути» — так назывался один из давних рассказов Б. Л. Пастернака — избрано для того, чтобы подчеркнуть «мнимость преград, тщетно возводимых между нами на земле», то факт физической преграды, возведенной между Б. Л. Пастернаком и нами коммунистической диктатурой мы не можем не ощущать, как жестокое насилие. В этом смысле альманах останется для буду-

щих исследователей творчества писателя одним из свидетельств о том трагическом времени, которое суждено было пережить русской культуре и ее достойнейшему выразителю и защитнику — Б. Л. Пастернаку.

Альманах открывается «Поэмой без героя» А. А. Ахматовой. Поэма писалась между 1940 и 1944 годами — в Ленинграде накануне войны, в этом же «гранитном городе славы и беды» во время осады, в Ташкенте в период эвакуации и, наконец, после 1 июля 1944 года — снова в Ленинграде, куда А. А. Ахматова смогла вернуться из эвакуации. В коротком предисловии А. А. Ахматова пишет, что посвящает поэму «памяти ее первых слушателей — моих друзей и сограждан, погибших в Ленинграде во время осады».

Эта поэма — удачно названная в предисловии к альманаху «поэтическим триптихом» — трагический гимн Петербургу, любви и искусству. Накануне нового, сорок первого года, как бы в предчувствии того, что будет значить этот год в истории России, поэт теснят тени прошлого, демонические и малящие. Поэт — единственный, оставшийся в живых, всех других — спутников хмельной и творческой петербургской молодости поэта — уже поглотила смерть. Эта смерть — не освобождение и не покой. Умерших стережет и властвует над ними Владыка Мрака, от злобного дыхания которого обороняется поэт. Смерть — насилие,

песни обрвала туля, «веселия» глас был
заглушен революционным криком не-
нависти. Поэтому сама смерть тревожна
и воспоминания о былом лишены покоя.
Поэт говорит об этом в «послесловии» к
первой части поэмы:

Все в порядке: лежит поэма
И, как свойственно ей, молчит.
Ну, а вдруг как вырвется тема,
Кулаком в окно застучит, —
И на зов этот издалека
Вдруг откликнется страшный
ЗВУК.

Клокотанье, стон и клекот
И виденье скрещенных рук...

Как ни страшно жить в породе непохороненных теней — разлука с ним еще страшней. Разлука с городом, горечь исхода — тема третьей и последней части поэмы.

А не ставший моей мотилой,
Ты, пранитный, крошечный, милый,
Поблуднел, помертвел, затих.

Прекрасный город никогда не был так близок сердцу, как в час разлуки:

Я с тобою неразлучима,
Тень моя на стенах твоих,
Отраженье мое в каналах,
Звук шагов в Эрмитажных залах,
Где со мною мой друг бродил,
И на старом Волковом Поле,
Где могу я рыдать на воле
Над безмолвьем братских могил.
Мне казалось, за мной ты нялся,
Ты, что там погибать юстался
В блеске шпильей, в отблеске вод.
Не дождался желанных вестниц...
Над тобой лишь твоих прелестниц
Белых воячек хорошил.

«Тень моя на стенах твоих...» Близость к тексту псалма не случайна. Так евреи, уводимые в вавилонскую неволю, покидали свой священный холм, унося за пазухой горсть родной земли и томясь сердцем о свершившемся поругании...

Обуянная смертным страхом
И отщепенца зная срок,
Опустивши глаза сухие
И ломая руки, Россия
Предо мною шла на восток.

Поэма кончается темой разлуки и исхода... Не потому ли, что возвращение в родной город было омрачено тем, что «просветление и оживоуждение, которых ждали после войны, не наступили вместе с победой», как пишет Пастернак в своей, ставшей знаменитой, концовке к роману «Доктор Живаго»? Россия еще в пути... Но не случайно А. А. Ахматова взяла эпиграфом к поэме девиз в гербе на воротах дома, в котором она жила, когда писала поэму. Этот девиз — «*Deus conservat omnia*»: «Бог сохраняет все»...

Статьи альманаха разнообразны и даже противоречивы — что отнюдь не нарушает, разумеется, целостного впечатления, которое производит книга. Совершенно отдельно и, по нашему убеждению, вне замысла сборника стоит лишь статья Николая Ульянова "Ignorantia est", о которой подробнее будет сказано ниже. Другие же статьи можно условно разделить на три тематических цикла. Во-первых, это тема «Бог, мир и человек» (статьи Марка Вишняка «Человек в истории» и Юлия Марголина «О Боге великом»), во-вторых, тема философии, культуры и искусства (Георгий Адамович «Темы», Лев Шестов «А. С. Пушкин», Федор Степун «Современность и искусство», Юрий Иваск «Возможность поэзии») и, наконец, тема «святого ремесла» поэзии (Владимир Вейдле «О непереодолимом», Глеб Струве «Из заметок о мастерстве Бориса Пастернака», Вера Александрова «По литературным адресам поэта», Владимир Марков «Стихи русских прозаиков»).

Многотемность статей лишает меня возможности остановиться в короткой рецензии на каждой из перечисленных статей так, как они того заслуживали бы. Поэтому я остановлюсь, кроме статьи Николая Ульянова, которую я не могу оставить без возражения, лишь на статье Льва Шестова о Пушкине. Лев Шестов — единственный уже умерший из числа авторов, участвовавших в сборнике.

Статья Л. Шестова печатается впервые, но написана она была в 1899 году — к столетию со дня рождения Пушкина: Шестов пишет о Толстом, как еще живущем прославленном писателе и называет Надсона в числе пушкинских учеников — последнее утверждение во-

жет вызвать сегодня, конечно, только удивление и объясняется, вероятно, отсутствием перспективы у автора статьи и той непонятной нам сегодня любовью, которой поэзия Надсона была окружена при его жизни.

Статья Шестова написана в ставшем после пушкинской речи Достоевского традиционном стиле: величие Пушкина заключается для Шестова в его «всечеловечности», в победе гармонического начала над хаосом и неправдой. Сказанное Шестовым настолько несомненно и верно, что, казалось бы, не нуждается ни в комментариях, ни в подтверждении. Остановиться на статье Шестова меня побуждает тот дух оптимизма, которым проникнута статья. Пушкин, если верить раннему Шестову, уже дан, а не только задан нам, исцеление уже свершилось, культурная и духовная зрелость России достигнута тем, что она приняла и превознесла Пушкина как своего национального гения. То, что это не так, осознал в своем дальнейшем творческом развитии сам Шестов. Не Платон, не Пушкин и уж, конечно, не Гегель занимали мысль Шестова в зрелые годы его творчества, а Иов, Лютер и Киркегард. И едва ли сам Шестов повторил бы накануне своей смерти то, что он написал в последний год благополучного XIX века — а именно то, что Гоголь погиб потому, что не вынес «бремени реализма». Шестов, прочитавший «Страх и трепет» и «Или — или» Киркегарда и заново раскрывший книгу Иова, несомненно, со всей позднейшей эпохой почувствовал, что Гоголя испепелил не реализм «кувшинных рыл», а страх Судного дня, и что идеал пушкинской гармонии от нас сегодня дальше, чем когда бы то ни было — и чем дальше, тем пленительнее и притягательнее... Мысль обращается к Пастернаку. Гармония? Нет, конечно — лишь трепетный зов, обращенный к ней, та последняя честность перед собой, та дорогая позднему Шестову последняя обнаженность и «совлеченность» души, без которой всякая гармония с неизбежностью будет взятой взаймы, с чужого плеча, а потому фальшивой и неспособной ни укрепить, ни утешить...

Статья Николая Ульянова "Ignorantia est" написана в присущем автору поле-

мически-заостренном тоне и посвящена теме русской интеллигенции в ее отношении к народу. Автор производит беспощадный суд над несколькими поколениями русской интеллигенции — по мнению Н. Ульянова интеллигенция никогда не понимала народа, восторженно увлекалась поверхностно понятиями западными идеями, была лишена культурной и социально-политической зрелости и все свои неудачи — в том числе и катастрофу революции — приписывала народу, обвиняя его в косности и неспособности понять ее «дум высокое стремление».

В этом, по мнению Н. Ульянова, решительное и трагическое отличие русской интеллигенции от интеллигенции западной, ибо «если западный ум в своем последовательном развитии породил утопию, то породил и средства к ее преодолению».

Читая статью Н. Ульянова, не знаешь, чему удивляться — садистическому ли задору, с которым автор поносит породившую его среду, или безнадёжной устарелости самой темы? Можно было бы предположить, что статья написана не человеком, только после Второй мировой войны оказавшимся на Западе, а деятелем «февраля», который только что «протер пенсне», только что отомылся от своего белства в Финляндию от штыков революционных матросов. Но от революции нас отделяют четыре десятилетия, и для пишущего эти строки «февральское» поколение — поколение даже не отцов, а дедов. Время подобных покаянных «отрезвлений» давно прошло — роль интеллигенции уже осмыслили люди, сами варившиеся в том «бродильном чане», о котором пишет Н. Ульянов, и не случайно, что автор статьи полемизирует только с покойниками... Вызывает законное недоумение, что Н. Ульянов не ставит вопроса о сегодняшнем облике русской интеллигенции в СССР — о детях и внуках тех, кого он с таким вдохновением обвиняет. Облик этого поколения «советской» интеллигенции таков, что невольно появляется сомнение в справедливости беспощадного приговора, выносимого Н. Ульяновым его отцам. Эту интеллигенцию можно упрекать в чем угодно, но не в отсутствии подлин-

ных знаний и чувства глубокой государственной ответственности. Откуда взялись эти неожиданные качества, эта гордость отечественными достижениями и страх перед политическими потрясениями, которые так тормозят борьбу за освобождение от диктатуры? Это есть наследие той, несравненно более многочисленной, «служивой» части интеллигенции, о которой Н. Ульянов не говорит ни слова. Это интеллигенция земств и братств, учителей (отнюдь не обязательно революционно настроенных) и народных университетов. Это они цементировали русскую культурную почву и вынашивали государственное сознание народа, волею исторической судьбы брошенного из патриархально-средневекового быта непосредственно в водоворот индустриальной культуры. Легко было Западу, с его спокойной тысячелетней исторической ритмикой вместе с ядом рождать и противоядие! Полемика задор и историческая близорукость автора поистине «интеллигентские», в смысле сочиненной им карикатуры. В той же линии «интеллигентского» самоуничижения движется и оценка, которую дает автор статьи Западу. Сравнение с Западом выпадает у Н. Ульянова, конечно, не в пользу русской интеллигенции. Русская интеллигенция, по Н. Ульянову, «своей судьбы родила крокодила», а Запад процветает под сенью мудрости и зрелости, которых мы роковым образом лишены. Так ли спасительна эта западная «культура ума» и так ли губельно и анекдотично русское правдо- и бого-

искательство? Сам западный мир отвечает на этот вопрос, когда он, в лице своих лучших писателей и своей молодежи, без всякого почтения «возвращает билет» в антисептический рай современной буржуазной демократии и, вопреки столь дорогой Н. Ульянову «культуре ума», кокетничает, отнюдь не платонически, только не с Богом, как «русские мальчики», а с дьяволом, и не с «грядущей, неведомой революцией», а с весьма реальным миром тоталитаризма.

Вопрос о том, какая интеллигенция — русская или западная — «своей судьбы родила крокодила», остается открытым. По нашему убеждению, больше надежды выбраться из кризиса у русской интеллигенции (не пора ли вообще перестать пользоваться этим термином?) — благодаря намечающемуся в ней синтезу между тем «теургическим беспокойством», которое так несправедливо поносит Н. Ульянов, и тем чувством национальной и культурной ответственности, которое крепнет в России и исчезает на Западе. Не элементы ли этого искомого синтеза привлекают внимание Запада к творчеству Б. Л. Пастернака? Поэтому нам кажется, что статья Н. Ульянова, с ее запоздалым радикализмом, стоит в сборнике, посвященном Б. Л. Пастернаку, одиноко и едва ли его украшает.

Отметим в заключение, что альманах содержит очень удачные стихотворения зарубежных поэтов Дмитрия Кленовского, Николая Моршана и Игоря Чиннова.

К. Фотиев

Пауль Целан и его переводы русских поэтов

Когда память о литературных сенсациях оглаживается, машина политической рекламы изнашивается, а в «любовь народную» будет внесен необходимый корректив времени, Мандельштам может оказаться (кто знает?) с репутацией более прочной, чем Пастернак, Маяковский и Есенин.

До сих пор это имя было пустым звуком для любителя поэзии, который не может читать русских стихов. Отдель-

ные переводы на четырех главных европейских языках почти не в счет. Но вот вышла целая книга переводов из Мандельштама на немецкий язык*). Правда, не все лучшие стихи в ней представлены (в Tristia, например, нет «Чуть мерцает призрачная сцена», «В Петербурге мы

*) Ossip Mandelstamm, Gedichte. Deutsch von Paul Celan. S. Fischer Verlag, 1959.

сойдемся снова», «Золотистого меда струя», «Феодосии»), однако 50 страниц текста уже достаточно для знакомства с поэтом, тем более, что переводы прекрасны. Эта книга — событие в области перевода, в «манделъштамiane» и в поэтической биографии Пауля Целана.

Пауль Целан (род. в 1920 г. в Буковине) один из крупнейших и оригинальнейших немецких поэтов современности. Темная пышность его ранних стихов (Mohn und Gedächtnis, 1952) уже сменилась эллиптической строгостью сборника Sprachgitter (1959), но, в сущности, Целан остался тем же, — не только в уровне своего мастерства, но и в своеобразной человечности, в стремлении проникнуть в самую сердцевину человека и мира. Полно значения, что на этом пути Целан встретился с Мандельштамом и должен был перевести его.

Всякий, кто читал Мандельштама, знает, как трудно, почти невозможно представить себе на другом языке эту без тяжести высокую торжественность ритма, эту прозрачность ранних и насыщенность поздних стихов, эту неуловимую цепь ассоциаций и переливы образности. Целану почти всегда удается, сохранив смысл и структуру оригинала, заставить все это звучать на немецком языке тоже подлинной поэзией. Он находит простые слова, которые звучат так свежо, как будто это впервые и написано по-немецки. Вот, например, знаменитое четверостишие, открывающее «Камень»:

Der hohle Laut, behutsam, der
Frucht, die vom Ast sich löst, die
unendliche, die Melodie
des Wälderschweigens um ihn her.

Нетрудно заметить, что «переносы» строчек (анжамбманы) на артиклях — не манделъштамовские (они и для Целана — характерны только в его поздних стихах), но они ничем не портят и даже подчеркивают «немолчный напев» (лишнее доказательство тому, что анжамбманы не только «ломают» фразу, подчеркивая конец строчки — как это принято считать — но могут и сливать две или несколько строк в одну, производя впечатление бес-

конечности, нескончаемости; такие примеры встречаются у Державина).

Другая индивидуальная черта, которую Целан наделяет Мандельштама, это пристрастие к стаккато назывных или неполных предложений. Иногда это очень подходит, как, например, в начале стихотворения «В таверне воровская шайка»:

Diebsvolk, nachts, in der Spelunke.
Brettspiel. Dieser, jener Stein.
Eierspeise. Mönche, trunken.
Leengebechert ist der Wein,

но подчас приводит к искажению: Мандельштаму больше свойственно возвышенное легато. Здесь же нужно упомянуть о более изощренной, чем в оригинале, пунктуации, которую использует Целан:

Auf dem Turm: Chimären raufen:
(На башне спорили Химеры)

Der Sternenhimmel. Drunter:
Beduinen
(Под звездным небом бедуины)

От этого Мандельштам становится более красочным и острым, интонация обогащается — но при этом теряется высота парения, и от слишком частых пауз нарушается «линия». То же относится к рифмам, которые у Мандельштама сравнительно редко выдаются своей оригинальностью. Рифмы, которые изобретает для него Целан, подошли бы скорее Пастернаку (vergiftet: Ägypten).

Имя Пастернака не случайно всплыло. Для Пастернака-переводчика тоже свойственна частая стилизация оригинала «под себя», заострение и модернизация. На это можно морщиться, но нельзя отрицать, что именно таким образом Пастернак делает свои переводы фактами современной поэзии. В его переводах совсем нет музейности, столь неизбежной у других, и, когда читаешь его «Фауста», кажется, что это написано вчера.

Интересно, что Мандельштам представляет у Целана по-новому еще и потому, что нередко лучше всего переводит менее известные стихи. В таких переводах Целан часто не только словесно

точен, но и воздерживается от своих маньеризмов, — и тогда-то он достигает подлинных высот. Так, например, в «Пусть имена цветущих городов» и «Уничтожает пламень» уловлена интонация Мандельштама периода «Камня» просто чудодейственно. С другой стороны, в такой всем известной вещи, как «Бессонница. Гомер...», при всей точности, потеряны величественность и великолешие, а гениальный конец просто смазан. Кроме того, здесь (и в некоторых других переводах) Целан передает александрийскую цезуру на какой-то итальянский или старофранцузский лад — с лишним слогом (по-моему, это и немецкому стиху несвойственно).

К неудачным или не совсем удачным переводам следует отнести «Ни о чем не нужно поворить» (как-то бледно и вяло), «О, небо, небо, ты мне будешь снится» (точно, но многословно), «Сестры — тяжесть и нежность» (ритма совсем не узнать, нет мандельштамовской последовательности образов, в оригинале все это легче и незаметнее). В «Венеции» Целан зачем-то не укорачивает последнюю строку в каждой строфе, злоупотребляет отделением прилагательного от существительного и часто впадает в многословие (например, вместо «И прекрасное лицо», в переводе „Das menschliche, das Antlitz, das herrliche Gesicht“).

Зато роскошны в своей точности *Silentium*, «Дано мне тело», «Как кони медленно сплывают» (тут вначале больше тревоги, чем у Мандельштама, и точнее слова), «Образ твой мучительный и зыбкий», «Эта ночь непоправима» и многие другие. Иногда у Целана строчка (а замечательные строчки встречаются и в переводах, которые в целом не совсем удались) в полном смысле слова лучше, рельефнее, четче, чем у Мандельштама:

Bett, aus schwülen Finsternissen
(Душный сумрак кроет ложе)

Sie ist noch nicht, ist unentstanden
(Она еще не родилась)

Von dem Doppelt- und Gespiegeltsein
(И двойным бытием отраженным)

Есть ли в переводах Целана смысловые ошибки? Ведь удивительной красоты цеточку образов в стихах Мандельштама часто трудно и русскому связать и осмыслить, некоторые места принимаешь на веру за их красоту или за красоту их окружения. У Целана есть случаи, когда сомневаешься в правильности перевода, однако и в этих спорных деталях он по-своему логичен и, как настоящий поэт, додумывает все до конца, не оставляя незащитых швов. Так, например, «глухие годы» в «Прославим, братья, сумерки свободы», может быть, и не содержат буквальной «глухоты», однако добавленное переводчиком *taub* не портит картины, а скорее дополняет ее. Но вот «челнок» в «Что поют часы-кузнечик» — не ткацкий, как у Целана, а лодка, что доказывается хотя бы сравнением со стихотворением «Возьми на радость из моих ладоней». «Кукушка» в «Когда городская выходит...» ассоциируется с Ярославной и много теряет от того, что она на немецком не женского рода. И почему волны, жующие у Мандельштама, у Целана мычат? «Пеночка» в «Прифельной оде» — птичка, а не *leichter Schaum*; там же нельзя прутня превращать в шершня, от этого искажается важная ассоциация. И если перевести «двурушники» как *Zweihändler* — разве не превращается этот советизм, обозначающий человека, в средневековый немецкий меч? В «супробе пшеничном» «сугроб» важнее «пшеницы», иначе получается, что это деревня, а не город Москва. В том же стихотворении («1 января 1924 г.») не опечатка ли *schlechter Fahrgast* (*schlichter*?) стр. 60. Можно придаться и к другим неточностям («мохнатый», например, вовсе не обязательно «покрытый мохом») или опущениям важного в поздних стихах, но нельзя отрицать, что в целом переводчик справился даже с такой невозможной задачей, как перевод «Нашедшего подкову», «Прифельной оды» и «1 января 1924 г.».

Все эти придирки не могут заслонить самого главного: в переводах Целана сохранено 90% красоты и смысла оригинала, и Мандельштам встает в них таким же большим, трагическим и сложным поэтом как и по-русски. С ужасом

представляешь, что было бы, если б эту книгу — как бывает сплошь да рядом — перевел поэтически неодаренный профессор русской литературы или поэт-дилетант, переводящий «по словарю» и не совсем понимающий подлинник, однако имеющий «свои идеи» на этот счет.

Целан — как замечательный пианист, играющий великого композитора: кое-где возьмет неверную ноту, кое-где поставит слишком индивидуальный акцент; но играет он замечательно и незабываемо. Остается только мечтать, чтобы он перевел других больших русских поэтов, заждавшихся хороших переводов — например, Цветаеву, Георгия Иванова, Заболоцкого.

*

Несколько ранее в переводе Целана вышла поэма Блока «Двенадцать» *). Несмотря на то, что внешне перевод более закончен и ровен, само его появление менее значительно, чем выход книги Мандельштама. Во-первых, это далеко не единственный перевод поэмы (хотя, может быть, и лучший). Во-вторых, при всей виртуозности, у Целана здесь меньше внутреннего отождествления с переводимым поэтом, да это и невозможно. Несмотря на то, что в поэтической передаче атмосферы первых месяцев революции никакая другая русская поэма (скажем, «Хорошо» Маяковского или «Ночной обыск» Хлебникова) не может сравниться с «Двенадцатью», знаменитая поэма Блока является не столько фактом поэзии, сколько историей литературы. Опрублия, можно сказать, что любой большой поэт мог бы написать «Двенадцать», но только Блок мог написать «На поле Куликовом». В конечном счете, выражение поэтического «я» ценнее «отображения» внешних событий. «Двенадцать» — гениальный, но документ. Она может восхищать, даже увлекать, но может ли кто-нибудь полюбить эту поэму?

При всем этом, Целан сделал блестящий, первоклассный перевод, и остается только удивиться, что переводчик Ман-

дельштама мог замечательно перевести и это произведение. Переданы и эта веселость мира, не то обновляющегося, не то летящего в тартабары, и лексикоритмическое богатство.

Разнообразие немецкого «слэнга», которым Целан передает блоковское просторечие, просто удивительно. Это целый парад «низкой» разговорности, частично еще не зафиксированной словарями.

Перевод полон находок и удачных переводческих разрешений. Вот, например, строки о «писателе-вятии»:

— Verrat an Russland, Verrat!
Vermutlich ein Literat.

Или «Запирайте этажи»:

Aufgepasst jetzt in den Villen,
Jemand kommt, den Sack zu füllen.

Поэма Блока, конечно, полна неперевожимостей, особенно в местах, окрашенных фольклором, но даже и тут, как, например, в ключевой 8-й главке («Ох, ты, горе горькое!») Целан выходит из испытания с честью.

Особенно удачен конец, где, по мнению рецензента, переводчик даже улучшил Блока, убрав некоторую сусальность финала в подлиннике:

... Gehn und schreiten, schreiten,
gehen —
Hungerhund prescht hinterher.
Vorn die Fahne, blutig, wehend,
Und, unsichtbar — denn es schneit —
Einer noch, der ist gefeit,
Sturmfern, sanft, so schreitet er,
Schneeglanz, perlend, um sich her,
Rosenweiss sein Kränzlein ist —
Vorne gehet Jesus Christ.

Оплошности редки. Неправильно переведены, например, строка «Ах, ах, пади!» (стр. 13) и «Что, Катька, рада?» (стр. 15). Неуместны также резкий анжамбман и разностоппные строчки на стр. 19 — ведь это подражание песне, которую можно петь хотя бы на мелодию шарманки из «Петрушки» Стравинского.

В. Марков

*) Alexander Block, Die Zwölf. Deutsch von Paul Celan. S. Fischer Verlag, 1958.

Книга о жизненном пути Бердяева

Книга Дональда Лоури «Бунтующий пророк» — первый до сих пор опыт целостной биографии Бердяева. Автор — долгодетельный друг Бердяева и один из деятелей YMCA-Press собрал богатый материал о жизненном пути философа как эмигрантском, так и о дореволюционном периодах его творчества. Для выполнения последней задачи автор совершил поездку в Советский Союз, где ему удалось собрать многие материалы в Ленинградской, Московской и Киевской библиотеках. Автор повествует при этом, что служащие советских библиотек отнеслись к нему с большим вниманием, но выражали свое удивление, что он интересуется такой «ветошью», как Бердяев. Большинство же интеллигенции, в том числе из церковных кругов, с которыми приходилось встречаться автору, даже не знали имени Бердяева.

Как бы то ни было, за время своей поездки Лоури удалось ознакомиться с рядом статей Бердяева, которые невозможно достать за границей, и составить, между прочим, генеалогическое древо философа. Переход философа от марксизма к идеализму, и далее — к православию, его сближения и расхождения с церковными кругами, его встречи с консерваторами, либералами, революционерами и, особенно, страстные революционные и первые послереволюционные годы — все эти интересные факты биографии философа хорошо документированы в книге Лоури.

Но естественно, что наиболее полно документирован и комментирован эмигрантский, наиболее плодотворный период творчества Бердяева. Автор рассказывает, как первые книги Бердяева, изданные за границей и переведенные на европейские языки («Новое Средневековье», «Мирозерцание Достоевского» и другие) — принесли ему славу на Западе. Интересны его берлинские встречи с Кейзерлинггом и Максом Шелером.

Наиболее полно представлен париж-

ский период. Выход в печати лучших его книг («О назначении человека», «О рабстве и свободе человека» и др.), сближение философа с кругами французской мыслящей молодежи, его дружба с Маритэном, участие Бердяева в основании журнала «Эспри», — органа французских персоналистов, его поездки для чтения лекций — все эти и многие другие творчески-значимые эпизоды жизни Бердяева обрисованы в книге Лоури достаточно полно с интересными подробностями.

Самое главное, что в книге Лоури не только собраны и хорошо распределены факты, но что из ее содержания вырисовывается целостный образ «рыцаря свободного духа», как называли Бердяева. Духовное благородство философа, его напряженное философское творчество, постоянная погруженность в мир духа, его житейская беспомощность, пророческое горение, вспышки гнева, — все эти черты личности Бердяева поданы в убедительном контексте. Автор любит избранного им философа, и эта симпатия автора придает его книге живость и убедительность.

Различные периоды творчества Бердяева также достаточно выпукло оттенены в книге Лоури. Это особенно важно, так как, помимо полной смены философских вех в начале столетия, Бердяев не раз менял ретактики своего учения. Так, романтический «Штурм унд Дранг» «Смысла творчества» (глава "Declaration of independence", сменился в работах тридцатых годов более систематическим и более стройным изложением философии творческой свободы. Сам Бердяев отмечал, что в книге «Назначение человека» его религиозно-философское кредо выражено с меньшей страстностью, но большей точностью, чем в «Смысле творчества».

Можно было бы еще выпуклее оттенить различные формулировки типично бердяевского дуализма — от противопоставления «духа» и «природы» в «Философии свободного духа» (1927) до учения об объективизации, выраженного

“Rebellious prophet“, A life of Nicolai Berdyaev, 350 p., Harper & Brothers, NY, 1960.

лучше всего в «Свободе и рабстве человека» (1938) и в «Эсхатологической метафизике» (1947).

Но это никак не возражения автору, а скорее побочные мысли. К тому же центр тяжести книги Лоури — в биографии, а не в характеристике мировоззрения Бердяева, каковая задача, впрочем, выполнена им также с большой тщательностью.

Нам кажется, однако, что автор несколько смягчил тот несомненный уклон в советский патриотизм, который проявился у Бердяева не только во время Второй мировой войны, но и в первые послевоенные годы.

Конечно, "De mortuis aut bene, aut nihil". Но философские и личные заслуги Бердяева перед делом создания твор-

ческой религиозной философии в России и на Западе и в деле защиты свободы духа столь велики, что не следовало бы затушевывать некоторых печальных заблуждений философа, вызванных нередкой нетерпимостью его суждений и отношения к людям и общественным явлениям.

Не во всех разрывах с друзьями, которым посвящена целая глава книги Лоури (случай с проф. Вышеславцевым), можно всецело становиться на сторону Бердяева.

Говоря же в целом, книга Лоури не только интересна и полезна, но и поучительна. Она во многом станет помощью и источником понимания и исследования Бердяева.

Сергей Левицкий

Церковь и народ

Эта книга — плод большого труда, большого горения, большого знания. В ней очень сильно ощущается одна пронизывающая ее идея: глубокая *сраченность* Церкви с жизнью народа, в котором она утвердилась. Поэтому лучшие страницы этой книги согреты одинаково и любовью к церковной Святыне и любовью к своему народу, который отнюдь не идеализируется, но рассматривается, как поле воздействия Церкви, как нива, в которую сеются семена христианства, но которая, конечно, часто рождает и плевелы. Особенно тепло (и сдержанно, при всей внутренней взволнованности) сказано это Карташовым, например, в том итоге, который он подводит миссионерской и просветительной деятельности Церкви в Киевской Руси.

«Итак, русская Церковь, выполняя свое высокое назначение, перевоспитывая своих членов духовно-нравственно, не ограничивалась при этом только влиянием на их индивидуальный душевный строй, но, как и следовало того желать и ожидать, содействовала и переустройству

общего пражданского порядка на христианских началах.

Русская Церковь, перевоспитывая русский народ в духе нового, ею дарованного ему православного мирозерцания, тем выполняла свое прямое назначение, свою апостольскую миссию. Но универсальный... характер христианского мирозерцания глубоко влиял решительно на все стороны русского бытия. И историку культуры можно развернуть многогранную картину христианизации русской культуры» (т. I, стр. 252).

С восхищением пространно останавливается Карташов на духовном перевороте, совершившемся во Владимире Святом, преобразившем всю его личность и всю его государственную деятельность. Широко им организованная помощь неимущим, старикам и больным далеко выходит, по мнению Карташова, за пределы частного благотворения, а является христианизацией социальной деятельности, христианским служением государственной власти. С проникновенною любовью говорит Карташов и о высоком служении Церкви и народу русскому монахов Киево-Печерского монастыря. Ту же тяготу общественного служения, подъятого на себя Церковью во имя люб-

А. В. Карташов. Очерки по истории Русской Церкви. 1960 г. Том I — 686 стр., том II — 569 стр. Париж, YMCA-Press.

ви к гибнущему народу, отмечает Карташов и в деятельности патриарха Гермогена и иноков Сергиево-Троицкой лавры в эпоху Смутного времени, на чем он и останавливается подробно и с горячей любовью. С особенным подъемом характеризует он эту деятельность Лавры. Зная строгость и временами даже придирчивость скорее скупого на похвалы Карташова к историческим и церковным деятелям, тем более чувствуешь весь вес его слов, когда он говорит о национальном служении Лавры: «Троицкая лавра своим доблестным стоянием стала светочем и примером для народа, начавшего опоминаться от хмеля самозванчества и стекаться в земские ополчения для освобождения своей земли от иноземцев» (том II, стр. 69). В этом — сила Карташова: его пафос любви к Церкви, соединенный с пафосом любви к народу, и его особенное понимание и радостное прославление тех сторон деятельности русской Церкви, где это ее христианское служение людям и всему народу силою любви Божией, особенно *общественная сторона* ее служения проявилась с особой силой. В этом — повторно — сила всей историко-церковной концепции Карташова, в этом — сила его книги, но в этом, может быть, и причина ее некоторых недостатков.

Недостаток или неполнота книги, думаю, главным образом, в том, что, говоря о русской Церкви, автор особенно подробно останавливается на государственно-общественной стороне ее жизни и на ее служении любви в области социальной и просветительной, но меньше останавливается на *образах святости*, предлагаемых Церковью. Говоря об общественно-просветительном подвиге иноков Киево-Печерской лавры, о мужественном, доблестном и исполненном деятельной любви к ближнему служении Сергиевской лавры в Смутное время, он почти ничего по существу не говорит, например, ни о св. Сергии Радонежском, ни о многочисленных отцах и отшельниках русской «Северной Фиваиды». Между тем святость этих подвижников, их одухотворенные и сияющие светом Духа Божия образы, их живая личность, пронизанная светом Божиим, есть величайший плод, принесенный русской Цер-

ковью, и вместе с тем величайшее воздействие ее на мир, величайшее ее служение миру. Служение не только через каритативную деятельность, служение через *сияние Духа Божия в жизни праведников* — вот что самое важное в истории Церкви, ее величайший и самый убедительный способ проповеди Евангелия миру, ее величайший дар миру после Евангелия. Карташов нигде этого не отрицает, но сравнительно мало на этом останавливается. Некоторый, по-моему, преувеличенно общественный и преувеличенно государственный подход его (если я только не ошибаюсь) к истории Церкви сказывается, по-моему, в некотором двоящемся отношении к церковной реформе Петра, всю неправославность и насильственность которой Карташов однако убедительно раскрывает. Кстати, ясно развешивая перед нами, на основании многочисленных приведенных им цитат, все отрицательные стороны личности и идеологии Феофана Прокоповича с его почти языческим отпадением «Кесарю» и то, что есть Божие, Карташов почему-то два раза называет его «великим» (!) (см. том II, стр. 336 и 338). Этого совсем, по-моему, понять нельзя, исходя из самой книги Карташова, который изображает Феофана глубоко непривлекательным, отталкивающим, духовно нечестным.

Есть еще одна черта в книге Карташова, которая глубоко трогательна (как многое, многое в его книге и ценно, и поучительно, и трогательно) и вместе с тем глубоко характерно для автора: его *любовь к просвещению*, к христианскому просвещению. Он подробно и с любовью останавливается на вопросе книжного христианского просвещения в Киевской Руси, он с благодарностью вспоминает образы усердных и самоотверженных тружеников православного просвещения в Москве второй половины XVII века — Епифания Славинецкого и этих глубоко почтенных в своей любви к просвещению братьев Лихудов; может быть и неожиданное для нас суждение Карташова о Феофане Прокоповиче объясняется отчасти тем, что Феофан был настоящий ученый, охваченный любовью к знанию, и что он, между прочим, оставил по себе ценную библиотеку

в 3000 томов (из которых три четверти были протестантские издания).

Обилие фактов, сведений, данных, а также общих суждений и характеристик со стороны автора — огромно. Очень ценно, сложно и многообразно по привлеченному материалу изображение начала раскола, его трагического зарождения. Жалко, что во второй половине I тома (послемонгольский период до учреждения патриаршества) материал расположен несколько внешне — по внешней хронологической канве преемственного правления митрополитов московских.

Из этой книги можно научиться очень многому, и она заполняет бывшую до нее пустоту. После многотомных трудов архиепископа Филарета (1847—1848 гг., 2-ое издание 1857 г., последнее — 6-ое — издание без перемен в 1894 г.), митрополита Макария (1853—1883 гг., 2-ое изд. 1881—1900 гг.), «Истории русской Церкви» Е. Е. Голубинского (1880, 1881, 1900 гг.; доведена только до середины XVI века) и «Руководства по истории русской

Церкви» (тома I—IV, 1884—1893 гг.) подробного изложения истории русской Церкви не было. У Карташова мы имеем к тому же и огромный творческий труд; это результат большой научной работы и размышлений целой жизни, посвященной научному труду. Можно, может быть, с отдельными мнениями ученойшего и талантливого автора и не во всем соглашаться, но благодарность мы должны юнчить очень большую за этот труд, являющийся плодом благородной жизни большого ученого, посвятившего себя добросовестному служению науке и Церкви.

Книга Карташова в вышедших двух томах доведена до начала XIX века. Нужно с особым нетерпением ждать выхода в свет третьего тома, посвященного судьбам русской Церкви от 1801 до 1917 года. Нужно горячо надеяться, что найдутся средства для напечатания этого особенно важного и интересного тома и что русские православные люди помогут осуществить его издание.

Николай Арсеньев

Гражданин живой России

Подлинная любовь к человеку ли, к родине — тиха, спокойна и не бросается в глаза окружающим. Она уверена в себе, и ее жизнь не зависит ни от времени, ни от пространства. Далека ли объект любви, близок ли, отвергает любящего или принимает — не играет решающей роли для ее горения в мире.

Есть люди, для которых эмиграция, в которую их швырнул большевистский переворот, не явилась ни духовной смертью, ни трагедией изгнания. Любя Россию, оставаясь ей верными, они нашли себя за границей и в продолжение десятков лет упорно и кропотливо трудятся для ее культурного обогащения.

«Исуродовать сознание народа можно только временно. И оглядываясь назад, мы убеждаемся, что русский народ не потерял памяти». Потому что, по словам маршала Франции Фердинанда Фоша: «Народы гибнут лишь тогда, когда они

утрачивают память»... «После великих мук, неизбежных при всяких исторических переворотах, наше отечество начинает отвергать искушение «Непомнящего родства». Всякий, кто следит за дыханием нашей родины, знает, что побуждение смерти уже преодолено и постепенно изгоняется животворными силами возрождения.

О русском «родстве» и историческом наследии в его всевозможных проявлениях, славных или горестных, русская отечественная жизнь заговорила вновь».

Так пишет в юдной из своих недавних работ Николай Артемьевич Еленев. Но и тогда, когда искушение «Непомнящего родства» было в силе, этот человек не прекращал своего упорного труда для будущей России. Потому что он твердо знал, что «Отвлеченно-бесчеловечные цели и опыты голого вождизма, а таковой обнаружился не только в России, обречены на конечный распад».

Поэтому каждая из лежащих передо мной четырех последних работ Еленева обращена к будущему нашей страны, как скромный вклад в сокровищницу ее культуры.

«Настоятельная необходимость учета, описания и исследования произведений русского искусства, находящихся за пределами России, в первую очередь, а, кроме того, отыскание изобразительной россики, — одна из первых задач будущей русской просветительной деятельности. Когда и кем будет сделан этот почин, сказать трудно, но что такая обязанность возникнет перед русской государственной властью и русской общественностью, является несомненным».

Сколько спокойной веры, сдержанной энергии и строгой деловитости в этих скромных словах гражданина живой России...

Почин уже сделан самим Еленевым. Большая часть его жизни в эмиграции посвящена именно этой опломной и трудной задаче.

В этом году Николай Артемьевич Еленев отпраздновал свое шестидесятипятое.

Родился он 31 октября 1894 г. в родовом имении «Орловка», в Екатеринославской губернии. Юность его протекала в Ялте и Москве. Первая мировая война застала Еленева за границей, куда он отправился после окончания гимназии. После нескольких арестов ему все-таки удалось вернуться на родину. Одновременно учась в Московском университете (на юридическом факультете) и в Археологическом институте, Еленев с увлечением предавался изучению египтологии и русского искусства. Затянувшаяся война побудила его поступить в Морской корпус, в Петербурге. После плавания в Балтийском море осенью 1915 г. он был произведен в гардемарины.

После того как Еленев покинул в 1920 г. Россию, прошел через чистилище Константинополя и переехал в Прагу, он продолжил свое образование на Русском юридическом факультете, находившемся под протекторатом Чешского университета, у таких общероссийски известных профессоров, как, например, П. Н. Новгородцев, Д. Д. Гримм, М. М. Катков, П. Б. Струве и др.

Всё свое свободное время Еленев посвящает, где бы он ни находился, своему призванию — изучению искусства. В Константинополе он ознакомился подробнейшим образом с памятниками византийского искусства и с турецким художественным наследием, в Чехии изучал искусство, находящееся на ее территории. Но при этом никогда не забывал главного — своего служения русскому искусству. Будучи библиотекарем в «Русском Очаге» в Праге, Еленев основал отдел русского искусства и составил обширный «Словарь русских художников и указатель их произведений» (около 8.000 зарегистрированных иллюстраций*).

Воспользовавшись тем, что в Праге был Итальянский институт, он изучал в нем итальянский язык и итальянскую литературу и получил две медали. Одновременно с этим Еленев окончил Чешский университет в 1938 году.

Перед началом Второй мировой войны ему было предложено место ассистента по истории искусства в Познани в немецком Институте Истории Искусства, которое он принял и работал с профессором Отто Клетцелем, преследуемым нацистами. Здесь Еленев составил обширную библиографию искусства славянских народов. Идея, легшая в основание этого труда, была следующей: создать базу для дальнейших работ в этой области, сделать ее починком для культурного сотрудничества всех славянских стран.

Изучение чешского искусства вылилось в книгу о Карловом мосте, которую приобрело Министерство иностранных дел Чехословакии, и ряд русских работ о чешском искусстве. Большая иллюстрированная работа о чешском живописце Иосифе Манесе ввела Еленева в число историков чешского искусства. И его биография появилась в Чешской национальной энциклопедии.

Интересы искусствоведа Еленева весьма разнообразны. Его перу, например, принадлежит большое исследование

*) К огорчению автора «Словаря», этот справочник, оставшийся в Праге, в настоящее время получить невозможно.

«Идея труда в изобразительном искусстве», которое ставило своей задачей объяснить (стихию) труда, его смысл в эстетическом сознании разных эпох. Напечатана работа была на четырех языках.

К исследовательским работам и новым данным Еленев следует отнести следующие две книги: «Путешествие великой кн. Екатерины Павловны в Богемию в 1813 году», в которой автор дает неизвестные до тех пор иконографические данные о ней и исследует ее дипломатическую роль в последней коалиции против Наполеона. И «Петр Великий и живописец Купецкий», вышедшая на немецком языке и бывшая дважды под запретом нацистской цензуры.

В 1942 г. Еленев возвращается в Прагу, где получает место научного ассистента в немецком Институте Искусств при Университете имени Карла IV. В 1943 году получает звание доктора философии. После окончания войны работает в качестве переводчика в Чешском Министерстве Информации (Правительство президента Бенеша). В 1946 г. переезжает в Париж, где занимается изучением музейных богатств Франции. В 1950 г. переселяется за океан в США. Там и проживает в настоящее время.

Среди целой серии статей о русском и западноевропейском искусстве следует назвать следующие работы: о Дюрере, Купецком, Брайде, Кэте Кольвице, Георге Прохсе, Скрете, Вацлаве Голларе, а также статьи, переведенные на сербский язык, о жизни и творчестве Кустодиева, Врубеля, Серова, Добужинского, Александра Бенуа и о современной русской графике.

Литературную свою деятельность Еленев начал еще в России. За границей его работы появились на восьми языках.

В настоящее время Еленев работает над книгой «Пути русского эстетического индивидуализма» и над исследованием «Художественный образ вел. кн. Екатерины Павловны».

✱

В «Гранях» Н. А. Еленев опубликовал свою работу о поэтессе Марине Цвета-

евой*), которую хорошо знал лично. Другие его статьи в разное время были напечатаны в Нью-Йоркском журнале «Новик», издаваемом Русским Историко-Родословным Обществом в Америке, под редакцией Товарища Председателя Н. Д. Плешко.

Даже самые краткие статьи отличаются интересными мыслями, которые автор разбрасывает как бы невзначай — «по поводу...», высокой эрудицией, благородной простотой изложения, прекрасным редким в наше время русским языком и спокойной обращенностью, как я уже упоминала вначале, к будущей России.

Все четыре лежащие передо мной статьи снабжены прекрасными репродукциями портретов, найденных автором и публикуемых впервые.

В 1956 году Еленев напечатал в «Новике» работу «Изобразительная россика и крымские акварели Томаса Эндера». С первых же строк в этой статье автор ставит перед русскими искусствоведами важную цель и определяет их очередную задачу «перед отечественной историей искусства. Я имею в виду довольно значительную область изобразительной россики, т. е. совокупность произведений иностранных художников, побывавших в России и запечатлевших ее образы в своих созданиях. Речь идет о ликах нашей родины в разные исторические времена».

Автор тут же как бы набрасывает программу этой грандиозной работы, указывая, что следует начать с исследований изображения природы, пород, исторических событий в России в древних рукописях и летописях других народов. Здесь же он называет ряд интереснейших рукописей: например, болгарскую рукопись XIV века Манасили, хранящуюся в Ватиканской библиотеке, которая в свою очередь переведена с греческого подлинника XII века. «Как известно, среди прочих изображений жизни древней Руси, в ней находится «Крещение Русса». К сожалению, у меня нет возможности поместить весь тот интереснейший список указаний и комментариев к нему автора в этой маленькой статье.

*) «Грани» № 42.

Во второй же части Еленев останавливается на крымских акварелях известного австрийского живописца Томаса Эндера, сопровождавшего эрцгерцога Иоганна при его поездке в Россию в 1837 г. Работа о Томасе Эндере — одна из вложений Еленева в область изобразительной росписки.

1957 год подарил нам в том же журнале «Новик» работу Еленева о столынике Потемкине, снабженную репродукциями с его трех портретов и одной правюры «Прием Потемкина Людовиком XIV».

Четкий исторический портрет одного из крупных государственных деятелей второй половины XVII века Петра Ивановича Потемкина возникает перед читателем. Он особенно ценен тем, что даже у Ключевского читатель не найдет упоминания об этом лице. Здесь же, в объяснение этому, Еленев высказывает мысль о направлении новой истории, покоящейся на «освещении и истолковании событий на основе их причинной связи, а не описании жизни и поступков отдельных личностей».

Сетует автор и на то, что «внешность своих государственных и культурных деятелей широкое внестолычное русское общество знало мало. ... Все знали портрет Белинского, но известно ли, как выглядел Лобачевский?» Положение в настоящее время в России еще несравненно хуже.

Все приложенные портреты Потемкина исполнены заграничными мастерами и находятся вне пределов России.

История русского портрета, начавшаяся сравнительно поздно, подлинный смысл портрета занимают Еленева. Мысли на эти темы разбросаны не только в работе о столынике Потемкине, но и в последней его работе, приуроченной к 100-летию со дня смерти великой княгини Марии Павловны, дочери императора Павла Петровича — «Добрый ангел» («Новик», 1959 г.). Портреты и скульптурное изображение великой княгини Марии Павловны находятся и во Франк-

фурте, в музее при «Доме Гёте». Она была выдана за наследного принца Саксен-Веймар-Эйзенахского Карла-Фридриха, который вступил в правление великим герцогством в 1828 г. Благодаря стараниям ее свекрови и ее собственным, Веймар «стал средоточием духовной жизни всей Германии». Мария Павловна «привлекла к своему кругу наиболее выдающихся людей эпохи, как Гёте, Шиллер, Гердер, Виланд Франц Лист и многих других». По свидетельству Гёте, Мария Павловна «всегда была для страны добрым ангелом и останется им». Еленев приводит и отзывы о ней Шиллера и Франца Листа. В свое время она помогла скрыться преследуемому властями Рихарду Вагнеру. Велико ее значение «и участие в культурных взаимоотношениях русского и немецкого мира в первой половине минувшего века». Но и эта область, как отмечает Еленев, остается еще белым пятном на карте нашей культуры.

Интересно также отметить, что по утверждению Еленева, «Гёте... едва ли не первый обратил внимание на своеобразие русской иконописи», в чем содействовала ему великая княгиня Мария Павловна. Этот почин Гёте разросся в наши дни в глубокий интерес к русской иконе со стороны Европы и Америки и «может рассматриваться как первое признание Европой и Америкой русского гения в области мирового искусства».

Работа, посвященная роду Пименовых, одареннейших скульпторов и художников XIX века в России и снабженная несколькими портретами, невольно обращает внимание на тайну наследственности этой семьи, из рода в род передающей своим членам художественный дар.

Ограничиваясь этим неполным обзором творческой жизни Н. А. Еленева, можно только искренно позавидовать ей и пожелать автору окончить начатые труды, написать новые и опубликовать и те и другие.

Н. Тарасова

«Одержимые и могучие»

(В тени красной ракеты)

Автор книги Иргмгард Гретруп родилась в Берлине, в годы, когда Германия еще не оправилась от последствий Первой мировой войны. Окончив гимназию, она поступила в академию живописи. Вторая мировая война резко пресекла молодые мечты о искусстве и красоте. Иргмгард Гретруп попала в Пэнемюнде, место опытов ракет дальнего следования. Тут она познакомилась со своим мужем, исследователем, одним из ближайших сотрудников Брауна. В конце войны лаборатория из Пэнемюнде эвакуировалась в Среднюю Германию. Муж Иргмгард Гретруп был одним из «одержимых», которые жили мыслью о завоевании пространства и, не взирая ни на какие человеческие или политические соображения, сполна отдавались одной только цели — созданию ракеты.

Часть этих ученых, в том числе и Браун, были затребованы в США для дальнейшей работы и опытов. В октябре 1946 года советские оккупационные власти составили транспорт из 500 человек, в числе их 200 специалистов, ученых, техников и рабочих. 22 октября 1946 года этих людей отправили в Советский Союз, где они семь лет под надзором МГБ работали над построением ракеты. Только 25 ноября 1953 года последний эшелон этих «добровольно-невольных» работников вернулся во Франкфурт на Одере.

Уже в 1950 году проектированная Гретрупом ракета достигла диапазона в 3000 километров. Автор наглядно описывает опыты ученых, сделанные в тяжелейших условиях и при полном недостатке материала и деталей, а также пуск первой, построенной в Советском Союзе ракеты в Казахской степи.

А. Гретруп любознательна и старается вникнуть в жизнь и психологию чужого ей русского народа. После знакомства с

одним из властей имущих, членом академии, что отнюдь не нравилось «нянькам», она пишет:

«... Это еще вопрос, кому у кого надо учиться. Быть может все знания наших мужей (немецких ученых) лишь жалкий эквивалент тому, чему мы можем научиться у русских людей: искусству жить. Её друг и хороший знакомый, внешне преданный партией, в душе сознает все ошибки и несправедливости, совершаемые коммунистическим правительством. Вскоре и он идет дорогой, которой пришлось идти многим прозревшим, ибо чем выше должность, тем больше и риск быть сметенным, тем резче падение.

Автору заявляют, что ей запрещается одной ездить в Москву без «телохранителя». Говорят, что злые американцы якобы собираются похитить ее. На протесты и доводы, что эти «злые» американцы, мол, не так давно были союзниками, и что ей вообще не понятна глупая затея с «телохранителем», директор учреждения отвечает, улыбаясь одними глазами: «Думаете ли вы, что она мне понятна?»

Ученых и их семьи переводят на остров, где они в полной изоляции продолжают свои опыты. С устранением производственных карточек жизненные условия ухудшились. Прокормить семью или достать нужные товары обихода делается затруднительным и для семей немецких специалистов, пользовавшихся до сих пор сравнительно хорошим пайком. При посещениях научных комиссий обстановка, однако, резко меняется и всё недостающее вновь появляется, как по маговению волшебной палочки, чтобы, при отбытии высокопоставленных гостей, также молниеносно исчезнуть.

Ученые живут за колонией проволокой на маленьком острове близ Осташкова. Осташково, раньше крупный центр кожевенной индустрии, превратился в маленький запущенный городишко. В храмах города устроены бани и пекарни, и только одна из церквей «работает». Священники живут подаяниями и ходят в латаных рясах. Но служба в убогом

Irmgardt Gröttrup „Die Besessenen und die Mächtigen“ — Im Schatten der Roten Rakete — Steingruben Verlag, Stuttgart 1958.

ущевшем храме сильнее и глубже захватывает, чем служба в показном Загорском монастыре.

Настроение народа отражается в разговорах автора с представителями различных слоев общества. Так, комсомолка Вера поворачивает: «... Не думайте, что мы читаем плакаты и верим в лозунги. Но советую вам посещать собрания, ведь главное — это присутствовать и аплодировать. Но, — предупреждает Вера, — советую никому не говорить, что это сказала я».

При одной из вылазок за продовольствием И. Гретруп укоризненно спрашивает своего проводника, молодого не затронутого и не испорченного пропагандными фразами Колло:

... «— Почему ты пьешь?..»

И Колло в ответ: «Неужели ты не понимаешь, что мы пьем потому, что бедны, пьем, чтобы забыться, пьем, чтобы не думать о нашей бедности и нашей неприглядной убогой жизни...»

Автора всё больше волнуют вопросы и проблемы: имеет ли любой ученый, а в данном случае ее муж, моральное право по чужому приказанию исполнять работу, результаты которой, в конечном итоге, будут использованы не на благо, а во вред человечества. Ведь строящиеся ракеты послужат в будущем не только завоеванию пространства и научным исследованиям, но и средством уничтожения и гибели многих и многих людей.

Проходят годы. Многие из технических работников возвращаются в Германию. И. Гертруп и некоторые близкие друзья принуждены еще оставаться.

Будут волны всеобщего недовольства. Русские сотрудники рассказывают о новых указах, о новых ссылках. Радио передает бюллетени о болезни Сталина. Врачи арестованы. Всюду слышны толки и перетолки. На смертном одре лежит «кумир» большой страны. Кто придет ему на смену? В ответ пожимание плечами, немые, выразительные взгляды. Официальное сообщение в «Правде» разрешает все догадки, и беспечная дама «свободомыслие» вновь прячется в своем укромном уголке.

Новые слухи о скором возвращении. Начинаются вопросы детей, этих живых вопросительных знаков.

«... — Папа, есть ли в Германии Волга и почему она там меньше и называется Рейном? Нет, уж лучше я останусь на настоящей Волге...»

«... — Мама, а козкой наш тоже поедет в Германию? Нет? А как же мы без него узнаем, куда нам разрешается ходить и куда нельзя?»

Наконец, настает долгожданный день отъезда. Подводится мысленный итог этих лет, отнюдь не пропавших, как это казалось раньше, даром. И, глядя на спящих детей, думается И. Гретруп, что и дети многому научились. Они делили со своими маленькими русскими друзьями их детские радости и печали.

И оказывается, что за эти долгие годы, несмотря на тяжелые условия жизни, на несвободу, всё же многое стало сердцу близким и родным. Со стольким надо проститься — с целым маленьким миром: с озером и просекой, с оленями и птицами, с камышом, с лошадьми и коровами, с болотом и деревней. А главное с людьми. С бабушкой, с Верой и многими другими, показавшими и сочувствие и простую сердечную теплоту.

Поезд медленно подходит к платформе во Франкфурте на Одере. Из репродукторов холодно и жестко несет: «Закрывать окна и двери. Выход на платформу запрещен...»

На этом кончается дневник Ирма Гертруп.

✱

В послесловии краткое техническое разъяснение и схема ракеты. На дальнейших страницах под датой 29 октября 1946 года опечатан официальный формальный протест правления центрального завода против насильственного вывоза служащих в Советский Союз, подписанный директором Гретрупом. Следующий далее проект коллективного договора (20.11.1946 г.) был составлен сотрудниками коллектива в надежде на законную базу их работы в СССР. С советской стороны этот проект даже не был признан как основание для дискуссии. Пребывание немецких технических работников в СССР осталось односторонней мерой принуждения.

М. Шведова

Copyright by „Possev“

Главный редактор Е. Р. Романов
Заместитель главного редактора Н. Б. Тарасова

Редакционная коллегия:
А. Н. Артемов, А. Н. Неймирок, А. И. Поплюйко.

Адрес редакции журнала «Грани»:
Possev-Verlag, Frankfurt/M., Merianstr. 24-a

Druck: Possev-Verlag, V. Goraschek K. G., Frankfurt Main.

Цена 6 марок (6 DM)
